



БИБЛИОТЕКА
НАРОДОВ
СИБИРИ





БИБЛИОТЕКА
НАРОДОВ
СИБИРИ



ОДНА СЕМЬЯ. БИБЛИОТЕКА НАРОДОВ СИБИРИ

ТОМ
V

Юрий
РЫТХЭУ
ИЗБРАННОЕ

Томск – 2022

ББК 84(2=753.1)
P95

Юрий Рытхэу. Избранное. «Одна семья. Библиотека народов Сибири». Литературно-художественное издание – Томск, 2022. – 328 с.

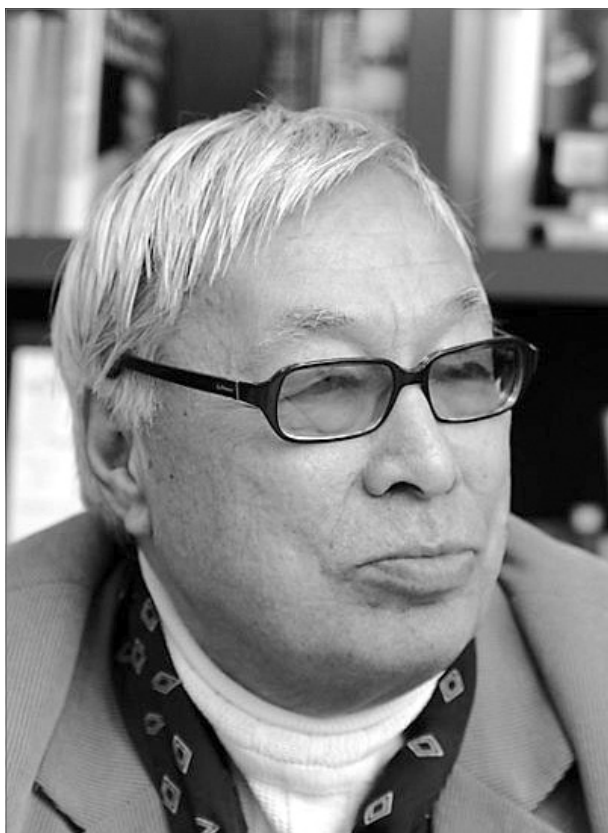
Литературно-художественное издание
«Одна семья. Библиотека народов Сибири»
издаётся при поддержке
Администрации Томской области

ISBN 978-5-6048322-4-0



9 785604 832240

© Томская писательская организация, 2022



Юрий Сергеевич Рытхэу (1930–2008) –
первый писатель Чукотки, достигший мировой известности, прозванный на Западе «чукотским Маркесом». В его наследии больше ста книг, и они переведены на десятки языков.

КОГДА КИТЫ УХОДЯТ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Нау искала глазами этот неожиданный блеск, который к берегу становился ясно различимым – фонтан бил высоко, и солнечный свет в нём искрился разноцветной радугой.

Нау бежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и тихий смех девушки смешивался со звонком перекачиваемых прибором отполированных голышей.

Нау чувствовала себя одновременно упругим ветром, зелёной травой и мокрой галькой, высоким облаком и синим бездонным небом.

И когда из-под ног выбегали спугнутые птицы, евражки, летние серенькие горностаи, Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали её. Они смотрели вслед высокой девушке с развевающимися чёрными, словно крылья, волосами.

Она никогда не смотрела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличается от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. Даже угрюмые чёрные камни были для Нау живыми и близкими.

И ко всему, что она видела – живому, имеющему свой голос и свой крик, безмолвному, но движущемуся, и пребывающему в вечном покое, – она относилась одинаково ровно и спокойно.

И так было с ней до тех пор, пока она не заметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана – Рэу.

Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая холодом босые ноги Нау.

В первые дни что-то удерживало девушку, и она остерегалась подходить близко. Сильное и властное останавливало её у прибойной черты, на той линии, где от малейшего прикосновения рассыпались в прах засохшие ракушки, где лежали просоленные в морской воде обломки древесной коры, а то и целые стволы деревьев.

Нау издали смотрела на кита, на громадное чёрное тело, в котором глубоко отражались солнечные блики, и ей казалось, что кит светится изнутри собственным светом.

С громким журчанием в пасть вместе с мельчайшими красными

ракушками, медузами втекала вода, и над головой Рэу рождалась в водяной пыли солнечная радуга.

Она манила девушку, звала, заставляя переступить безмолвный запрет, невидимый порог, отмеченный намытой волнами грядой разноцветной гальки. Ей хотелось приблизиться к радуге, чтобы на её тело упала хоть одна капля, в которой сверкало маленькое солнце.

И однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил её с головы до ног.

Это было неожиданно, но всё было так, как она предчувствовала, – капли были тёплые, блестящие, и Нау ощущала, как солнечные лучи обволакивают её, по всему телу разливается новое, незнакомое чувство мягкой ласки, какого-то стеснения в груди. Частое дыхание прерывалось, кружилась голова, будто Нау долго смотрела с высоты на бегущие по воде тени облаков.

А кит купал её в тёплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими, ласковыми ударами и тихим журчанием фонтана.

Нау чувствовала, как у неё в груди растёт её маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. Кровь согревалась, вбирая тепло китового фонтана, и девушка в растерянности стояла неподвижно, не зная, что делать. А ведь раньше она совсем не задумывалась над тем, что делала. Как ветер, волны, облака, пробивающаяся трава и прячущиеся в ней цветы, как евражки и летящие птицы, плывущие по морю звери и рыбы... Она была частью этого огромного мира, живого и мёртвого, сверкающего и тонущего во мгле, убаюканного тишиной высокого неба и одеялом мягких облаков, ревающего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны и они обрушивались на берег, стремясь достичь травы, в которых прятала свои озябшие ноги Нау.

А теперь что-то другое накатилось на неё. Будто она только что проснулась, и мгновение пробуждения затянулось, и она как бы заново видела небо, синее море, холмы с зелёными травянистыми склонами, и впервые слышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья... Будто она вдруг открыла, что морская вода отличается вкусом от той, что в ручье, а утренний холод исчезает по мере того, как над морем поднимается солнце.

Теперь, когда Нау бежала по тундре, упруго отталкиваясь от пружинящих кочек, она вдруг останавливалась и склонялась над крохотным голубым пятнышком цветка, словно осколком неба, упавшим с зенита. Голубой глазок качался на тонком зелёном стебельке, и Нау слышала пронзительный, уходящий вдаль звон.

Мир звуков разъялся, как и видимый, и теперь Нау знала, откуда идёт грохот бьющих о скалы волн, шелестящий звук ветра, глядящего невидимой огромной ладонью тундровые травы, плеск

мелких волн в лагуне, журчание воды в ручье, бегущем по каменистому склону.

По-разному заговорили птицы и звери.

Чёрный ворон каркал чёрными звуками, и звук этот был тёмный и холодный, будто тень на том берегу, куда не достигали солнечные лучи и где лежал вечный снег, тёмный и рыхлый от старости.

Летние лохматые песцы таякали, словно выплёвывая застывшие в глотке мелкие косточки морошки, остро и пронзительно свистели суслики, как бы окликаая Нау, призывая её взглянуть на чёрные глазки нор, вырытых под защитой камней.

Звенели морские птицы, гнездящиеся на прибрежных скалах, и порой, когда они разом взлетали, потревоженные росомхой, в их гвалте тонули все остальные звуки, и мир становился уныло-однообразным, серым и плоским.

Нау открыла, что звуки могут быть приятными для уха и такими, от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьём Нау была готова слушать сколько угодно. В нём было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном, и птичье щебетание рождало в душе светлое ожидание предстоящего чуда.

День ото дня тундра становилась ярче и цветистей. Ноги Нау чернели от сока ягод. Старая тундровая волчица лизала их и смотрела в глаза Нау преданными и тоскливыми глазами. Она чуяла приближение зимы, а для себя ещё и смерти, потому что она уже ни на что не годилась: трудная жизнь и возраст стёрли все её зубы...

В этот день, как всегда, солнечные лучи разбудили Нау.

По яркости они были такими же, как прежде, однако в них уже не было того всепроникающего тепла, что раньше. В их прикосновении к закрытым векам Нау почувствовала предостережение, отзвук приближающегося ненастья.

Нау окончательно проснулась и утолила голод пригоршней морошки.

Чуткие уши ловили привычный шум морского прибоя, птичий звон над ручьём и шелест травы.

Нау поднялась на ноги и двинулась к морю.

Роса была непривычно студёной. Нау бежала, чтобы согреться и стряхнуть с себя остатки сна. Суслики свистели ей вслед, испуганные куропатки вспархивали из-под ног, но Нау не останавливалась, движимая каким-то тревожно-радостным предчувствием. Обычно на последней галечной гряде, намытой волнами, Нау подбирала плети морских водорослей, добавляя их к скудному завтраку. Но на этот раз она даже не замедлила шага.

Ей уже слышался в прибойном гуле знакомый свист возносящегося к небу китового фонтана.

Блеск моря слепил ей глаза, и Нау не могла как следует рассмотреть берег.

И вдруг она увидела необычное... Подумалось, что это просто видение ослеплённых блеском воды глаз.

Да, был фонтан, в котором дробилось солнечное сияние, и кит, приткнувшийся к берегу. Но по мере того как Нау всматривалась в морского великана, он становился всё призрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды...

Нау моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита.

Но его не было.

Не было и фонтана с солнечной радугой.

Вместо всего этого она видела на пенной оторочке прибоя человека.

Он стоял и смотрел на нее чёрными, как у нерпы, глазами. Нау кинула быстрый взгляд на море. Там было пустынно. Ничто не указывало на то, что кит, который только что был у берега, уплыл. На гребнях прибоя сидели морские кулички и дёргали острыми головками. Стаи перелётных птиц низко стлались над водой.

Нау чувствовала, как холодно вокруг. Студёная галька жгла ноги, холоден был воздух, и даже сами солнечные лучи уже не грели. Человек сделал шаг навстречу, и Нау показалось на миг, что за его плечами мелькнула радуга. Его лицо вдруг переменялось: глаза сузились, рот полуоткрылся, и от всего его облика повеяло необычным теплом. От него исходило ласковое, греющее даже на расстоянии тепло, зовущее, заволакивающее мягким облаком.

Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться в нём от холода.

Мужчина взял Нау за руку.

Он шёл легко, перешагивал мелкие лужицы, перепрыгивал через потоки, и поступь его была подобна полёту птицы. Нау неслась словно на крыльях развевающихся чёрных волос за незнакомцем.

Утренний холод улетучился, стало даже жарко, и ноги горели, будто она бежала не по прохладной траве, а по раскалённым летним солнцем песчаным берегам тундровых рек.

Блеск солнца мчался вслед за ними по глади лагуны, по струям речушек и ручейков, по многочисленным лужам и озерам.

Что же это?

Неведомая, огромная, сравнимая только с солнцем, радость. Лёгкость и тревожно-сладкое ожидание, тёплое стеснение в груди от мысли, что он рядом, тот, в котором слилось всё, что пришло этим летом, – и огромный кит, и удивительное тепло, и неожиданное открытие того, что она чем-то отлична от птиц и зверей, от трав и волн, от неба и земли...

Что же это такое?

Они поднялись на тундровые холмы, покрытые мягкими, чуть

пожелтевшими травами. Под травами лежал подсохший светло-голубой олений мох – ягель, толщей своей защищающий растения от губительного воздействия вечной мерзлоты.

С высоты холмов открывалось море, уже далёкое, с еле слышным приглушённым прибоем.

Мужчина остановился, не выпуская руки Нау.

Он повернулся лицом к морю, и девушка вместе с ним посмотрела в синюю даль.

За белой оторочкой прибоя резвились киты. Стая приблизилась к берегу, расцветив радужными фонтанами волны и спугнув куличьи стаи.

И лицо его вновь озарило выражение, от которого исходило тепло, и в его нерпичьих больших чёрных глазах зажгётся тёплый жёлтый огонь.

Мужчина взял её вторую руку и чуть потянул к себе. Тепло казалось невыносимым, обжигающим, но зовущим. Слегка кружилась голова, и Нау вспомнила, как взбиралась на высокие прибрежные скалы и оттуда подолгу глядела на море, на движущуюся рябь, на чередующиеся волны... Вот так же кружилась голова и крутая даль тянула к себе, вызывая сладостную дрожь в ногах...

Но это совсем другое, лишь отдалённо напоминавшее зов бездны.

И снова это тепло, нежное, мягкое, как мягкий пух в гнезде гаги на холодных скалах, обращённых к морю, вечно обдуваемых ветром и смачиваемых солёными брызгами...

Лицо его было близко, и оно менялось, как меняются тундра и море под ветром с облаками, то открывающими, то закрывающими солнце.

От него пахло морским ветром и водорослями.

Да, она ждала именно его, вот такого, близкого, понятного, сильного и нежного одновременно. И вся её тревога по утрам, беспокойство по вечерам, когда солнце уходило за морской горизонт, и ощущение радости, когда кит приплывал к берегу, было предчувствием именно этой встречи, ожиданием счастья.

Рэу опустился на траву, увлекая за собой Нау. Кружилась голова, всё казалось окутанным радужной дымкой, и тело словно было погружено в тёплый китовый фонтан, обволакивающий, ласкающий прикосновением своих нежных струй.

Иногда Нау казалось, что она летит высоко над поверхностью земли и мягкие светлые облака несут её вслед за лёгким ветром. И одновременно с этим ощущением росло и другое: хотелось слиться воедино с мужчиной, и это желание было таким сильным, что Нау чувствовала боль от этого желания. Иногда боль наполняла всё нутро её, стараясь вырваться наружу, но не находила себе выхода.

Нау хотелось кричать от рвущихся изнутри воплей, но она не знала... не знала ещё, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь...

Нау слышала шум китового фонтана, взрывающего воздух над морской волной... Р-р-р-э-у!.. – чудилось ей.

– Рэу, Рэу, Рэу, – произнесла она несколько раз и открыла глаза.

Лицо Рэу было совсем близко, и большие его чёрные глаза вбирали в себя девушку, топя её в мерцающей, жаркой черноте.

Теперь Нау не чувствовала ни страха, ни тревоги. Она ещё и ещё раз убеждалась в том, что именно этого ей не хватало, именно этого она и ждала. Она только не догадывалась, что это самое придёт к ней в облике мужчины, вышедшего из кита.

И вдруг словно солнечный раскалённый луч прошёл через всё её тело. И первая мысль её была: разве боль может быть радостью? И тут же ответ: да, боль может быть самой высокой радостью, от которой хочется кричать и плакать светлыми, горячими слезами. Луч бродил по её телу, зажигая его, рождая невидимый огонь, и хотелось только одного – чтобы это продолжалось бесконечно долго, вечно...

Когда Нау пришла в себя, то в первое мгновение она испугалась того, что всё это ей показалось или приснилось.

Но Рэу – так она мысленно назвала мужчину – сидел с ней рядом и держал в руках её чёрные волосы, переливая пряди из одной руки в другую. Он улыбнулся, и лицо его озарилось необыкновенным светом.

Он рассматривал Нау, приближая своё лицо к ней, касался кончиком носа её носа, и это прикосновение снова разжигало теплившийся в сердцах огонь.

– Разве боль может быть радостью?

– Высшая радость приходит через боль, – ответил Рэу.

Вместе с его словами Нау ощутила знакомые запахи моря – солёной пыли, водорослей, мокрой гальки и распылённых по берегу красных морских звёзд.

Перед заходом солнца Рэу встал с примятой травы и зашагал в сторону моря.

Нау шла рядом.

И чем ближе был шум морского прибоя, тем тревожнее становилось в её душе. Впервые в жизни она без радости подходила к морю.

Вот уже прибой и куличьи стаи на его изломе.

Рэу остановился.

Солнце падало в воду. Над линией, где соединялось небо с водой, оставался верхний край диска, и от него по воде бежала звонкая светлая дорожка, упиравшаяся в мокрый галечный берег.

Рэу ступил на эту дорожку, шагнул в воду, и на том месте, где

только что был человек, мелькнул на мгновение китовый фонтан.

Нау в порыве шагнула в воду, но что-то сильное и властное вытолкнуло её обратно на берег.

А кит уходил всё дальше, и вскоре его фонтан померк вместе с последним отблеском погрузившегося в море солнца.

2

Когда солнце вставало над лагуной, достигнув своей высшей точки, Нау спускалась на берег и стояла, пока вдали не начинала играть радуга.

Радость её росла по мере того, как к берегу приближался кит и громче становилось его взволнованное дыхание.

Обратившись в человека, Рэу брал Нау за руку и шёл вместе с ней на мягкие тундровые травы.

Они мало говорили. Много из того, что нужно было передать друг другу, само собой изливалось через взгляд, прикосновение и даже просто через долгое молчание.

Проходили дни, полные счастья, невидимого и неслышимого полёта души. И однажды Нау увидела, что дальние горы покрылись снегом.

– Что это?

– Это то, что погонит нас в другие моря, – ответил Рэу.

– Значит, ты покинешь меня?

Рэу промолчал.

С каждым днём свидания укорачивались, потому что солнце торопилось уйти в воду, сокращая свой небесный путь. В воздухе закружились белые снежинки. Падая на землю, на лужицы, в бочажки, они превращались в холодную воду.

Неуютно становилось на земле.

Птичьи стаи уходили на юг, оглашая опустевшую тундру печальными криками.

Умолк звонкий птичий гомон над ручьём, и сама вода в нём потемнела, загустела от частых дождей.

Нау бродила по тундре и разрывала мышинные норы, чтобы достать из них сладкие корешки. Бывали дни, когда она не могла приблизиться к морскому берегу: огромные волны бились о скалы, накатывались на галечную косу, кидаясь на одинокую девушку, стоявшую на высокой галечной гряде.

В такие дни Нау боялась, что Рэу не приплывёт.

Но он приплывал.

Однако в его ласках появились тревога и нетерпение.

– Почему ты не остаёшься со мной до утра?

– Потому, что если я не вернусь с последним лучом, я навсегда останусь на земле, – ответил Рэу.

– А ты этого не хочешь?

– Не знаю, – ответил Рэу.

Ещё совсем недавно, по весне, когда он, молодой и сильный, резвился в морской упругой воде, он мог с уверенностью сказать, что никогда и ни за что не променяет вольную морскую стихию на земную твердь. А теперь... Он и не подозревал, что есть в мире такая сила, которая превращает кита в человека и держит его на берегу, заставляя забывать о великой опасности навсегда остаться на земле человеком.

Братья-киты предостерегали его. Отец показал на белую пелену на горизонте. Она с каждым днём приближалась к берегу. Скоро это холодное и белое скуёт морскую воду и закроет путь к живительному воздуху. Уже ушли в тёплые края первейшие враги китов – морские косатки, уплыли моржи, тюлени, и даже мельчайшие морские обитатели, которыми кишели прибрежные отмели, последовали за большими зверями. Всё пустынное и молчаливее становились берега северного моря.

Наступил день, когда за каменным мысом появилась полоса белого льда, и от него ощутимо потянуло холодом и резким студёным запахом. Рэу приплыл не один. Остальные киты держались у кромки льда, пуская высоко в воздух хорошо видимые в стылом тумане фонтаны. Их было так много, что испуганные бакланы поднялись и улетели.

Рэу медленно приближался к берегу, сопровождаемый братьями. Они словно придерживали его, не давая ему коснуться прибрежной гальки. Но Рэу пробился к пенному прибою и вышел на берег.

Он тяжело дышал, и грудь его высоко поднималась.

– Нау, – сказал он, – я пришёл к тебе.

– Навсегда?

– Навсегда, – ответил Рэу, и как бы в ответ на эти слова в воздух взметнулись десятки китовых фонтанов, раздробив солнечный свет и заглушив все остальные звуки.

Рэу взял за руку Нау и повёл за собой в тундру, подальше от морского берега, от разъярённых китов-сородичей. Он торопился уйти, боясь, что переменит решение и уйдёт вместе со своим китовым племенем далеко в южные тёплые моря, подальше от надвигающихся льдов.

Они прошли тундровым зелёным берегом лагуны и углубились в холмы, где трава уже не была такой мягкой, а в земле чувствовалось приближение вечной мерзлоты, притаившейся от летнего тёплого солнца за толстым слоем мха и прошлогодних трав.

Они уселись на пригорке и долго сидели молча.

Рэу был печален, и на лице его был туман, как в эти осенние утренники.

Нау дотронулась до его щеки пальцем.

Рэу вздрогнул и вздохнул.

– Что будем делать? – спросила Нау.

– Жить будем, – коротко ответил Рэу. – Новой жизнью, жизнью людей.

Нелегко пришлось в первые зимние дни. Рэу вырыл земляную нору и соорудил над ней свод из жердин, подобранных на берегу. Сверху свод покрыл дёрном и сухой травой. Он смастерил копьё из расщеплённой кости моржа и заколол дикого оленя. Шкуру постлали на ложе, чтобы защитит себя от подземного вечного холода.

Нау вспоминала беспечные дни, как красивый сон, как то, чего на самом деле никогда не было. Иной раз ей даже казалось, что и Рэу никогда не был китом, потому что больше не было открытого моря, и, сколько охватывал глаз, простиралась белая пустыня, покрытая искорёженными обломками торосов, вздыбленными ледяными полями, которые светились пронизывающим холодным мерцанием. Ветер бродил меж льдов, выбирался на берег и тщательно заметал всё тёмное снегом, в ярости накидываясь на низкую пещеру-землянку, стараясь сровнять её с белой равниной. Ветер ярился, обнаруживая каждое утро чернеющее отверстие, из которого поднимался пар живого дыхания людей.

Хотя усталость валила по вечерам с ног первых обитателей косы между лагуной и морем, они были счастливы, и большое, высокое и вечное, которое соединяло Нау и Рэу, горело с постоянством и силой летнего незаходящего солнца.

Охотничья удача сопутствовала Рэу, и оленьих шкур теперь хватало не только на подстилку, но и на то, чтобы защититься от холода.

Нау сучила нитки из сушёных оленьих жил и иглой, выточенной из кости косатки, сшивала высушенные и выделанные шкуры. Чтобы тело Рэу не тёрлось о шершавую мездру, Нау на полу тесной хижины мяла оленью шкуру твёрдыми пятками своих сильных ног.

Горел огонь в каменной плошке, словно маленькое солнце поселилось в занесённой тяжёлыми снегами землянке.

Темнота подступала ближе и плотнее. Солнце показывалось лишь узкой красной полоской, но в сердцах Нау и Рэу была твёрдая вера в то, что обязательно придёт новый настоящий день, который будет ещё лучше вчерашнего, точно так, как прекрасными они находили друг друга каждое новое утро.

Прошлого как бы не существовало для них, потому что главным, от чего зависела жизнь, тепло в хижине, огонь в каменной плошке, было настоящее. И от настоящего зависело то, что будет завтра.

Часто дули ураганы. Слежавшийся снег поднимался в воздух, и плотная пелена мокрого снега и упругого ветра валила человека с ног, прижимала к земле.

Прислушиваясь к громоханию снега по крыше землянки, Нау вдруг ощутила толчок внутри себя.

– Что там? – встревоженно спросила она, приложив ладонь к животу.

Рэу положил руку на смуглую тёплую кожу жены чуть выше тёмной точки пупка.

И почувствовал биение живого.

– Это будущая жизнь! – радостно сказал он. – Это новое утро нашей жизни! То, ради чего мы вместе!

– Это будущая жизнь, – тихо повторила Нау, прислушиваясь к себе.

Когда утихла пурга и Нау с Рэу вышли на волю, из-за дальних гор показалось солнце.

– Оно вернулось – источник тепла!

Они кричали от восторга и смотрели друг на друга счастливыми глазами.

Солнце ещё было низко, и лучи его окрашивали снег в алый цвет на всём протяжении до горизонта, который с трудом просматривался вдали.

Рэу мастерил разные орудия. Глядя на него, на падающие на его лоб волосы, Нау припоминала что-то смутное, неправдоподобное, волшебное, что приключилось с ней неизвестно когда – то ли во сне, то ли наяву. Был ли вправду он китом?

На рассвете Рэу уходил на морской лёд.

Нау с нетерпением ожидала его. Смотрела на торосы. Иной раз ей чудилось открытое море, зелёные волны и радужные блики вдали. Что это было? Сердце билось сильнее, жаркое волнение поднималось в груди, и становилось так тепло, что она откидывала капюшон оленьей кухлянки.

Рэу приходил с добычей, и Нау больше не вспоминала о странных мыслях и видениях, занятая разделкой добычи, приготовлением пищи.

Солнце оторвалось от Дальнего хребта и поплыло по небу.

Однажды Рэу заметил на южной стороне большого тороса щетинку еле видимых глазом крохотных сосуллек.

Знакомая птичья песня разбудила Нау. Поначалу она не могла уяснить – то ли это у нее внутри поёт или же за стенами хижины.

Маленькая серенькая полярная пуночка прыгала на тоненьких озябших ножках и звонко щebetала, подбирая остатки пищи. Она верещала и маленьким острым глазом лукаво посматривала на Нау, как бы поздравляя её с приходом поры Большого Света.

Нау заметно отяжелела, тело её округлилось. Она с трудом но-

сила большой живот. Вместе с теплом в прибрежные разводья приплыли жирные нерпы. Они вылезали греться на солнце, и тут их настигал охотник. Иной раз за день он добывал сразу несколько нерп и в последующие оставался дома, поправляя жилище, побитое жестокими зимними ветрами.

Устроившись на солнечной стороне, где уже стоял снег, люди разговаривали о будущем.

– Пройдёт время, – задумчиво говорил Рэу, – и рядом с нашей хижинкой вырастут другие жилища, и род людей, который мы начали, распространится по морскому побережью. Здесь есть простор, море кишит зверьём, в тундре бегают олени – можно жить и ждать радостей, которые сулит завтрашний день...

– Как хорошо смотреть в будущее, – отзывалась Нау. – Когда глядишь вперёд, кружится голова, будто смотришь с большой высоты.

На лагуне подтаял снег, и поверхность её теперь была похожа на плешивую от сырости оленью шкуру.

Как-то Рэу, вернувшись с сопки, откуда он высматривал приближающиеся стада диких оленей, возбуждённо сказал:

– Я видел открытое море.

– Открытое море? – тревожным эхом отозвалась Нау.

– Лёд сломался, – сказал Рэу. – И большие птичьи стаи летят к этой воде через нашу косу.

– Откуда столько живого приходит на нашу землю? – спросила Нау.

– Должно быть, где-то есть иная земля, – ответил Рэу. – И, быть может, такие, как мы с тобой, существуют ещё где-нибудь. Мы только ещё не знаем их, ещё не встретились с ними.

Тёплый ливень разбудил обитателей хижины. Когда они вышли на волю, то увидели, что от льда на лагуне осталось лишь несколько плавающих кусков, которые, повинувшись течению, плыли у берега, отдаляясь к проливу. А в море свободная ото льда вода уже была видна с порога хижины, и полузабытый запах моря снова щекотал ноздри, рождал смутные желания.

Рэу смастерил сеть из оленьих жил и натянул на круг из гибкой ветви. Он поднимался на прибрежные скалы и ловил сетью красноклювых топорков.

Последние льдины ушли из лагуны.

Нау непонятно и неудержимо тянуло к воде, и она была готова целыми днями сидеть, глядя на ровную поверхность, следя за толстыми бакланами-рыболовами, за снующими в прозрачной воде серыми бычками и плоскими рыбами, плотно прижимающимися к каменистому дну.

Это случилось ранним утром, когда солнце уже было высоко над мысом и собиралось двинуться в долгий путь над тундровыми холмами.

Она спустилась на прибрежный лужок со свежей, блестящей травой у устья ручейка, сбегающего с горы.

На её крик прибежал Рэу.

– Подтащи меня ближе к воде, – попросила Нау.

Маленькие китята появились, когда ноги Нау наполовину оказались в воде. Новорождённые поплыли, пуская маленькие фонтанчики.

Нау повернулась лицом к Рэу и счастливо улыбнулась.

– Я рада, что они похожи на тебя.

Нау вошла в воду, и набухшие от молока груди оказались в воде. Китята подплыли и начали шумно сосать, касаясь грудей мягкими толстыми губами, меж которых розовели ещё нежные, пушистые зачатки китового уса.

3

Рэу охотился на непрочном ледовом припае, добывая нерп и лахтаков.

А Нау почти не уходила с берега, возилась со своими детьми, которые росли, набирались сил и уже отваживались уплыть на середину лагуны, на самую глубину.

И тогда Нау тревожно окликала их, зовя именем отца:

– Рэу! Рэу! Рэу!

Китята высоко взмётывали фонтанчики, торопились к ней, тыкались мягкими губами в распластанные на воде груди и долго и смачно вбирали в себя жирное материнское молоко.

В вечернюю пору, когда солнце покидало сушу и отправлялось в море, чтобы окунуться после долгого дневного перехода в прохладные воды, приходил отец и играл с детьми. Он кидал разноцветные камешки далеко в воду, китята бросались за ними, отыскивали их на дне лагуны.

У лагуны становилось шумно: всплески воды, шипение и свист китовых фонтанов, крики Рэу и Нау – всё это смешивалось с щебетанием птиц над ручьём, с хлопаньем крыльев бакланов, удирающих от стремительно плывущих китят. На кочках стояли суслики и одобрительно посвистывали.

С заходом солнца китята отправлялись спать, а родители укладывались здесь же, на берегу, подстелив под себя олени шкуры.

Нау среди ночи часто просыпалась, прислушивалась к плеску воды, чтобы услышать сонное дыхание своих детей. Широко открытыми глазами она смотрела на светлое небо, где ещё не было звёзд: они зажгутся тогда, когда укоротится солнечный день. Лёжа так, без сна, Нау чувствовала себя лёгким ветром, медленно парящим над сонными травами и цветами, над волной, плещущейся у уреза, чувствовала себя частью каменного берега, у которого тек-

ла студёная океанская вода, облаком под острым краем бледной луны... Она была всем, что вокруг неё, что являлось огромным миром, заполнившим всё видимое пространство. Она знала, что с наступлением рассвета, когда солнечные лучи ударят в мокрые скалы у мыса и перепрыгнут на галечную косу, заиграют на утренней ряби лагуны, всё это исчезнет, она как бы заново превратится в существо, отличное от окружения. Именно днём приходили трудные мысли о том, что вот китята, будучи её детьми, плоть от плоти её и Рэу, всё же китята и они не могут даже взойти на берег и войти в родительскую хижину...

Нау утешалась слабой надеждой, что со временем китята превратятся в людей, как это случилось с Рэу.

Порой Нау хотелось поделиться тревожными мыслями с Рэу, но тот, казалось, не видел никакой разницы между собой и китятами. Видимо, ему и в голову не приходило, что они – отличные от него существа. Может быть, это оттого, что Рэу сам был китом в облике человека...

В дневное время Нау снова становилась обыкновенным человеком. Ей приходилось напрягать разум, чтобы понять, чего хочет старый ворон, взобравшийся на побелевший от времени, отполированный ветрами моржовый череп, ей надо было задуматься, чтобы догадаться о смысле пения пуночек и свиста евражек. Это рождало тревогу и мысли, раздумья о происходящем.

Рэу был занят с утра до вечера.

Ещё весной он загарпунил на льду несколько моржей и показал Нау, как нужно расщеплять кожи, чтобы они стали тонкими и упругими. Эти сырые кожи он долго держал в мелкой воде лагуны, и, пока они там мокли, собирал плавниковые жерди, подбирая их друг к другу. Нау казалось, что Рэу мастерит скелет какой-то неведомой гигантской рыбы. Он обтачивал дерево заострёнными ножами из камня, полировал, сверлил трубчатыми костями и потом крепко связывал лахтачьими ремнями. Когда всё было готово, Рэу достал из воды моржовые кожи и обтянул ими деревянный скелет.

– На этой лодке, – объяснил Рэу, – можно уходить далеко от берега.

Первое плавание совершили по лагуне.

Упругая вода била в днище, вызывая звонкий гром, ветер наполнил парус, сшитый из тонко выделанных нерпичьих кож, и лодка мчалась по лагуне. Дети-китята плыли вслед, радостно выпрыгивая из воды, стараясь высоким фонтаном обрызгать родителей.

Лодка шла вдоль галечной косы к проливу, соединяющему лагуну с открытым морем.

Нау громко окликала детей, и ей казалось, что они отзываются

ся ей, лопочут детские слова, радуются вместе с ней изобретению отца.

Рэу, гордый тем, что сотворил такое чудо, выкрикивал сильное, громкое, приятное слуху. Толстые бакланы нехотя уступали дорогу, долго махая крыльями, чтобы подняться над водой, чайки с тревожными криками носились над лодкой, пересекая ей путь, а нерпы выныривали и долго смотрели вслед, не понимая, что случилось, стараясь уразуметь, что за неведомое чудище появилось в их водах.

– Теперь мы стали ближе к детям, – радостно сказала Нау, когда они приплыли обратно и вытащили на берег лодку.

– Завтра выйдем в открытое море, – сказал Рэу.

Море ласково приняло лодку. Нау почувствовала, как сильно и могуче оно, как велики волны, незаметные с берега. Они легко несли на могучей спине кожаную лодку. Сильный и ровный ветер наполнял парус, и вода легко журчала за бортом уходящей от берега лодки.

Глянув на Рэу, Нау удивилась: она никогда не видела на его лице такого выражения. Рэу словно бы слился с лодкой и был единым существом с ней. Каждый удар волны, каждый порыв ветра отражался в нём. Вздываясь на гребень волны вместе с лодкой, Рэу как-то странно придыхал, словно выпускал из себя китовый фонтан. Ветер шевелил его волосы, обвевал напрягшееся, сузившееся лицо и выжимал слёзы из широко открытых глаз.

А потом Рэу стал громко и протяжно кричать, и в этом крике были удивительные слова, словно окрашенные радугой:

*Ветер, сильный ветер,
Смешанный с пылью морской воды!
Подними на могучую спину свою
Кожаную ладью и вознеси
На тропы морских родичей моих,
Чтобы свиделся я с ними и
Сказал, что есть великая сила
В природе, что делает кита
Человеком и даёт жизнь
Новому, доселе небывалому
В природе...*

Нау, невольно поддаваясь очарованию ритмичного крика, вдруг обнаружила, что кричит вместе с Рэу, и новорождённая песня людей звенит вместе с ветром, ударяясь о парус.

Галечная коса давно скрылась с глаз, и скалистые мысы, разноцветные вблизи от наростов лишайников и мхов, кое-где покрытые зелёной травой, стали синими, и расстояние смазало их

очертания, уменьшило размеры. Теперь огромная водная ширь отделяла кожаную лодку от земли, и это волновало Рэу, наполняя его новой силой.

А Нау вдруг почувствовала страх.

Твёрдая, надёжная земля оставалась уже далеко. Маленькой хижины нельзя было рассмотреть.

– Куда мы плывём, Рэу? – спросила Нау.

Рэу прервал пение, и последний звук унёсся поверх паруса, смешавшись с шипением зелёных волн.

Выражение лица Рэу переменилось, словно туча нашла на него, и он тихо ответил:

– Не знаю.

Он сел на дно лодки, на частые переплетения деревянных планок, на которые была натянута моржовая кожа.

– Я вспомнил давние годы, – сказал Рэу. – Я был молодым и любопытным и часто отрывался от своих. Уходил далеко, чувствуя себя частью моря, ветра и синего неба. Меня предостерегали. Но я не слушал слова старших. Однажды на меня напали косатки. Они преследовали меня яростно и долго, стараясь прижать к берегу. Но я сумел уйти от них и воссоединился со своей стаей. В другой раз я оказался среди плавучих льдов, из которых едва выбрался, ободрав до крови всё тело... И сегодня, выйдя в море, я снова почувствовал себя молодым и полным сил...

Рэу развернул лодку к берегу.

Когда впереди тонкой полоской обозначилась коса, рядом с лодкой взметнулся китовый фонтан и из глубины показалась голова кита.

– Это мой брат! – обрадованно закричал Рэу. – Гляди, Нау, а вон ещё один! Другой позади нас! Они пришли ко мне! Нау, они радуются свиданию с нами!

Киты осторожно подходили к кожаной лодке и толкали её вперёд, придавая ей новую скорость. Их разинутые пасти, украшенные тёмным частоколом плотного китового уса, казалось, улыбались Нау.

Рэу стоял во весь рост и радостно смотрел на своих братьев.

– Как жаль, что они не понимают человеческого разговора, – сказала Нау.

– Понимать-то понимают, – ответил Рэу, – только говорить не могут. Чтобы иметь речь, надо стать человеком, надо полюбить женщину, как это случилось со мной... Так мне говорила мать, когда она вызнала, почему я так стремлюсь к берегу, отчего я так долго не возвращаюсь к стаду. И ещё она говорила: все, кто живёт на побережье, произошли от китов, которых преобразила любовь...

– Значит, мы не одиноки на берегу? – спросила Нау.

– Может быть, – ответил Рэу.

– Тогда почему я родила китят?

– Потому что я – кит, – ответил Рэу, и, словно в ответ на эти слова, братья, следовавшие за лодкой, взметнулись вверх, выпрыгнув из воды почти во всю свою огромную длину.

Поднятые ими волны едва не захлестнули кожаную лодку, но Рэу только смеялся и кричал громкое, радостное своим братьям.

Вместе с ним радовалась и Нау, и спокойствие возвращалось к ней по мере того, как приближался берег и издали уже можно было различить белую оторочку прибоя.

Рэу направил лодку в узкий пролив, соединяющий лагуну с морем.

За отмелью дети встретили кожаную лодку и пристроились к бортам, сопровождая её, пока она плыла от пролива вдоль зелёных тундровых берегов.

На закате Нау покормила детей, и они отплыли на середину лагуны, где обычно проводили ночь.

За вечерней трапезой Рэу сказал:

– Мои братья признали меня. Они увидели, что я возвратился в море, остался верен ему.

Когда росы стали холодными и в тундре налились соком ягоды, Нау стала замечать, что детям всё труднее подплывать к ней – они выросли.

На рассвете Нау уходила на зелёные холмы, пересекая низкую, болотистую луговину, на которой алела спелая морошка. Она собирала в кожаный туесок чёрную шикшу, голубику, морошку. К полудню возвращалась в хижину. А Рэу всё не было: он уплывал в кожаной лодке к Одиноким скалам, торчащим далеко в море, и там охотился на нерпу, гарпунил моржей и встречался со своими братьями.

Нау смешивала ягоды, сдабривала их нерпичьим жиром и ставила на холодок, чтобы угостить лакомством возвратившегося охотника.

На морской стороне галечной косы она ждала возвращения Рэу.

Сначала показывался парус. Он медленно рос, покачиваясь под ветром. Над парусом летели птицы, указывая путь к берегу, а рядом плыли братья-киты.

Нау смотрела на приближающуюся лодку. Вот уже можно различить сидящего в ней охотника, его развевающиеся на ветру чёрные волосы. По бокам лодки были привязаны нерпичьи и моржовые туши.

На этот раз Рэу приволок большую тушу моржа.

Жёлтые клыки животного торчали под водой. Рэу и Нау пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытянуть на берег гигантское животное.

– Большая кожа у этого моржа, – сказал Рэу. – Мы сделаем из неё покрывало для новой хижины, чтобы нам было просторно в ней.

Он давно заметил, что Нау снова собирается стать матерью, и радовался этому.

С приходом тёмных ночей подростки китята перестали подходить к берегу

– мели не пускали их. Нау уже не кормила их своим молоком, и дети сами добывали себе еду.

– Им тесно в лагуне, – сказал Рэу и спустил лодку в воду.

Он посадил Нау в середину, сам устроился на корме, чтобы править парусом и рулевым веслом.

Китята ждали родителей на глубоком месте.

– Следуйте за мной! – крикнул им Рэу. – Плывите вслед за нашей лодкой!

Китята пристроились к корме. Они радовались, как всегда, свиданию с отцом и матерью.

Рэу направил лодку в пролив.

Нау молча смотрела на плывущих следом китят. Они издали поднимали головы, и в их глазах, блестящих и ясных, Нау видела невысказанную нежность и сыновнюю преданность. Теплом наполнялась грудь, и хотелось очутиться в воде и рядом с ними плыть широкой водной дорогой в открытое море.

В проливе китята чуть замешкались, как бы прощаясь со своей колыбелью – лагуной.

Впереди расстилалось море – широкое, могучее, глубокое, полное новых тайн, друзей и родственников.

Ещё издали Нау увидела братьев Рэу, которые поджидали своих родичей.

Лишь только дети выплыли из лагуны, киты двинулись навстречу и окружили их, победно трубя фонтанами воды.

– Теперь я спокоен за них, – сказал Рэу. – Они в своей родной стихии, среди близких и родных.

Нау с грустью смотрела на уходящих в море детей.

– Не печалься, – сказал Рэу, дотрагиваясь до её плеча. – У нас ещё будут дети... Но дети, вырастая, всегда уходят из родного гнезда на собственную жизнь.

Дети Рэу и Нау ещё много раз подходили к берегу, на свидание со своими родителями. Всем своим видом они показывали, что им хорошо и вольготно в море и они помнят отца и мать.

Когда кромка льда показалась на горизонте, Нау родила мальчиков-близнецов. Они лежали по обе стороны счастливой матери и орли во всё горло.

Склонившись над ними, Рэу всматривался в новорождённых, и трудно было по его лицу догадаться, доволен он или нет.

Только вчера старшие ушли в тёплые края, где будут зимовать

вдали от острых льдин и смертельной стужи. Всем стадом они приплыли прощаться и долго резвились возле самого берега, пугая стаи перелётных птиц.

Опустел берег. На него, зловеще потрескивая, надвигался лёд, шурша по мелководью. Свирепел ветер, гоня по галечной косе ледяной дождь, превращающийся на глазах в снег.

В хижине кричали два мальчика, оглашая близкую окрестность и вплетая в вой ветра человеческий голос.

Нау склонялась над ними, и почему-то на память приходили безмолвные первенцы, родившиеся китами и уплывшие в далёкие моря. Какое счастье быть матерью!

Рэу строил большую ярангу.

Он воткнул колья полукругом и обтянул их нерасщеплённой моржовой кожей. Затем соорудил коническую крышу и тоже покрыл кожей. Она ещё была свежей, не потемнела, и дневной свет проникал внутрь. В тёплом жёлтом свете было уютно. Но для настоящего тепла ещё надо было сделать полог. Нау сшила его из шкуры белого медведя.

Кожаные туеса и деревянные кадки были заполнены моржовым жиром, в земляном хранилище был достаточен запас мяса. Впереди была зима, но люди не страшились её, потому что их было уже много на этой занесённой снегами Галечной косе у Китового моря, скованного льдами.

Весной киты приплывали к берегам Галечной косы. Показывая на них, Нау говорила своим двум мальчишкам:

– Вон плывут ваши братья!

Братья-киты близко подплывали к берегу, почти касаясь головами гальки. Они плескались, ныряли и вдруг неожиданно всплывали, обдавая Нау и мальчиков брызгами тёплой воды.

Мальчишки носились по берегу, и матери порой приходилось силой оттаскивать их подальше от прибоя.

Возвращались домой мокрые с головы до ног, и Нау сушила детскую одежду, шила новые торбаса и кухлянки, потому что одежда на ребятишках изнашивалась с невероятной быстротой.

Киты сопровождали Рэу и часто помогали, если добыча была тяжела и лодка едва шла по воде.

*Киты и люди – это один народ!
Соединившись, земля и море
Родили людей, чьё пастбище –
Волны и пучина морская,
Торосы в зимнюю пору!*

Рэу пел, и мальчишки затаив дыхание слушали его мощный голос, доносящийся из морской дали.

*Волны морские, застыв,
Обратились в тундровые холмы,
Поросли травой, испещрились ягодой;
И всё живое, что есть на тундре,
Имеет братьев в волнах морских...*

Мальчишки подходили ближе к воде и пели уже вместе с отцом:

*Киты и люди – один народ!
Мы – братья моря и земли!
И рождены для вечной дружбы!*

Люди вытаскивали добычу на берег, разделявали её, и чайки с громкими криками ликования носились над кусками мяса и жира. Волна тихо плескалась у ног, слизывая кровь, а вдали сверкали китовые фонтаны, прочерчивая небо, дробя солнечный луч.

Чередовались зимы и лета. Росли сыновья-первенцы, рождались другие дети, но уже не было больше китят в роду у первых поселенцев Галечной косы.

Ранней весной, как только острым южным ветром отрезало от берега припай, тот, кто первым видел на горизонте китовый фонтан, приветствовал его радостным криком:

– Братья идут! Братья к нам плывут!

Старели Нау и Рэу, но росли люди, рождённые и вскормленные ими. И не только мужчины были среди них, но и женщины.

Рядом с первой поднимались другие яранги, зажигались новые очаги, и девственный камень покрывался копотью огня, зажжённого человеком.

Старел Рэу.

Он уже не выходил в море, и вместо него охотились сыновья – сильные и смелые люди.

Они носили имена, которыми различали друг друга, ибо похожи они были, как схожи их предки – морские исполины.

Двух старших звали Тынэн – Заря и Тынэвири – Спустившийся с Рассвета. Остальных сыновей тоже нарекли, сообразуясь с их характерами или же по близкому к их появлению событию. Одного звали Вуквун – Камень, другого Кэральгин – по имени северо-восточного ветра, дувшего с особенной силой в день его рождения... Девочек тоже называли: Тынэна – Зорька, Тутына – Сумеречный Свет...

Но наступает осень не только в природе, но и в жизни человеческой. Рэу попросил Нау сшить ему штаны из белого камуса, снятого с ноги матёрого зимнего оленя. Это означало, что старик готовится уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир.

В один из ненастных вечеров, когда дождь бил по мокрым

моржовым крышам и ветер шарил по стенам, отыскивая вход внутрь жилищ, Рэу собрал своих детей.

– Мне скоро предстоит покинуть вас навсегда, – сказал он спокойно, оглядывая всех и на мгновение задерживаясь на каждом лице. – Как только рассеются тучи и путь в ясное небо будет открыт, я отправлюсь в дальнюю дорогу... Но прежде, чем уйти, я хочу поговорить с вами... Самое главное – никогда не забывайте, что у вас есть могущественные родичи в море. От них вы ведёте своё происхождение, и каждый кит – это ваш родственник, родной ваш брат. Быть братом другому – это не значит внешне походить на него. Братство в другом. Когда вы поднимаетесь на высокие скалы над морем, у вершины вы видите каменные обломки, многие из которых напоминают человека. Не приходит же вам в голову называть их своими братьями и вести своё происхождение от холодного камня... Мы пришли на землю потому, что есть высшее проявление живого – Великая Любовь. Она сделала нас людьми, сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, – вы всегда будете оставаться людьми... Любовь всесуща. Я думаю, что в этом мире мы не одиноки. В старинных преданиях китового племени говорится о таких, как я... Может, где-то есть другие Галечные косы, на которых стоят яранги и ваши братья ловят нерп, добывают моржей и поют песни о море... Ищите и умножайте себе братьев, потому что только в единении вы будете сильны... И ещё прошу вас помнить: моя дорога сквозь облака лежит через море...

В этот год у берегов Галечной косы было необыкновенное скопление китов, словно каждый из них хотел попрощаться с родичем своим, уходящим сквозь облака. Они приближались к берегу, где в безмолвии сидел Рэу. Иногда рядом садилась Нау, и они оба вспоминали молодость, когда на пустынном берегу Великая Любовь соединила кита и человека.

Рэу думал о тех, кто оставался в море и на берегу после него. Что же, он не сетовал на судьбу. Наверное, он был счастлив, потому что именно ему выпало стать человеком, познать Великую Любовь, о которой говорилось в древних китовых легендах. И всем казалось, что случившееся с Рэу могло происходить только в сказках... Значит, сказка – это правда, в которую иногда перестают верить...

Как это прекрасно – жить вместе с Нау!

Весь мир, со всей его красотой и нежностью, уместился в этой женщине, чьё сердце больше неба и чья внутренняя теплота может соперничать с теплом солнца. Она и сделала Рэу человеком своей Великой Любовью.

Рэу повернулся к Нау.

Годы нанесли снега на чёрные волосы, положили морщины на лицо. Но она была прекрасна и сегодняшней своей красотой.

Как тепло делается в груди, когда смотришь на неё, видишь её лицо. Да одна мысль о том, что она есть, существует на свете, наполняет сердце нежностью и благодарностью... Но ведь она будет с детьми. А потом придёт время, и она соединится с ним в вечности.

– Мне было хорошо с тобой, – сказал Рэу.

Он угас, когда лёд сковал море и первый снег припорошил трещины и разводья.

Сыновья совершили обряд печального прощания.

Обрядили Рэу в белые погребальные одежды, крепко завязали малахай на голове и зажгли костёр у порога. Пронесли над очистительным огнём тело покойника и положили на нарту. Сыновья впряглись в неё. Нарта, скрипя полозьями по свежему снегу, двинулась в сторону моря.

Нау, в кэркэре из тёмного меха, стояла у стены яранги и печальным взглядом провожала своего мужа в вечность.

Она не плакала. Ведь Рэу дошёл до конца своего пути, ушёл достойно, как подобает человеку, завершившему все свои земные дела.

Ясный день стоял над Галечной косой, похолодавшее зимнее солнце скупо освещало тянущих похоронную нарту через прибрежные торосы на ровное ледяное поле, где уже была приготовлена широкая прорубь.

Нау смотрела вслед.

Невольная слеза катилась по щеке, холодила кожу и с верхней губы падала на нижнюю, вкусом похожая на крохотный обломок солёного морского льда. Как велик и печален мир! Мыслью своей пытаешься измерить протяжённость жизни от далёкого прошлого, начала которого не помнишь, а будущее теряется в тумане никем ещё не испытанного пребывания в ином, заоблачном мире, где нет смерти, где нет сопоставления этого и другого мира... И всё это – жизнь, которая сильнее и длиннее в бесконечности, чем просто бытие в этом мире... Как велик и печален мир!

Сыновья молча тянули нарту, стараясь выбирать среди нагромождений торосов ровный путь, чтобы ничто не тревожило навеки уснувшее тело.

Вода у краёв погребальной полыньи то поднималась, то опускалась, выдавая взволнованное дыхание моря, словно оно и водная его глубина, где обрёл жизни первое дыхание Рэу, понимали случившееся. В проруби образовалась ледяная кашка. Один из сыновей взял черпак, сделанный из тугого оленьего рога и переплетённый лахтачьим ремнём. Отчерпав шугу, прояснив зелёную, почти чёрную в глубине воду, он остановился и посмотрел на братьев.

Они без слов отвязали тело отца и положили на лёд ногами к воде.

Постояв некоторое время, они слегка толкнули тело, и оно неожиданно легко и быстро скользнуло в воду.

За телом опустили в воду нарту, и она тотчас пошла ко дну, словно была сделана не из лёгкого дерева, а из моржовой тяжёлой кости.

Старший из братьев приблизился к воде и заглянул. Там отражалось небо и виднелось уходящее вдаль улыбающееся лицо Рэу – словно он кидал прощальный взгляд сыновьям, остававшимся на земле.

А в небе, низко над горизонтом, сияло солнце. Тишина стояла в природе, будто всё сущее, всё живое затаило дыхание в удивлении и благоговении перед Великой Любовью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Эну сидел у костра и внимательно слушал Нау. Смеяться над её рассказами о чудном происхождении приморского народа с некоторых пор вошло в привычку жителей Галечной косы и окрестных селений. Старуха стала местной достопримечательностью, и среди прочих новостей, которыми обменивались путники, обычно сообщалось о здоровье удивительной старухи и её рассказах и поучениях.

Однако Эну не показывал виду, что не верит старой Нау. Да и кто знает, может быть, она права, несмотря на то, что говорила чудовищно неправдоподобные вещи: будто бы она в ранней молодости была женой кита и первые её дети были киты. Никто не знает, сколько ей лет. Даже древние старики утверждали, что в годы своей юности они знали Нау уже глубокой старухой с теми же всем изрядно надоевшими рассказами о китовом происхождении приморского народа.

В общем-то, всё, что рассказывала Нау, было давно, ещё с детства, известно Эну.

Он вглядывался в сморщенное, словно печёная моржовая кожа, лицо старухи, в её удивительно светлые и глубокие глаза, отливающие зеленью морской глубины, и ему становилось не по себе.

Нау не имела своего жилища. Она приходила в любую ярангу Галечной косы, устраивалась как у себя дома и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие – её потомки. Кто знает, может быть, это действительно так? Никому никогда не приходило в голову отказать старой Нау в крове и пище. Но, когда она уходила жить в другую ярангу, люди облегчённо вздыхали и не удерживали её.

Несмотря на молодость, Эну почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал всё, что полагалось знать искусному врачу-вателю, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев. Но одного Эну не мог определённо утверждать: правду ли говорит старая Нау о происхождении приморского народа? Да, люди Галечной косы чтят морских великанов, как возможных своих предков, но уж больно разнятся между собой киты и люди. Мало того, что они живут в воде, киты к тому же огромны и бессловесны, даже голоса своего не имеют... Такие предки несколько неудобны для почитания. Однако вслух никто сомнений не высказывал, и культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений.

Старая Нау смотрела бездонными глазами на огонь, и Эну видел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине.

– Через меня, – продолжала глухим голосом Нау, – соединились земля и море, во мне родился человек таким, каким живёт он нынче вокруг нас.

– А как же слово? – осторожно осведомился Эну. – Как мысль?

– Когда я была юна и бегала, как молодая оленуха, по студёным, напитанным водой упругим тундровым кочкам, я и не задумывалась, кто я – песец, птица, волк или росомаха?.. Мне было всё равно, кто я, пока не приплыл Рэу и не озарил меня Великой Любовью. Сама Великая Любовь была тайной, потому что неведомо, откуда она сошла на нас. И тайна родила мысль. Потому что, пока есть тайна, человек всегда будет пытаться разгадать её и разум будет деятелен...

Нау замолчала.

– Выходит, пока есть тайна, будет жив и разум? – учтиво спросил Эну.

– Да, – ответила Нау.

– А речь откуда? Как человек научился разговаривать и общаться с другими? – продолжал спрашивать Эну.

– Нам с Рэу очень хотелось поговорить. Вот мы и заговорили...

Эну с выражением недоверия поглядел на Нау: слишком как-то всё просто.

– Вещи ведь живут отдельно от человека вместе со своими названиями и именами, – продолжала Нау. – А слово приходит из всех живущих на земле только к человеку. И речь делает нас людьми...

Эну прислушивался к словам старой Нау не только разумом, но и чувствами своими. Что-то было в её словах действительно весомое, мудрое. Мир для неё в самом главном всегда оставался единым. Наивысшим существом для неё всегда был кит...

– А откуда появились другие боги? – осторожно спросил Эну.

– Других богов в природе не существует, – сердито ответила Нау. – Их придумали себе люди. Из страха перед тайной. Когда нет

желания разумом отгадать тайну, начинают делать богов. Сколько тайн, столько и богов, на которых легко свалить всё. Когда человек проявляет слабость, он часто объясняет это вмешательством непонятных сил. А порой и силу свою начинает приписывать им... Это уже совсем недостойно человека!

– Однако мы всё же чтим кита как предка своего, – напомнил Эну.

– Кит – не бог, – решительно сказала Нау. – Он просто наш предок и брат. Он просто живёт рядом с нами, готовый прийти на помощь.

Эну шёл по берегу моря, встревоженный разговором со старухой. Он наклонялся, брал обрывки морской травы, бездумно жевал их. Сырой морской ветер, пропитанный резким запахом водорослей, птиц, рыб и зверей, мешал мыслям. Какая-то неумолимая, но пугающая правда чувствовалась в словах старой Нау о том, что человек создал множество богов от страха перед непонятным и неведомым. С этим и боязно согласиться, и в то же время соблазнительно. Но как тогда быть с установившимися обычаями? Отказаться от привычного трудно, а тем более от богов... Разумная мудрость подсказывает, что не следует резко менять представления человека, если даже они и ложны...

Старая Нау... её имя обросло легендами, слухами и покрылось тайнами... Она говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. В этом она права. А разум устроен таким удивительным образом, что он часто удовлетворяется готовой отгадкой, видимостью истины, пусть непрочной, со множеством прорек от сомнений и непоследовательностей.

Сколько же Нау живёт на земле?

Она говорит, что с самого начала была совсем одна и не знала, кто она

– пёсец, волк, россомаха или евражка... А может быть, тогда она была каким-нибудь животным? Это вполне может быть и согласуется с древними легендами о родстве людей с разными животными.

Но вот её сожитительство с китом...

С китом, который силой Великой Любви превратился в человека.

И ещё: память племени хранила множество рассказов о том, как киты помогали приморским людям добывать пищу, охотиться, уберегали от несчастий. Эти рассказы никто не подвергал сомнениям. Но вот превращение кита в человека... Почему этого больше не случается? Ведь становится же оборотнем охотник, унесённый на льдине в море. Его долго носит во льдах, ветер и буря треплют его одежду, и наконец он остаётся нагишом на холоде. Но природа не даёт ему погибнуть. Иные неожиданно об-

растают шерстью, короткой и жёсткой, как у лахтака, обретают тюленьи черты, теряют речь и спасаются... Они потом бродят по тундре невдалеке от людских поселений. Они воруют еду, руша земляные мясные хранилища, похищают сушёное мясо с вешал и, случается, нападают на женщин. Потом рождаются странные люди с обилием растительности на лицах, порой немые и глухие или лишённые зрения. Но от китов больше никто и никогда не рождался на этом берегу...

И всё-таки с дальних сумеречных лет идёт почитание китов и трепетно-священное отношение к великанам моря. Да и как не уважать и не благоговеть перед теми, чьи огромные тела поднимают большие волны и чьё дыхание взлетает ввысь? Остальные морские звери стараются держаться подальше от человека, боятся его, но киты никогда не уплывают, когда кожаные байдары приближаются к ним. Наоборот, они стараются держаться поблизости, и Эну был не раз свидетелем тому, как киты вели за собой охотников на места, богатые тюленями и моржами.

И всё же, как уловил Эну, у жителей Галечной косы не было твёрдой и безоговорочной веры в рассказы старой Нау о её жизни с китом. Это была сказка, придуманная выжившей из ума старухой. Однако существовала молчаливая договорённость между всеми: никогда не выражать сомнения самой Нау. Это было бы кощунством...

Старая Нау никогда не занималась врачеванием и предсказаниями, но если кто-нибудь обращался к ней за помощью, она никогда не отказывала. Лечила она только травами и настоями крепких бульонов, сдобренных кореньями, а её предсказания поражали точностью, которая почему-то пугала людей. Может быть, потому, что она с одинаковым равнодушием предрекала и беду, и будущую радость. И оттого, что она не скрывала правды, мало было желающих обращаться к ней. Наоборот, остерегались её острого языка и о важном и главном старались с ней не говорить, полагаясь в таком случае на Эну, который мог и утешить уклончивым ответом, и вселить надежду туманным, неопределённым обещанием.

Сколько живёт на земле Нау?

Или она вечна, как скалы, холмы и скалистые берега? Но ведь она состарилась... Значит, жизнь и время накладывали на неё свой отпечаток. Если она помнит время первых людей, то как же она стара, ибо нынче люди расселились по всему побережью и по тундре...

Рассказывала Нау, что, когда был жив Рэу, олень был дик и на него охотились крадучись. А ныне олени стада пасутся спокойно, и человек ходит за ними, не скрываясь. Люди даже ездят на оленях, запрягая их в нарты. А ездовых собак тогда не было, утверждала Нау, и только похожие на них волки бродили по тундре, во-

ровали мясо из земляных хранилищ и страшными голосами выли в лунные тихие ночи.

Плескалось море у берегов, загадочное, великое, называемое в песнях Китовым морем.

Там, в пучине, иная, отличная от земной жизнь, и её признаки слабо доходят до приморских жителей в виде студенистых медуз, красных морских звёзд с игольчатой кожей, раковин, мелких рачков и моллюсков.

Но и мир звёзд и неба тоже загадочен!

Пристальный взгляд на звёздное зимнее небо, когда невесть откуда появляются небесные огни – полярные сияния, – заставляет трепетать душу и вселяет в сердце благоговейный ужас. В светлом круге луны видятся то человеческое лицо, то тени умерших родичей, то живущие люди, которые охотятся, едят точно так же, как и обитатели земли. Можно ли после всего этого не задуматься о множественности миров, о том, что все эти миры пронизаны неведомыми загадочными силами, имя которым боги-кэлэт?

Да, пусть киты остаются предками, но нельзя пренебрегать и другими богами.

Не каждому дано чувствовать неведомую силу и знать многое. Судьба выбирает из множества людей особенных и отмечает их даром прозрения и проникновения не только в суть окружающих вещей, но и за грань понятного. Может быть, сам отмеченный и не может объяснить многого, но его способность предчувствия и предвидения сама по себе благая ценность, которая должна служить людям.

Но вот как быть с Нау?

Быть потомком кита почётно и благородно, и это возвышает человека и даёт ему гордость, стремление быть сильным и независимым, как сильны и независимы эти огромные морские животные. Но вера в кита должна быть благоговейной, покрытой некоей тайной. К этой тайне может иметь доступ лишь достойный и избранный судьбой. И чем больше неясного и непонятного в потёмках прошлого, тем выше тот, который может объяснить многое.

В таком случае Нау – именно тот человек, к которому должны быть обращены почести. Но личность сама должна быть достойна положения, которое уготовила ей судьба. Не только облик, но и образ жизни, поведение должны соответствовать этому.

А Нау ведёт себя так, что лишь отвращает от себя людей. Зачем посвящать каждого в такие подробности, которые только подрывают веру в китовое происхождение людей? Зачем рассказывать о том, что любил есть и как храпел по ночам Рэу? Зачем утверждать совсем неправдоподобное, будто сама Нау рожала китят и среди плавающих в море есть её прямые потомки?.. Зачем такое говорить и каждый день твердить об этом, вызывая раздражение у людей?

Да, пусть китовое родство людей – далёкая правда, но эта правда должна быть величественна, высока и доступна не каждому, без унижающих её подробностей. Она должна сиять на расстоянии, как вершины дальних гор.

А как быть с Нау?

По всему видать, осталось ей жить недолго.

Она стара, это правда. Но вот что удивляло: она никогда не жаловалась на свои недуги, не кашляла, не задыхалась, как другие старухи.

Но ведь не вечна же она!

Эну остановился, вглядываясь в море.

Он видел, как недалеко от согбенной фигурки, в которой издали можно было узнать старую Нау, за линией пенного прибора резвились два кита, высоко поднимая головы из воды и пуская шипящие, расцветенные солнечной радугой фонтаны.

2

Охотники уплывали вдаль, в море.

Упругий ветер звенел в парусе из тонких нерпичьих кож, выдубленных и выбеленных в крепкой человеческой моче.

Охотники зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лахтака или усатой головы моржа.

На носу сидели два гарпунёра, держа на коленях длинные орудия с острыми наконечниками из хорошо отполированных пластин обсидиана – вулканического стекла.

Наконечник был хитроумно устроен: впиваясь в кожу морского животного, он отскакивал от рукоятки и под натяжением ремня поворачивался в ране поперёк, накрепко застревая и давая этим возможность держать добычу как бы на привязи.

На корме сидел Эну, одетый в непромокаемый плащ из хорошо выделанных моржовых кишок. Чуть желтоватая, шуршащая поверхность плаща хорошо предохраняла от любой сырости, особенно от морской, солёной, оставляя сухой внутреннюю одежду из пушистых оленьих шкур, снятых ранней осенью. Одной рукой Эну держал рулевое весло, а другой – конец, прикреплённый к парусу. С помощью руля и паруса Эну хорошо управлял лодкой и мог держать скорость даже против ветра.

В эту пору на морском просторе оживлённо: откормившиеся на летних пастбищах птичьи стаи, выростившие новое поколение крылатых, собираются вместе, чтобы отправиться в неведомые земли.

Эну предполагал, что там, куда они улетают, не кончается лето, нет зимних холодов и, по всей видимости, там и море не замерзает.

Если проследить за направлением полёта птиц и дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает на присутствие солнца именно там... Значит, в ту сторону вслед за солнцем уходят и птицы, и киты, и другие морские звери. Немногие остаются здесь, чтобы переждать долгое холодное время...

Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? И вдруг догадка пронзила Эну: так ведь когда солнце возвращается на эту землю, оно уходит оттуда, и, значит, там приходит черед зимних холодов!

Он уже хотел было раскрыть рот, чтобы рассказать товарищам о своём открытии, но воздержался – зачем? Они всё равно не поймут всей глубины откровения. Ведь если дальше рассуждать, то, идя за солнцем и возвращаясь вместе с ним, можно жить в вечном лете, точно так же, как это делают киты... Эну от волнения вспотел. Вот оно – счастье человеческое, дорога к постоянному и тёплому времени! Ведь главная забота здешнего человека – это уберечься от губительного дыхания холода. Только наступает лето, как женщины вытаскивают зимние пологи и начинают их латать, пришивая на прохудившиеся места новые лоскутки шкур белого медведя. К осени собирают сухую траву, обкладывают ею полог, чтобы тёплый воздух дольше сохранялся в жилище. Но главное – это огонь, который нужно всё время поддерживать в жирнике. Тепло – это жизнь, и тот, кто знает дорогу к постоянному теплу, тот настоящий спаситель людей...

Занятый своими размышлениями, Эну совершенно потерял интерес к охоте.

Как удивительно устроено человеческое мышление: стоило наткнуться на одну дельную мысль, как она потянула другую, за ней – третью. Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго, в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше и зима короче!

Вот бы найти путь туда, дорогу к долгому теплу!

Вспотевшей рукой Эну сжал рулевое весло и не сразу сообразил, что кричат ему гарпунёры.

Они увидели стадо моржей и просили повернуть туда байдару.

Эну круто развернул кожаное судно, едва не зачерпнув воды накренившимся бортом.

Дорогу к долгому лету укажут киты. Если они настоящие братья, то они не откажут в помощи.

А может быть, старая Нау знает ту дорогу? Иначе откуда она пришла сюда? Не родилась же она от камней, от волков или росомахи... Может быть, она – заблудившаяся жительница тёплых

краёв? А кит пришёл ей на выручку, чтобы она не погибла здесь от холода?

Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали Эну.

Моржовое стадо уже было близко, и вода кипела, как в гигантском котле.

Спустили парус. Длинные деревянные вёсла в деревянных уключинах закрипели, и послушная им байдара устремилась к моржовой стае.

Вот они уже близко. Они поворачивают оснащённые огромными жёлтыми клыками головы и с ненавистью смотрят на приближающуюся байдару.

Вожак моржового стада – старый самец с обломанным левым клыком, покрытый бугристой, в морских паразитах и шрамах кожей, вдруг развернулся и пошёл на байдару.

Может быть, в другое время Эну успел бы отвернуть байдару, чтобы избежать удара. Но на этот раз, отвлечённый размышлениями, он какое-то мгновение промедлил.

Эну видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары, меж ног впереди стоящего гарпунёра. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать.

Ужас охватил охотников.

Никто не умел плавать, и единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые пыхпыхи, которые, к счастью, уже были приготовлены.

Разъярённый морж долбил и долбил байдару, и она только беспомощно содрогалась, погружаясь по самые борта в ледяную воду.

А родной берег был далеко.

В байдаре – пять человек. А пыхпыха – четыре. За один ухватились двое

– Эну и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делает в таких случаях старейшина байдары. Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синеватой туманной полоской на горизонте, тот, который сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а потом – себя самого... Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений.

Кляу это знал и видел перед собой лицо того, кто заколет его первым, потому что именно он оказался ближе всех. Когда бросались в воду, не было времени выбирать пыхпых, надо было спастись...

Как прекрасна жизнь! Даже жалкие мгновения, оставшиеся до вечного забвения. Казалось бы, какая разница: быть заколотым чуть раньше или позже, и всё-таки Кляу хотелось сейчас быть возле другого пыхпыха, подальше от Эну. Неужто не дрогнет рука у че-

ловека, которого в селении Галечной косы почитали мудрейшим, источником знаний и полузабытых обычаев? Он знал, как надо встретить новорождённого и проводить в последний путь умершего. Он знает, как избавить от лишних мучений...

Эну медлил, не решаясь приступить к печальному долгу. И всё же это необходимо сделать. Им всё равно не добраться до родного берега...

Как неожиданно и просто кончается жизнь! Кто-то другой найдёт дорогу к незамерзающим морям, к земле, где долго тянется тёплое лето и солнце высоко стоит в небе, где зимуют киты и другие теплолюбивые существа.

Товарищи Эну, зная о своей участи и стараясь отсрочить неминуемую смерть, старались отплыть от него подальше, незаметно отгребая в сторону.

Пусть первыми простятся с жизнью те, кто постарше. Вон Опэ. Он смотрит на берег. В глазах его горе и страх перед неизбежной смертью. В Галечной косе у него остаются жена и шестеро детей. Они ещё малы, и общине придется взять на себя заботу о них. Так ведётся исстари. Нет обделённых пищей и кровом, но есть те, кто потерял близких... Рэрмын... Тоже дети останутся у него да красивая жена. Однако она перейдёт под покровительство старшего брата, оставшегося в живых... Комо... Все хорошие добытчики, сильные мужчины, весёлые, искусные в громком пении и радостных танцах.

Эну крикнул:

– Эй, сближайтесь ко мне!

Хорошие люди были на байдаре. Все они откликнулись и даже те, кто старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, поплыли к старейшине байдары, который уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, хорошо заточенным лезвием.

Комо подплыл первым.

Эну не сразу стал кончать его, справедливо полагая, что вид крови может поколебать решение остальных.

Когда все сгруппировались недалеко от затопленной байдары, Кляу вдруг звонким голосом крикнул:

– К нам плывут киты! К нам плывёт целое стадо китов!

Все враз глянули туда, куда показывал рукой юноша.

Словно осевший на воду туман, пронизанный радугой, приблизился к терпящим бедствие.

Киты плыли с шумом, разрезая осеннюю студёную неподатливую воду.

– Они идут к нам на помощь! – кричал возбуждённый юноша. – К нам плывут наши братья! Значит, старая Нау права – они наши кровные братья!

Эну налёг на пыхпых, чтобы приподняться над водой, и тоже увидел китов. Они шли, как флотилия волшебных кораблей из старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин.

Страх и надежда боролись в душе Эну.

Нарушение обычая может вызвать наказание. Но кто будет наказывать? Кто истинные вершители судеб приморского народа?

Приближаясь, киты плыли тише, явно стараясь не повредить людям. Они окружили потерпевших бедствие, повели их к синему вдали берегу.

Охотники старались держаться ближе друг к другу, ибо так китам было легче вести их.

Вот уже можно различить яранги и струйки синего дыма, тянущиеся к небу.

За линией прибоя киты остановились.

На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на своих земляков, обессиленных, но счастливых своим чудесным избавлением от неминуемой гибели.

Кто-то догадался бросить ременной линь, и Эну ухватил конец.

Охотники встали в ряд перед старой Нау, и вода струилась с их мокрых одежд.

Старуха молча смотрела на них, часто переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющееся от берега.

– Брат всегда поможет брату, – тихо сказала она и пошла к ярангам.

В самой большой яранге, где обычно собирались мужчины Галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового желудка.

Обнажённый по пояс Эну в сопровождении Кляю исполнял новый танец, названный им Танец Кита.

Другие чудесно спасённые подпевали чуть охрипшими головами, вознося хвалу морским братьям, и звуки новой священной песни уходили через дымовое отверстие к небу, растекались и скапывались к берегу, к невидимому в темноте морскому горизонту, где затаив своё шумное дыхание, слушали киты.

Повинуясь ведущему Эну, люди взмахивали расписанными вёслами, и там, под потолком, где вялились прошлогодние олени окорока, пропитываясь пахучим дымом, в отблесках костра, в волнах тёплого тумана, плыло чучело кита, искусно вырезанное из тёмного плавникового дерева.

*Человек только тогда человек,
Когда брата он имеет, и душа
Его жаждет отдать добро брату.
Смерть отступила от нас,*

*Чёрным крылом задев.
Киты спасли нас.
Возносим хвалу им
И благодарность...*

В полутьме яранги песня стучала крыльями о просохшие моржовые шкуры, словно гигантский бубен, и жители Галечной косы, прислушиваясь к ней, возносились ввысь душой, преисполненной благодарности к морским братьям.

Иные с затаённым чувством стыда вспоминали, как посмеивались над словами старой Нау о братстве с китами и воспринимали её рассказы о стародавних временах как причуды угасающего от старости разума.

Священный Танец Кита возвестил о рождении нового обычая в жизни обитателей Галечной косы и укрепил веру в их необычное происхождение.

Эну пел и чувствовал, как слова новой песни сами рождаются в его душе без усилия с его стороны, и он дивился этому своему состоянию, словно кто-то иной, новый поселился в нём и пел через него...

*Брат – это не только тот,
Кто просто похож на тебя.
Брат – это тот, кто сочувствует
Твоему несчастью и приходит на помощь...*

3

Когда Айнау вносила кусок синего льда в тёплый полог, вместе с ним входило холодное облако, остро пахнущее стужей, щекочущее нос. Лёд потрескивал как живой. Ребятишки украдкой прикладывали палец, смоченный слюной, и лёд кусался, прихватывая кусочек кожи, белёсой пеленой приклеивающийся к поверхности голубого излома.

В эту пору на воле всё было тёмно-синим от сумерек и мороза, от тёмного неба, на которое робко выползали яркие зимние звёзды, дрожащие и мерцающие от всепроникающего холода.

Стылую синеву нарушали лишь пятна жёлтого света, падающие на снег у порога жилищ: в ярангах ждали возвращающихся с зимнего промысла охотников.

Они шли с торосистой стороны моря, медленно обходя высокие льдины. За ними тянулся замерзающий след с яркими вкраплениями красной крови.

Люди держали путь на жёлтые пятнышки тёплого света от горящих в жиру моховых фитилей.

Тишина висела над Галечной косой, над маленькой кучкой ползатопленных в снегу жалких в этом огромном мире яранг.

Кляу поднял глаза: на закатной стороне занималось полярное сияние – начинался весёлый праздник богов, и отблеск их гигантских разноцветных костров отражался небом. Как плотно населён мир, кажущийся отсюда таким пустынным! И просторное небо, и дальние горы, и даже мрачные нагромождения скал – всё полно жизни, неведомых существ, волшебных сил!

Кляу глубоко вздохнул и пошёл быстрее, торопясь к своему жилищу, где его ждали жена и трое детишек – два мальчика и девочка. Он мысленно воображал детские личики, их ожидающие взгляды, особенно пристальные и пытливые глаза старшего, Арманто, ласковое спокойствие жены, и всё его нутро, промёрзшее на ветровом студёном льду, наполнялось теплом, идущим от самого сердца.

Айнау взяла ковшик из тонкого гибкого дерева, зачерпнула воды, захватив льдинку, и вышла из яранги. Она встала у порога, держа в поле зрения мелькающего меж торосов охотника. Из десятков людей она узнавала его по походке на любом расстоянии, которое только может охватить взгляд.

Сердце женщины омылось нежностью и теплом от мысли о мужчине, о её Кляу, который с добычей шёл домой. Отсвет Великой Любви, которая вызвала к жизни приморский народ и сделала кита человеком, лежал на счастливом лице Айнау.

Охотник медленным, неторопливым шагом приблизился к порогу жилища, молча скинул упряжь, на которой тащил убитую нерпу.

Айнау облила морду убитой нерпы водой, давая «напиться» зверю, отдала остаток воды мужу и втащила добычу в ярангу.

Детишки с радостным гомоном окружили нерпу, положенную на кусок разостланной на полу моржовой кожи. Но нерпа ещё была мёрзлая, и должно пройти время, прежде чем она оттаёт и мать начнёт её разделывать.

Пока Кляу тщательно выбивал снег из торбасов, развешивал охотничье снаряжение, Айнау толкла в каменной ступе мёрзлое мясо, смешивала его с жиром, сдабривала квашеными зелёными листьями.

Это, конечно, ещё не настоящая еда. Большое пиршество будет, когда сварится свежее нерпичье мясо.

Когда нерпа достаточно оттаяла, Айнау разрешила тушу, отделив шкуру с жиром.

Ребятишки, глотая слюну, ожидали своего черед.

Наконец мать вырезала из усатой головы два глаза, надрезала их и подала мальчикам. Причмокивая, постанывая от восторга, мальчишки отсасывали нерпичьи глаза, время от времени давая попробовать и сестрёнке.

Кляу снял с себя всю одежду и остался совсем нагишом, лишь бросив между ног клочок шкуры прошлогоднего молодого оленёнка.

Пока Айнау разделявала нерпу, в ярангу заходили соседки, и каждая уходила с куском мяса, и это наполняло радостью обитателей яранги, потому что считалось: делиться радостью, добром и едой – первейшая и приятная обязанность потомков китов.

С вершины зимы трудно представить, что наступит лето, и на Галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые глубокими снегами, зазеленеют травой, свободная вода потечёт с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится звонким птичьим щебетанием. Море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты...

Когда сладкая боль первого насыщения прошла и лёгкая дремота мягкой пеленой накрыла тела распластанных на мягких оленьих шкурах обитателей яранги, глава семейства начал повествование...

Так водилось в каждой яранге. Дети должны знать своё прошлое, чтобы не чувствовать себя одинокими в этом огромном мире.

Голос Кляу глуховато звучал в тёплом пологе, переполненном запахом свежей крови, тёплого мяса, горящей в каменном жирнике нерпичьей ворвани...

– Раньше холод и мрак покрывали пространство, в котором не различались ни земля, ни небо, ни вода... Всё было одинаково темно, как в пургу, – повествовал Кляу, а вокруг него затаив дыхание лежали его детишки, внимая рассказу о прошлом народа Галечной косы.

Луч солнца не пробивал тёмных туч, из которых вечно сочилась холодная влага... Но вот появилась женщина. Тёплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зелёная трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце, пробив чёрные, сочащиеся влагой тучи, ответило ей ослепительным светом, разогнавшим мрак и залившим всё однообразное пространство теплом. И женщина увидела – есть земля и море, небо и скалы, есть Галечная коса, которая отделяет лагуну от моря. В норах живут евражки, песцы бродят меж зелёных холмов, птицы летят над морем... А само море – само море полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, кормилась ягодами и морскими травами. И не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить.

Пока не пришла к ней Великая Любовь.

Великая Любовь сделала из кита человека, и он взял в жёны ту женщину.

И родила женщина маленьких китят. Росли они сначала в ла-

гуне, а когда возмужали, то их колыбель-лагуна стала им тесна, и через пролив Пильхын они отправились к своим родичам в открытое море.

Потом женщина родила детей уже в человеческом обличье. И эти дети – наши предки, от которых мы и ведём наше происхождение.

Кляу приумолк и потом торжественно сказал:

– А та самая первая женщина и есть Нау! Она живёт среди нас, и мы воздаём ей хвалу!

Последние слова Кляу дети слушали в полусне, и им чудилось далёкое неправдоподобное время, когда кит мог превратиться в человека, а человеку для пропитания было достаточно ягод и морской травы.

Эту легенду они уже не раз слышали, как и рассказ самого Кляу о чудесном спасении китами.

Они видели Танец Кита и с детства учились ему, чтобы в торжественные минуты, когда благодарные чувства рвались наружу, можно было исполнить его в Большой яранге, где собирались отважные ловцы морских зверей.

Каждое утро уходил Кляу на морской лёд. За спиной оставалась Галечная коса, яранги, утонувшие в снегу и напоминавшие о живой жизни лишь тоненькими струйками дыма.

Синева зимнего дня чуть розовела, и огромное зарево на южной стороне неба вот-вот готово было проклюнуться первыми лучами солнца.

Кляу обходил торосы, осторожно проходил по морскому льду на только что замёрзших разводьях и думал о вечном, о том, что всегда волновало его.

В то, что кит может превратиться в человека, всё же можно поверить... Но почему то, что произошло давно, никогда не повторяется?

Много было неясного и непонятного в старинных сказаниях. Когда-то Кляу обратил на это внимание Эну, но тот строго сказал, что так и должно быть: чем больше неясного в старинном сказании, тем оно достовернее и тем больше в него надо верить.

Но почему мир не может быть так ясен, как чист и свеж утренний воздух после душного и тёплого полога?

Звёздное небо тоже населено множеством существ, охотниками, девушками, оленями... Воображение соединяло невидимые линии созвездий и рождало картины небесной жизни. Казалось бы, это та самая жизнь, куда уходили умершие. Но нет! Умершие уходили через облака, это верно, но жили совсем в ином мире, о местоположении которого затруднялись говорить даже такие мудрые люди, как Эну. Но Кляу видел только звёзды – светящиеся точки на небе – и по-своему думал, что небо – как бы гигантский

рэтэм, натянутый поверх всего мира, в нём множество дыр, через которые изливается дождь, сыплется снег. И где-то под этим гигантским шатром живут иные народы. Дым от их костров в виде облаков поднимается в небо, затмевая свет и вызывая ненастную погоду.

Почему окружающий мир так отличен от того, о котором говорят предания? А не нарочно ли мудрецы всё затуманивают, чтобы скрыть собственное незнание?

Чем дальше в море уходил Кляу, тем шире открывался захватывающий дух вид на хаотическое нагромождение синего льда.

До самого стыка земли и неба громоздились торосы. Среди них виднелись огромные обломки ледяных гор, голубые, словно светящиеся изнутри собственным светом. В ледовых пещерах было удивительно жутко и слышалось тихое потрескивание, словно кто-то невидимый таинственно брёл по ледовой крыше в мягких, подбитых шкурой белого медведя торбасах.

Морской вид на первый взгляд однообразен, но это однообразие кажущееся. Вблизи торосистое море полно неожиданностей. А подальше от берега, где сильное морское течение постоянно ломает лёд, в чёрных, курящихся на морозном воздухе белым паром разводьях тихо плывут нерпы, глядя огромными глазами на бело-голубой мир.

С моря, даже с высокого тороса, уже не различить тёмные пятнышки яранг. Жалкие, маленькие точки, словно заяц наследил. За ними – закованная в лёд лагуна, границы которой невидимы. Но к югу, где холмы поднимаются и, как морские волны, бегут к синеющим вдали горам, простирается твёрдая земля, такая же бесконечная, как море.

За зубчатыми вершинами Дальнего хребта бродит зимнее солнце.

Что там, за этим хребтом?

У подножия гор кочуют оленные люди, дальние родичи приморского народа, отколовшиеся ещё в стародавние времена, которые хорошо помнит лишь старая Нау.

Еще недавно Кляу думал, что с возрастом все тайны откроются ему и все недомолвки взрослых людей – всего лишь попытка оградить юнца от того, что полагается знать только зрелому, настоящему охотнику.

А ведь незнание разжигает любопытство и гонит человека в неизведанное.

Как Эну.

Некоторые даже говорили, что тот сошёл с ума, ибо здравомыслящему человеку не придёт в голову говорить о далёкой земле, где солнце вчетверо дольше светит в небе и лето такое долгое, что не успевает оно кончиться, как наступает новая весна.

– Это не сказка, – говорил Эну, – я уверен, что есть такая земля, и мы с тобой её найдём... Помнишь тот страшный день, когда мы едва не погибли? Вот тогда и пришла мне в голову мысль о тёплой земле. Кто знает, может, сами киты вложили в меня это открытие...

Кляу слушал Эну, и в душе его росла решимость последовать за ним.

4

На ноздреватом льду, изъеденном весенними жаркими лучами солнца, стояла большая байдара. Она просвечивала новой, только что натянутой кожей, и, когда кто-нибудь прикасался к ней, она гудела, как огромный яран.

Вместе с Эну в удивительное, давно задуманное путешествие отправлялся Кляу.

Третьим плыл Комо, лентяй и шутник, однако искусный в том, что изображал на окрестных скалах всё, что видел глазами.

Среди провожающих была старая Нау.

От весеннего солнца её лицо ещё больше потемнело, как покрывки яранг, пережившие зимние холода, снегопады, метели и яростное весеннее солнце.

Кляу никогда не думал, что расставание с родными и близкими, с женой и детьми, с Галечной косой, с привычным видом из яранги, окрестными холмами, скалами так мучительно больно, что хочется закричать в полный голос, потому что боль такая, словно на сердце упал тяжёлый камень.

Этот камень не отпускал всё то время, пока байдара плыла вдоль ледяного берега, ещё не успевшего отойти от земли, мимо высоких скал, с которых Кляу зимой любовался широкими просторами, окружающими селение, и думал о том, что за теми дальними зубчатыми хребтами. Теперь им придётся не просто убедиться в чьих-то давних рассказах, а самим увидеть дальнюю землю, где много солнца и где живут предки приморских жителей – киты.

Трудно было расставаться с женой, но ещё больше – с детьми. В последние мгновения почему-то припомнились прекрасные дни, когда он собирался увести Айнау к себе в ярангу, бродил с ней вдаль от селения, по тундровым холмам, так как мягки и ласковы травы...

Люди смотрели вслед уходящей байдаре, которая становилась всё меньше, растворяясь в пространстве, как угасающий человек растворяется в бесконечном протяжении времени.

Многие именно так и думали, глядя вслед скрывающейся из поля зрения байдаре.

Все молчали.

Старая Нау поглядела на людей и громко сказала:

– Это зов предков. Ибо киты – вечные странники, вечно путешествующие в огромных морях. И человек не может долго жить на одном месте. Сначала он изобрёл байдару, чтобы покорить морскую стихию, вернуться к изначальному...

– А потом возьмёт да полетит в небо, – усмехнулся кто-то.

– Почему бы и нет? – задумчиво произнесла старая Нау. – Может и такое случиться... А пока пусть плывут сыновья китов по морю и ищут новое и непознанное. Только так человек почувствует себя настоящим жителем земли...

И ещё долго говорила старая Нау.

Пока свежи были воспоминания об уехавших, её внимательно слушали.

Но проходило время. Другие события затмевали троих безумцев, отправившихся тропой китов искать долгое лето, и только родные вспоминали их в ряду навсегда ушедших сквозь облака.

А речи старой Нау стали назойливыми. Слушали её только из священной обязанности быть внимательными к старухе, пережившей само время.

Выросли дети Кляу, и лишь очень редко, в ряду полузабытых сказок, кто-то вспоминал о трёх безумцах, отправившихся в далёкое путешествие.

Никто тогда не мерил время, потому что оно и так было видно, отпечатываясь на облике людей, отмеченное родившимися и выросшими детьми, состарившимися и ушедшими сквозь облака.

Однажды в ясный зимний день с низким холодным солнцем, протянувшим свои озябшие лучи далеко в торосистое море, на залагунной стороне, где вдаль уходили волнистые холмы, показались три точки. Они медленно увеличивались, приближаясь к ярангам. Ещё издали можно было догадаться, что это не кочевники, походка у них была иная. Это не были и гости с дальней стороны: те ездили на собаках и шумно приближались к селению.

А эти шагали очень медленно и даже несколько раз останавливались, как бы издали изучая берег.

Все люди Галечной косы высыпали на волю.

А незнакомцы всё приближались, рождая смутную тревогу в сердцах встречающих.

Путники выглядели причудливо, их одежда была совсем непохожа на ту, что обычно носили жители Галечной косы. И эта одежда была отмечена печатью долгого, нелёгкого путешествия. И ещё одно обстоятельство внушало тревожные мысли: эти люди были далеко не молоды, уже в том возрасте, когда без особой нужды не отваживаются пускаться в дальний путь.

А путники всё приближались, и на их измождённых, прорезанных глубокими морщинами лицах светилась радость.

Старик, одетый в белые оленьи штаны – знак готовности уйти сквозь облака, – спросил путников:

– Кто вы и куда держите путь?

Долго не отвечали пришельцы. Они жадно всматривались в лица встречающих, словно стараясь найти в них знакомых.

И вдруг старушка, которая долго всматривалась подслеповатыми глазами в одного из спутников, закричала страшно и громко:

– Кляу! Это мой муж, Кляу! Я узнала его!

И все поняли: это те, о ком рассказывали только в полузабытых преданиях, о ком вспоминали как об одержимых несбыточной мечтой познать пути китов.

– Значит, вы вернулись, – сказала старая Нау и пошла к Эну, седому тихому старичку.

Глаза его светились мудростью и теплом.

Путников повели в яранги, а они шли, жадно вбирая в себя заново облик родного селения, ибо это им грезилося в тоскливых сновидениях.

– Мы прошли по тем удивительным землям, о которых знали только по сказкам, – повествовал Эну. – Мы видели огнедышащие горы и дивились тому, что живущие у их подножий понимали нас и тоже почитали китов своими предками. Они утверждали, что именно там, под этими горами, находились жилища китов и эти горы есть их гигантские яранги, с вершин которых струится дым домашних костров. Множество рассказов о жизни китов мы слышали от дальних родичей. Будто в домашней жизни киты мало отличаются от нас и ведут такие же разговоры на своём, пока нам непонятном языке. У них даже случаются и ссоры, правда, очень редко. Тогда содрогается земля, дым из гигантских костров густеет и иной раз даже раскалённые камни взлетают над вершинами гор – жёны китов, занятые ссорой, перестают следить за очагом.

Путники рассказывали по очереди. Когда один уставал, вступал другой, потом рассказ подхватывал третий. Вместе со всеми слушала рассказы старая Нау, и каждый из вернувшихся дивился тому, что она пережила многих и оставалась такой же крепкой, какой они оставили её много лет назад.

– В тех краях мы не видели наших привычных зверей, на которых мы здесь охотимся, – вёл рассказ Кляу. – Моржей нет, и белый медведь не заходит в те льды. Да и льдов настоящих там не бывает. На зиму образуется лишь небольшой припай, а за ним всю зиму плещется тёмное море. Люди живут там оленеводством и ловлей рыбы. От такой еды они малосильны и ростом небольшие. Зато этой рыбы там несметные косяки. Вода в реках кипит от неё. Не только сами люди питаются рыбой, но и собак своих кормят ею...

– Мы шли за солнцем, – продолжал Эну. – Ибо главная наша цель

была достичь той земли, где солнце долго светит и тепло держится дольше, чем на нашей земле.

Мы видели настоящие деревья, покрытые зелёными листьями, шумящие ветвями, словно живые великаны. Они покрывают огромные пространства, и трудно представить, как человек живёт в этом зелёном сумраке, как находит дорогу к рекам и к морскому побережью. Мы остерегались углубляться в леса и старались всегда держаться моря, ибо знали, что китовые тропы – это дороги морские.

– Сначала мы подумали, что дошли до китовых пределов, когда увидели огнедышащие горы, – сказал Кома. – Однако надо было найти вход в них. Нас удивило, что поблизости мы не видели китов. И пошли мы дальше, переправляясь через водные преграды с помощью тамошних жителей, ибо наша байдара давно обветшала и стала непригодной. Потом нам встретились люди, которые уже не понимали нашего разговора. Большинство почитали нас своими братьями, не обижали...

– Но не везде было так, – вздохнул Эну. – В одной стране, где живут, собирая выросшие за лето растения, и разводят животных, чьё молоко пьют, словно это простая вода, схватили нас вооружённые люди и заперли в сумеречный дом. Там они держали нас очень долго, несколько лет. Уже стали мы понимать их речь, а они всё опасались нас и говорили, будто мы какие-то оборотни, пришедшие на их землю, чтобы причинить её жителям вред. Однако остерегались нас лишать жизни, боясь ещё большего несчастья.

Кормили нас всяческой травой, от которой мы поначалу сильно ослабели, но потом попривыкли и стали снова обретать прежнюю силу.

И вот однажды вывели нас на солнечный свет, от которого мы отвыкли так, что первое время не могли держать глаза открытыми, и повели в огромную ярангу, сложенную из больших камней. Там сидел важный человек, который хотел знать, откуда мы появились и что за намерения у нас.

И ответили мы этому любопытному человеку, что приходим мы от китов и идём по их тропам, чтобы познать земли, где много тепла и мало холода, где зимует солнце и перелётные птицы.

Внимательно выслушал нас важный человек и спросил, откуда мы знаем о своём происхождении. Тогда мы сказали, что живёт в нашем селении прародительница наша – старая Нау, которая родила наш народ...

Сильно взволновали мы этим сообщением жителей тёплой земли.

И сказал тот человек, что и они ведут своё происхождение от китов, однако предания старины они понимают как волшебные сказки, и многие уже не верят тому, что где-то существует прародительница приморских людей.

– И рассказали они нам легенду о своём происхождении, – продолжал поседевший Кляу, в котором счастливая старая жена видела молодого мужа, уходившего в дальний путь. – Слушали мы её, и словно звучал голос старой Нау и перед нами воскрешалось наше собственное детство. И сказали те люди нам, что издревле им завещано: пока брат будет чтить брата, помогать ему, беречь его жизнь, пока любовь и согласие будут царить между людьми, до тех пор где-то будет жить прародительница людей, жена Кита, человеческая женщина, мать всех приморских жителей.

– Мы шли дальше, потому что хотели познать вечное тепло, – заговорил Комо. – Мы продирались через гигантские травы и брели реками, вода в которых была горяча, как кровь только что убитого моржа. Солнце всегда стояло высоко, и снег выпадал только на одну ночь. Утром он таял. Тамошние люди всё же страдали от этого, считая это страшным холодом. Они дивились нам и толпами собирались, когда видели, как мы обливаемся потом при таком тепле, которое для них жестокий мороз...

– А дорога китов шла ещё дальше, – продолжал Эну. – Они уходили в тёплое море, блистая фонтанами. А у нас сил оставалось только на обратный путь, ибо понимали мы, что узнанное нами принадлежит не только нам, но и вам, потому что мы – часть одного целого, что называется приморским народом. Мы увидели много и достигли края земли. Мы уже знали из рассказов тамошних людей, что дальше зимы нет, одно нескончаемое лето. Но та жизнь уже была не для нас, и мы повернули обратно.

– Мы торопились, – подхватил рассказ Кляу, – ибо нам хотелось увидеть родные лица, услышать полузабытые, но дорогие нам голоса, которые мерещились нам во снах... Мы торопились на свою родину, как спешат ранней весной киты, возвращаясь в студёные воды.

Несколько долгих вечеров рассказывали путники о своих приключениях, встречах с незнакомыми народами, обычаями, странной пищей и чудными зверями. Затаив дыхание, жители Галечной косы внимали словам о том, как в иных землях люди никогда не видят белого снега и с трудом верят в то, что вода может обретать твёрдость камня, а дождевые капли падают сверху в виде мягких белых хлопьев.

Когда иссякли рассказы и утомлённые долгим повествованием путники всё чаще и чаще стали замолкать, старая Нау спросила:

– Вы увидели новые земли, незнакомые народы и странных зверей, скажите нам, какая земля показалась вам самой прекрасной?

Путники переглянулись между собой.

И ответил Кляу:

– Это верно, что мы увидели много. Но мы познали великую истину: нет ничего прекраснее своей родины, родной земли, где

ты появился на свет, где живут твои родные и близкие, где звучит родная речь и знакомые с далёкого детства старинные сказания...

Эти слова прозвучали в притихшей яранге как звук крыльев волшебной птицы, принёсшей важную весть.

И старая Нау сказала:

– Я именно об этом и думала: прекрасное – это то, что рядом с тобой. И киты всегда возвращаются с уходом льдов, потому что эти берега – их родина и родина нашего народа.

Эно был уже дряхл и немощен.

Комо мог только изображать на скалах ещё не стёршиеся из памяти картины, и лишь Кляу удалось сочинить и исполнить Танец Путешественника.

Сколько лет они провели в пути – никто не мог сосчитать. И всё же, несмотря на то, что он был сед, Кляу ещё был силён.

Он пережил своих спутников и скончался в глубокой старости, оплакиваемый родичами. Обряжала его в последний путь вечная старуха Нау. Седая, крепкая, с чёрным, словно дубленая моржовая кожа, лицом, она пришла в ярангу, где поселились горе и печаль. Готовый отправиться в последний путь, Кляу лежал в белых камусовых штанах, в белой кухлянке.

Нау молча прошла к пологу и откинула с покойника лоскут медвежьей шкуры.

У Кляу было просветлённое и спокойное лицо.

Старуха попросила принести выквэпойгын.

Принесли отполированную, чуть согнутую палку с углублением в середине, куда вставляется каменный нож для выделки шкур.

Старая Нау угнездила конец палки под голову покойного и шёпотом начала беседовать с ним.

Она задавала пространные вопросы и ждала, что ответит умерший. Ответы Кляу были односложны, но значительны. Он пожелал взять с собой крепкие торбаса и копьё, которым он добывал пропитание.

Старая Нау тихим голосом передавала пожелания покойного, и у головы покинувшего этот мир выростала кучка вещей, которые он брал с собой в последнее путешествие сквозь облака.

Мужчины понесли Кляу на Холм Усопших.

А жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море.

5

Внук Эну, Гиву, хрупкий и задумчивый юноша, пришёл к старой Нау и спросил её:

– В чём тайна твоего бессмертия?

Старуха удивлённо посмотрела на него.

Об этом не полагалось спрашивать. Это было дерзко и кощунственно.

– Нет тайны и нет бессмертия, – ответила Нау.

– Но ты живёшь всегда, – возразил юноша. – Значит, есть бессмертие и есть тайна.

– Я живу... – задумчиво ответила Нау и почувствовала, что этот ответ пришёл неведомо откуда. – Я живу, потому что существует Великая Любовь.

– Значит, если её не станет – ты умрёшь? – спросил юноша.

– Но Великая Любовь вечна, – ответила Нау.

Гиву задумался.

Нау смотрела на него. Отчего он такой? Или его мучает значение собственного имени? Быть Вездесущим по имени нелегко. Ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Сама Нау давала это имя, ибо рождался мужчина, который вёл своё происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и тёплой земли.

– Много сомнений, – вздохнул Гиву. – Они мучают меня.

На прощание старая Нау посоветовала:

– Ты меньше спрашивай, больше старайся узнать сам.

Осенью, когда моржовое стадо вылегло под скалами мыса, несколько дней Гиву наблюдал за спариванием животных и дрожал от возбуждения, сдерживая себя, чтобы не кинуться на первую попавшуюся женщину. Они как раз невдалеке собирали ягоды, ворошили кладовые в поисках сладких кореньев. Но Гиву боролся с собой. Он решил не поддаваться страсти, смутно чувствуя, что ответы на его вопросы не там.

Он ушёл в тундру.

Бродил в тишине прохладного дня и подолгу смотрел в прозрачные потоки, где плыли рыбы, медленно шевеля плавниками. Серо-голубые тела водных обитателей казались ожившими картинками, выбитыми на скалах Комо, одним из путешественников древности.

Гиву утолял жажду в речках, разглядывая своё отражение. На юношу смотрело худое удлинённое лицо с большими, широко открытыми глазами.

Кто-то говорил ему, что таким был в молодости его знаменитый дед Эну. Но Эну нашёл выход своему ненасытному любопытству и отправился в путешествие, которое заняло у него всю жизнь.

Если Гиву пойдёт по его следам, он увидит лишь то, что видели Эну, Комо и Кляу.

Куда идти?

И откуда всё это – беспредельность мира, облака над тундрой и зелёная трава, которая каждую осень желтеет?

Откуда эти цветы, словно брызги небесной голубизны, красные ягоды морошки и потоки вод, в которых плывут молчаливые, полные спокойствия рыбы? Откуда звери, птицы, морские обитатели? Неужто тайна происхождения жизни людей объясняется так просто, как говорит об этом старая Нау?

И, наконец, почему так мучительно настойчивы эти вопросы, которые будят среди ночи, лишают сна, толкают на безумные поступки, рождают мысли об убийстве старой Нау?

Упругий устойчивый ветер гладил тундру, и волны по жёлтой траве напоминали морские.

Гиву шёл по тундре, перескакивая неустойчивые моховые кочки, перепрыгивая через бочажки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и лёгкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землёй. Он ожидал появления такого ощущения, которое было у Нау, когда она была молода и ещё не знала Кита Рэу. Гиву ожидал появления чувства слитности с окружающей природой, ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упругой качающейся кочкой, облезлым линяющим песком, стройным журавлём, вышагивающим на покрытом морошкой болоте, евражкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок пэлкумрэн...

Но ничего такого у него не появлялось. Он несколько раз больно ударился о скрытый в траве камень, и боль в ноге всё время напоминала о себе, отвлекая от мыслей.

Может быть, такого не было и у старой Нау?

Может быть, всё это она выдумала?

И даже не было путешествия в тёплые дальние страны, где солнце неумоимо бродит по небу и люди выращивают на земле пищу, питаются, как иные тундровые животные, травой?

Говорят, что сомневающиеся всегда были. Тот же Эну, предок Гиву, оттого и отправился в дальнюю дорогу, что сомневался.

Гиву уселся на пригорке.

Запах осенних трав слегка дурманил голову. Потом этот запах вместе с сухой травой на всю зиму поселится в яранге и в зимние оттепели будет усиливаться, напоминая о зелёном мире, полном тепла и ласкающих глаз цветов.

Большинство людей живёт спокойно, не задумываясь об окружающем мире, стараясь не доискиваться причин удивительных природных явлений. Почему эти мысли и сомнения пришли именно к нему?

Гиву снова вспомнил о женщинах.

Странные существа. Почему природа создала их отличными от мужчин? Только ли для продолжения рода и для наслаждений, которые они сулят мужчинам? Почему самая высшая радость, которую когда-либо испытывает человек, связана с будущей жизнью?

Тогда что же... Тогда – если убить другого человека? Что тогда испытывает тот, кто совершает это? Нечто противоположное радости? Но ведь жизнь светлее и радостнее смерти.

Гиву огляделся просветлёнными глазами. Одно открытие уже есть. Оно лежало совсем рядом, стоило только протянуть руку чуть дальше.

Обрадованный, Гиву прыжком поднялся и побежал в селение, черневшее приземистыми ярангами на другом берегу лагуны, с её морской стороны.

Гиву не терпелось проверить открытие.

Он увидел женщину у ручья. Она сидела на корточках и набивала листьями кукунэт кожаный мешочек. Отчего это зелёные листья называются точно так же, как и сокровенное женское? Гиву остановился чуть поодаль. Он следил загоревшимися глазами за каждым движением женщины и мысленно приближался к ней, дотрагивался до неё горячими руками, срывал с неё меховой кэркэр...

А потом, не в силах удержать рвущееся наружу желание, он большими прыжками, словно тундровый бурый медведь, подбежал к женщине, заставив выронить кожаный мешочек, который скатился вниз по откосу.

– Ты меня испугал, – сказала женщина, когда Гиву отпустил её со стоном разочарования, чувствуя, что он не ощутил той великой радости, которая бы свидетельствовала о том, что он зачал новую жизнь.

– Ты мне скажи, что ты почувствовала, когда я тебя взял? – спросил Гиву.

– Я же тебе сказала – испуг, – повторила женщина. – Ты мне не дал ничего почувствовать, кроме испуга.

– Значит, я виноват, – разочарованно протянул Гиву, поднимаясь с холодной, жёсткой земли.

Отчего это так? Желал женщину сильно, словно горел внутренним огнём. Казалось, готов был ради неё пройти через вершины гор, а насытил огненное желание, и такое разочарование, будто пытался утолить жажду только что выпавшим снегом.

Он зашагал прочь от женщины, а та, отряхнувшись, медленно пошла вниз по откосу и принялась собирать рассыпанные, прямятые кукунэт.

6

После того как забили моржей на лежбище, наготовили копальхена и наполнили мясные ямы, снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долин, выменяли у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к Китовому празднику.

На деревянные обручи, сомкнутые над паром, натягивали хорошо выделанные моржовые желудки, приторачивали рукоятки, выточенные из моржовых клыков. Расписывали ритуальные вёсла, изображая старинную легенду о том, как киты спасли терпящих бедствие охотников.

Сочиняли новые песни и танцы, шили нарядную одежду и красили оленью мездру кровавой охрой, добытой у подножия Дальнего хребта.

В тот день жители Галечной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от медленно надвигающейся на берег кромки льда до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода.

На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, раскрошенные лучи морских звёзд, обломки ракушек, клешней, сушёные моллюски, обрывки морской травы. Всё было сдобрено жиром нерпы.

Седовласые старики хриплыми голосами пели старинные песни, ведущие своё начало ещё от легендарного Рэу. Им подпевали женщины и молодые люди.

От множества китовых фонтанов вода кипела, и в воздухе висела мельчайшая, похожая на пар, водяная пыль.

По знаку старейшего люди разбросали дары в волны, и киты, словно по единому приказу, возблагодарили высокими фонтанами земных братьев и медленно удалились привычной тропой к берегам, где в долгую зимнюю пору не замерзает вода.

Гиву вместе со всеми бросал в волны крошево священной пищи, которую сам бы ни за что не взял в рот, пел песни, но думал о своём, о том, откуда у человека такая крепкая вера в эти бессмысленные действия...

После захода солнца в большой яранге загремели бубны, и каждый исполнил Танец Кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств и настроения.

Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки: на чёрной нерпичьей коже силуэтами были нашиты маленькие китята. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение и казалось, что они плывут по тёмной морской воде.

Каждый раз, танцуя в такт ударам бубна, Гиву дивился про себя неожиданному ощущению. Он словно бы начинал заново расти, увеличивался в собственных размерах, заполняя просторную ярангу, вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей Галечной косе, к проливу, за лагуну, в скалистые гроты, забитые прошлогодним снегом, превратившимся в тёмный лёд.

Вместе с ним росло его сердце, лёгкие, которым уже мало было воздуха здесь, в яранге.

Когда он танцевал, занятый собственными ощущениями, он никого не видел, и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри него самого.

На этот раз Гиву вдруг увидел глаза женщины, которую он взял на берегу ручья и с которой жаждал зачать новую жизнь. Да, он тогда почти и не помнил, как это случилось, желание всё затмило – небо, землю и даже жёсткую, покрытую мелкими камнями землю...

Тепло росло изнутри, незнакомое, новое, будто кто-то забрался в грудь и разжигал огонь терпеливо, слегка дуя в маленький костерок.

Руки Гиву трепетали на уровне лица, он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нарисованных китят, плывущих по тёмному морю, глаза той женщины. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было того яростного огня желания, а тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле.

С первым снегом Гиву поставил отдельную от родителей ярангу и привёл в неё ту женщину, которая отныне считалась его женой.

Жаркими ночами Гиву ждал прихода наивысшего счастья, которое ознаменовало бы зарождение, зачатие новой жизни, но как ни старался он, этого не случилось.

Разочарованный, он уходил в тундру и бродил по пологим холмам, забираясь иной раз так далеко, что домой приходил только к утру.

Он долго размышлял наедине. Мысли роились в голове, как летние комары, появляясь и исчезая помимо его воли. Они были странные и назойливые, и от них уже нельзя было просто отмахнуться. Они требовали ответа.

Старая Нау пришла поздним вечером и устроилась в углу яранги. Она так и продолжала жить, переходя из одной яранги в другую.

Она разговаривала с женой Гиву о выделке шкур, о шитье одежды, о том, из каких жил выходят наилучшие нитки, как вялить нерпичьи лапы так, чтобы кожа снималась легко, как перчатка с руки...

Гиву слушал старуху, и единственная мысль билась, как пойманная в сеть птица: действительно ли она бессмертна?

Среди ночи Гиву проснулся в холодном поту. Он нащупал остро заточенный нож и представил, как лезвие входит в жилистую, со множеством каких-то движущихся частей старческую шею Нау и тёмная кровь окрашивает белую шерсть оленьей постели.

Он даже слышал, как хрипит старуха, испуская последний дух, и вечная жизнь уносится вдаль, в синее небо, сквозь зимние облака, просвечивающие луной и полярным сиянием.

Гиву не знал, как отвлечь себя, чем отогнать эти страшные мысли. Он прижался к жене, ощутив всем телом мягкую, излучающую тепло кожу. Жена покорно придвинулась к нему, раскрываясь навстречу, как весенний тундровый цветок.

Гиву вдруг почувствовал то долгожданное, сокровенное... Огромную, медленно слабеющую нежность, которая, словно сладкая боль где-то в глубине тела, долго не отпускала... А по мере того как она уходила, странное блаженство охватывало тело, возносило на волшебную вершину, откуда оно стремглав несло вниз, и ветер так же свистел в ушах, как в те мгновения, когда мальчишкой Гиву на санках из моржовых бивней катился по склону горы, от вершины до заснеженной лагуны.

На этот раз он был уверен в том, что зачал новую жизнь. Мысль о старой Нау, о её бессмертии теперь казалась такой маленькой и незначительной, что Гиву усмехнулся про себя и вышел из яранги в ночную свежесть зимней полярной ночи.

Он шёл в тундру, окрылённый радостью и новой песней, которая рвалась из груди, из огромной нежности, облаком заполнившей грудь. А вдруг это и есть та Великая Любовь, о которой толкует старая Нау? И он приобщился к ней, и она осенила его, наградив за терпение и упорство.

Гиву видел перед собой густую синеву, которая постепенно переходила в усыпанное яркими звёздами ночное небо. На северной стороне, за спиной Гиву, полыхало полярное сияние, отблески огня пирующих в подземельях китов освещали уснувшую землю морских охотников.

Гиву пересёк лагуну и, пройдя через пологие холмы к восходу недолгого солнца, оказался у подножия Дальнего хребта.

Далеко он зашёл. Он бы прошёл и дальше, но тут вдруг его остановил голос:

– Стой и оглянись!

Гиву покорно остановился.

Всё было по-прежнему, и ничего нового и особенного он не увидел. Так же светили в вышине звёзды, только чуть поблекли перед восходом солнца, да полярное сияние погасло...

– Как ты теперь видишь?

Голос был странный, словно им было всё наполнено вокруг. Он исходил отовсюду – сверху, снизу, куда бы ни поворачивался Гиву. Он не удивился появлению этого голоса, словно так и должно было случиться.

Гиву ещё раз, повинувшись невидимому голосу, огляделся и вдруг стал замечать, что видит он и впрямь как-то иначе, словно его глаза промылись, очистились от пелены некоего тумана. Всё было удивительно отчётливо: каждая складка отполированного ветром снега, каждый оттенок цвета его, меняющегося вместе с освеще-

нием неба, камешек или сухая травинка, торчащая из-под снега. Ноздри чуюли дальние и ближние запахи речного льда, промёрзшей насквозь земли, изнемогающей под толстым слоем снега...

– Отныне ты будешь видеть и слышать больше и лучше, чем любой человек!

Так сказал невидимый голос, и настороженное ухо Гиву уловило, как голос стал затихать, словно горное эхо, уносящееся в пространство.

Из груди рвался вопрос: кто ты? Почему ты избрал именно меня, а не кого-то другого? Почему ты ничего не сказал о тайне старой Нау?

Гиву вернулся в селение, и жена с молчаливым удивлением взглянула на него: она никогда не видела мужа таким просветлённым, счастливым, не обременённым какими-то смутными мыслями.

С тех пор Гиву всегда возвращался с добычей, – ноги как бы сами несли его туда, где таились нерпы, вылезавшие на снежный покров морского льда.

Заметив его удачливость, жители Галечной косы стали спрашивать его о видах на охоту, и, к собственному удивлению, Гиву отвечал уверенно и давал всегда дельные советы.

И повелось в селении, что к Гиву стали приходить по всякому поводу, даже когда заболела собака или ребёнок.

И Гиву давал советы, снабжал людей лекарствами, сделанными из трав и снадобий, куда входили разные части морских животных, желчь белых медведей и загустевшая чёрная кровь лактака.

Иногда Гиву чувствовал необходимость сам вызвать Голос, и тогда он брал бубен, смачивал гудящую поверхность водой, тушил огонь в пологе и начинал петь, время от времени останавливаясь и прислушиваясь.

Слова приходили неведомо откуда, но Гиву ни разу не пришлось в голову искать источник этих голосов. Лишь глубокие бездонные глаза старой Нау вызывали беспокойство, но стоило подумать о чём-то другом, как мысли об этой старухе сами собой исчезали.

Незаметно и постепенно Гиву стал самым известным и необходимым человеком в селении, и люди, перед тем как приступить к важному делу, считали своим долгом посоветоваться с ним.

И стали называть его Энэнылын, что означало «исцеляющий».

Жена Гиву родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтёрла его синим весенним снегом, завернула в мягкий пыжик. Присыпала пупок пеплом жжёной коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место.

– Как китёнок, – приговаривала старая Нау, любясь лоснящейся кожей малыша.

Голоса предрекли мальчишке благополучие, и Гиву чувствовал, как в его груди бьётся огромное счастливое сердце, переполненное нежностью.

– Наверное, это и есть Крылья Великой Любви, – высказал предположение Гиву за вечерней трапезой.

Старуха молча покачала головой.

– Великая Любовь простирается на всех людей, – сказала она. И ещё: – Если бы в твоём сердце не было удовлетворения от того, что ты делаешь, тогда ты мог бы сказать – я познал Великую Любовь...

В селение пришла никогда не виданная болезнь.

Люди вдруг начинали плохо видеть, теряли вкус к еде, лежали целыми днями, безучастные ко всему, пока тихо не уходили сквозь облака.

Покойников торопливо свозили на Холм Усопших, но некормленные собаки приволакивали обгрызенные руки, ноги и даже головы умерших.

В ярангу Гиву пришли растерянные жители Галечной косы.

– На тебя одного надежда, – сказали люди.

Гиву молчал, ибо не знал, как ответить несчастным, испуганным людям. Он сам был в полной растерянности и каждое утро со страхом прислушивался к сонному дыханию сына, с тревогой ожидая признаков надвигающейся болезни. Он словно носил в себе хрупкий сосуд, наполненный драгоценной жидкостью, в котором сосредоточилась его любовь к новой жизни, к мальчику.

– Мы знаем, что ты видишь и слышишь лучше, нежели мы, – говорили опечаленные люди, – и вся наша надежда только на тебя.

Гиву тщательно оделся, натянув поверх меховой кухлянки длинный замшевый балахон, украшенный полосками разноцветной шерсти оленя, кусочками замши и меха. На ногах у него были низкие торбаса с тщательно вышитым орнаментом, повторяющим рисунок на ритуальных вёслах. На руки он медленно надел тёплые рукавицы и взял священный посох из лёгкого суставчатого дерева с кружком на конце, чтобы не проваливаться в снег.

Стояла удивительно тихая погода. Солнце светило с вершины небосвода, и лучи его, отражаясь от снега, от полированных склонов сугробов, больно били по глазам. Гиву вытащил из-за пазухи кожаную накладку на глаза с узкой прорезью и повязал на лицо. Повязка хорошо защищала зрение и оберегала глаза от мучительной болезни.

Несмотря на хорошую, ясную погоду, Галечная коса поражала пустынностью и безлюдьем. Даже собаки лежали неподвижно, свернувшись у яранг, и равнодушно смотрели на единственного

человека, который шёл мимо них, широко размахивая посохом из священного суставчатого дерева.

Синяя тень прыгала с сугроба на сугроб, словно стараясь обогнать человека, и тень от священной палки то изламывалась, то укорачивалась.

Гиву прошёл последнюю ярангу, прошагал по снежному полю и подошёл к подножию скал.

Отсюда, повинувшись какому-то наитию, Гиву повернул в сторону моря, и на возвышении, намытом волнами, но нынче покрытом снегом, остановился и огляделся.

Под скалами темнела синяя тень, торосы уходили вдаль, и повсюду кругом царила ослепительная солнечная тишина, от которой в груди росла тревога и сохло в горле.

Здесь пролегалa дорога, по которой жители Галечной косы уезжали на собачьих упряжках в море, в гости в соседние селения. В другое время снег в этих местах был бы испещрён следами полозьев нарт, но сейчас это была девственная белая поверхность.

Что это?

Какие-то мухи, комары...

Но разве они могут существовать на снегу? Днём ещё можно ощутить солнечное тепло, да и то если долго и неподвижно стоять, повернувшись лицом к свету, а ночью бывает такой мороз, что даже покрытые густой шерстью собаки просят в ярангу. А тут какие-то насекомые...

Гиву поспешил к мелькающим на снегу тёмным пятнышкам и вдруг остановился в изумлении. Сердце забилось от ужаса: перед ним стоял человек. В кухлянке, в торбасах, на голове его красовался малахай. Самый что ни на есть взаврадашний человек, с отчётливыми чертами лица, улыбающийся с виноватым видом, но... величиной с сустав мизинца, а может быть, даже меньше. Гиву уставился на него и похолодел – ещё шаг, и он бы наступил на этого человека и раздавил его своими лахтачьими подошвами.

– Ты кто такой? – спросил Гиву, опустившись на колени.

– Мы – рэккэны, – ответил человек.

И тут Гиву заметил, как отовсюду к нему торопят, переваливая через снежные ямки, казавшиеся им глубокими рытвинами, такие же человечки. Они широко размахивали руками, и поэтому только вблизи их можно было как следует рассмотреть. Но ещё более Гиву удивился, когда увидел мчащуюся к нему собачью упряжку и запряжённых в неё собачек размером чуть больше мухи.

– Что же вы тут делаете? – спросил Гиву.

– Болезнь везём, – ответил человек. – Знаем, какую беду мы причинили вашему селению. Но такова наша горькая доля. Мы стараемся всегда проезжать вдали от людских селений, но на этот раз пурга запутала нам следы, сбила нас с дороги, и мы оказались

здесь. Теперь ваши люди будут болеть до тех пор, пока мы не проедем. А для нас, которые намного меньше вас, для наших собачек расстояние от первой яранги Галечной косы до последней – велико. Нам требуется несколько дней, чтобы одолеть его. На ночь мы останавливаемся, отдыхаем, а утром – дальше в путь.

– Так что же нам делать? – с беспокойством спросил Гиву.

– Уж и не знаем, как быть, – вздохнул человек, и Гиву увидел, как из его крошечного ротика вырвался еле видимый парок.

Голоса у рэккэнов были тонюсенькими, чем-то походили на птичье щебетание, но слова они произносили отчётливо, ясно.

– А много вас тут? – спросил Гиву.

– Десяток нарт, – последовал ответ.

Остальные рэккэны внимательно слушали разговор, а некоторые даже присели на торбаса Гиву и удивлённо разглядывали швы, видимо казавшиеся им гигантскими.

– Давайте я вас провожу через селение на своей нарте! – предложил Гиву.

– Это было бы хорошо! – обрадовался человек. – Только будь с нами поосторожнее – ты же великан!

– Я постараюсь, – пообещал Гиву.

– И ещё одно: наше существование – для людей тайна, – многозначительно произнес рэккэн.

– Я понимаю, – ответил Гиву.

Он бегом вернулся к своей яранге, снял с крыши лёгкую нарту, перевернул её полозьями вверх и нанёс на них тонкий слой льда, чтобы они хорошо скользили по снегу.

Хотел было запрячь собак, но, подумав, решил от них отказаться: кто знает, не поедят ли голодные псы этих маленьких рэккэнов вместе с их упряжками.

Гиву спешил, почему-то боясь, что вот придёт он на место, а там ничего такого не окажется: уж очень неправдоподобными показались ему человечки. Эта неправдоподобность, как ни странно, усиливалась ещё и тем, что они были такие же точно, как настоящие люди. Гиву вспоминал маленький клочок пара, вырвавшийся изо рта рэккэна, и его охватывало какое-то удивительное волнение.

Рэккэны ждали Гиву.

Они подогнали крохотные нарты с каким-то непонятным грузом, крепко увязанным на них, а мухоподобные собачки еле слышно тьякали, и Гиву сдерживал себя, чтобы не улыбнуться, глядя на них.

Сами рэккэны были очень серьёзны. Они попросили Гиву помочь им погрузиться на его нарту, потому что это для них было очень высоко. Гиву снял рукавицы и осторожно, двумя пальцами, стал поднимать рэккэнов и их собачек на нарту. Он чувствовал сквозь кожу пальцев их живые крохотные тельца, ощущал движе-

ния их ручек, ножек, одетых в рукавицы, в торбаса, всматривался в их серьёзные лица и всё ждал, что вот он проснётся – и это причудливое видение улечитя, как это всегда бывает после красочного сна. Но Гиву не пробуждался. Он осторожно грузил рэккэнов на свою нарту, пристраивая их так, чтобы они не свалились.

Наконец всё было готово, и он впрягся в упряжь.

Он шёл кромкой морского льда так, чтобы со стороны яранг его не было видно. Иногда он оглядывался и видел рэккэнов, сгрудившихся на нарте, крепко сцепившихся друг в друга. Он слышал повизгивание крохотных собачек, вскрики человечков и старался идти потише и выбирать путь поровнее, смекая, что маленький для него снежный заструг – для рэккэнов высочайшая гряда торосов и лёгкий удар полозьев о кусок льдинки может вышибить из них дух.

Гиву прошёл последнюю ярангу и взял направление на юго-запад, чтобы и соседнее селение осталось в стороне от дороги этих рэккэнов, везущих болезнь.

Ещё грузя их на свою нарту, Гиву старался рассмотреть, что же это за болезнь и как она выглядит. Но груз плотно был увязан, и ничего нельзя было увидеть.

Недалеко от пролива Пильхын Гиву остановился.

Рэккэн прошёл по доске к передку нарты и сказал:

– Отсюда мы поедем сами.

Гиву осторожно снимал нарты, собачек и самих рэккэнов.

Они хлопотали вокруг упряжек, распутывали постромки, покрикивали на своих собачек, и Гиву снова чувствовал себя странно и неловко, и ему порой приходила мысль о том, что он попросту несказанно вырос, стал великаном.

Рэккэны сели на свои нарточки. Тот, кто первым повстречался с Гиву, подошёл к его правому торбасу и сказал:

– Мы едем дальше. Благодарим тебя за то, что ты помог нам. Но ещё больше ты помог своим землякам. Мы и так стараемся идти в обход, но плохо знаем землю, и случается иной раз так, что натываемся на людское селение...

– А как выглядит сама болезнь? – решившись, спросил Гиву.

Лицо рэккэна перекошил ужас, и он таинственным шёпотом сказал:

– Этого не дано никому видеть. Болезни уложены на наши нарты, и мы не смеем распаковывать их. Но оттуда исходит дух, который поражает людей, когда мы проезжаем через поселения...

– А сами-то вы подвержены этим болезням? – спросил Гиву.

– Нас они щадят, – ответил рэккэн. – Иначе на чём бы они ездили?

Рэккэны тронули свои нарты и поехали вперёд, оставляя на снегу еле видимый след от полозьев крохотных нарт, который

можно было разглядеть лишь низко нагнувшись. Через некоторое время, когда нарты исчезли из поля зрения. Гиву сделал несколько шагов вперёд, чтобы догнать рэккэнов, но уже не мог ни увидеть их, ни даже снова найти следы на снегу – они словно растворились в голубом весеннем воздухе, пронизанном солнечным светом.

Гиву медленно возвращался в селение.

Гиву вошел в чоттагин своей яранги и громко сказал жене:

– Болезнь уехала!

Старая Нау заметила недоверие на лице женщины и укоризненно сказала:

– Он сказал правду.

А потом, к вечеру, когда солнце склонилось над розовыми снегами, старая Нау сказала людям, собравшимся в яранге Гиву:

– Правда всегда удивительнее выдумки, и в неё иной раз трудно верить. Бывает, что человек собственным глазам не верит. Но сегодня вы стали свидетелями великой правды – Гиву спас людей. Судьба отмечает таким даром только избранных, способных верить в то, во что никогда не поверит обыкновенный смертный.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Гиву было уже много лет. У него росли внуки, а сын, которого он уберёг от болезни, увезённой рэккэнами, прославился по всему побережью силой и удачливостью.

Гиву чувствовал приближение старости, словно притаившуюся за горами зиму. По утрам ему уже не хотелось вставать, и он долго лежал в постели, высунув голову из полога, разглядывая небо в дымовое отверстие, вдыхал свежий воздух и думал о тайне бессмертия. Да, это было так – старая Нау оставалась в точности такой же, как и в годы его детства, юности, зрелости и, наконец, старости – его, самого знаменитого человека, самого уважаемого и почитаемого не только в Галечной косе, но и в далёких окрестностях. Ничто её не брало – ни голод, который не раз переживали в селении, ни холод, ни дожди, ни снежные бураны.

В Священные Китовые праздники, когда встречали первые стада или провожали их на долгую зиму, старую Нау по-прежнему сажали на почётное место, но обращали на неё столько же внимания, сколько на ритуальное весло, расписанное изображениями китов.

Зато люди не переставали славословить Гиву, большого человека, вездесущего, способного указать места, богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего.

А что старая Нау?

Кроме сказок о китовом происхождении людей да неправдоподобных рассказней о том, что она была женой Кита Рэу и даже сама рожала китят, от неё не было толку. Даже в то, что она живёт вечно, никто не верил, потому что проверить это было невозможно.

Но Гиву знал: если Нау и не бессмертна, то во всяком случае она живёт столько, сколько не живёт обыкновенный человек. В редкие месяцы, когда она переселялась в ярангу Гиву, он старался высмотреть нечто особенное, что отличало бы старуху от обыкновенного смертного жителя Галечной косы. Но старая Нау была обычна до скуки. Она ела всё, что едят в её возрасте, остерегалась жёсткой и грубой пищи, ибо зубы её были стёрты до самых корней. Она спала чутко и часто просыпалась среди ночи. Разговаривала о совершенно обычных вещах, и, если на неё не находил зуд рассказывания историй о китах, она сплетничала, судачила о чисто женских делах. Стыдно в этом признаться, но Гиву не только внимательно присматривался к привычкам и поведению старухи, но и подсматривал за тем, как она справляла свои естественные нужды. Ничего особенного, всё точно так же, как у всех людей её возраста...

Так в чём же дело?

И снова Гиву спросил её об этом.

– Не первый раз задают мне такой вопрос, – с оттенком недовольства заметила Нау.

– Людям любопытно, – настаивал Гиву.

– Я не чувствую себя долгоживущей, – уклончиво ответила Нау.

– Однако какая ты была в годы моего детства, такая осталась и по сию пору, когда я уже старик, – сказал Гиву.

– Почему ты спрашиваешь о несущественном? – раздражённо заметила старая Нау. – Разве у тебя нет других забот?

– Однако если тебя попытаться убить – интересно посмотреть, умрёшь ли ты от телесной раны? – спросил Гиву.

Старуха с удивлением поглядела на него, и две мутные слезинки выкатились из её глаз.

– Как ты мог такое сказать? – всхлипнула она. – Ты, верно, нездоров... Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если только сделает это...

Гиву понял потом, что именно этот неосторожно вырвавшийся вопрос ускорил его уход через облака в другой мир... Как же он мог такое спросить? И после этого Гиву во взгляде старой Нау улавливал глубокое сочувствие и сострадание, хотя старик на вид был крепок, ничем не болел до самой смерти. Только силы от него уходили, словно в середине лета иссякал ручей по мере того, как уменьшался питающий его снежник.

И у старого Гиву напоследок даже не осталось сил, чтобы ненавидеть старую Нау.

Он понял, что как бы ему ни было хорошо, какие бы почести ему ни воздавались, настоящее счастье у старой Нау, которая и с виду, и по жизни – обыкновенная старуха. Но старуха, которая знает тайну бессмертия и Великую Истину. Да, она говорила о Великой Любви, но все уже относились к ней, как к древней сказке.

Поворочавшись в мягкой оленьей постели до полудня, старый Гиву выходил из яранги и садился на большой камень, служивший грузилом для моржовой крыши. Он сидел, и мимо него проходили люди. Они почтительно здоровались с Гиву и по привычке просили у него совета.

После него всё останется. И это высокое небо, облака, скалы, море... Его земляки потом умрут, но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром будет существовать и эта старуха – старая Нау.

Подбежал внук – Армагиргин. Он чуть не свалил с камня деда и громко расхохотался, когда увидел, как тот зашатался и стал хвататься за воздух.

– Недобрый ты, – укоризненно сказал ему Гиву. – Разве можно смеяться над слабым и немощным?

– Но это так весело! – уверял его Армагиргин. – Как рыба канальгин, когда окажется на берегу!

Гиву смотрел на внука и точно себя видел в детстве. Правда, в отличие от него, Армагиргин был крепок телом, оживлён и общителен. Но внутренние особенности Гиву у его внука были выставлены наружу, словно нашитые на кухлянку яркие украшения. Честолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других – всё это было так знакомо... И если Гиву утолил жажду честолюбия долгим и упорным трудом и размышлениями, то Армагиргин брал всё это с ходу.

Многое объяснялось, конечно, тем, что он был внуком такого человека, как Гиву.

Но каково будет разочарование, когда он увидит, что есть человек, через которого не переступить. Даже когда делаешь вид, что Нау не существует, что её присутствие не волнует, всё равно она – как немой укор, как олицетворение совести. Эта старая Нау, вечная старуха, которая живёт как бы вне времени с одной и той же сказкой о китах.

Гиву вспомнил, что сказал Армагиргин, когда услышал о том, что в море плавают его братья-киты. «Не хочу, чтобы эти безобразные чудовища были моими братьями! – кричал мальчишка в истерике. – Они огромные, чёрные и страшные!».

Старая Нау с ужасом смотрела на мальчика и что-то шептала – наверное, свои китовые заклинания. Тогда с трудом удалось успокоить мальчика. Но с возрастом он не изменил своего отношения к сказкам старой Нау, и на его лице всегда бродила усмешка, ког-

да кто-нибудь при нём начинал рассказывать старую-престарую сказку о происхождении приморского народа.

Когда Армагиргин впервые пошёл на молодой лёд, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из легчайшего суставчатого дерева и сказал ему:

– Этот посох через многие дальние земли пронёс наш предок Эну в поисках Истины.

– И он нашёл её? – торопливо спросил Армагиргин.

– Он сказал, возвратившись из дальнего пути: истина одна – нет ничего лучше нашей земли, родины...

– И это всё, что он привёз? – усмехнулся Армагиргин.

– И ещё – он принёс эту палку, которая переходит в нашем роду к достойнейшему, – сказал Гиву.

Армагиргин взял безо всякого видимого трепета суставчатую священную палку и подивился её лёгкости.

– Пусть она принесёт тебе счастье и удачу, – сказал голосом, дрожащим от волнения и избытка любви к внуку, Гиву.

– Прежде всего я сам постараюсь добыть зверя, – сказал Армагиргин и отправился в море вместе со своими сверстниками.

Возвратились они с богатой добычей: Армагиргин тащил трёх нерп. Его спутники потом рассказывали, как он удачливо ловил тюленей. Поймав зверя, он уволокивал его подальше от воды, садился на него верхом и с громким хохотом тащился на спине бедного животного к воде. У самой воды он соскакивал снова, оттаскивал тюленя подальше от воды и опять садился на него, пока зверь в изнеможении не клал голову на снег.

Эти рассказы веселили всех, и только старая Нау укоризненно качала головой и шептала свои китовые заклинания.

Когда Гиву почувствовал, что смерть уже стоит у входа в ярангу, он повелел позвать к нему Армагиргина. Внук пришел весёлый, нетерпеливый, и, видно, ему не хотелось долго оставаться в затхлости плохо проветриваемого полога, где уже ощутимо пахло тленом.

– Внук мой, – проникновенно заговорил Гиву и крепко взял за руку Армагиргина, словно боясь, что он не даст договорить, не послушает и убежит к своим громогласным друзьям, шумевшим за стенами яранги. – Хочу тебе на прощание сказать: ты многого добьёшься в жизни, большего, чем я, – я это чувствую... Только предостережь тебя хочу: ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины...

– Какой женщины? – удивился Армагиргин.

– Старой Нау...

– Ах, этой! – махнул рукой Армагиргин. – Так она сумасшедшая. И всё, что она говорит, всем уже давным-давно надоело, потому что это неправда!

– Армагиргин, – Гиву попытался сжать сильнее руку внука, но тут последние силы покинули старика, и его оставил дух, вознёсшийся прямо через широко распахнутое дымовое отверстие и через облака...

2

Да, это был настоящий человек, которым любовались всюду, где только жили морские охотники и оленные люди.

Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого рябилась спокойная вода на лагуне, Армагиргин говорил, что всё счастье человека в его силе, в том, что человек может всё и ему всё дозволено.

Он ещё в детстве смеялся над теми женщинами, которые оставляли в мышиных норах часть корешков и ещё отдаривали мышей кусочком сушёного мяса.

– От этих маленьких ничтожеств надо брать всё! – говорил Армагиргин и костяной мотыжкой разорял мышиные норы, выгребая оттуда последние пэлкумрэт. Если он заводил невод в лагуну, то старался бросить в котёл всё до последнего малька.

И при этом говорил и хохотал громко.

Людям было хорошо с ним, потому что каждый мог говорить то, что хотел, делал то, что ему надобно, и удовлетворял свои желания так легко и просто, как спал и ел.

Понемногу люди перестали благодарить морских великанов за помощь в морской охоте. Армагиргин утверждал, что это только кажется, что киты пригоняют морских зверей к берегам. А на самом деле животные приходят сами, по своей нужде.

Осенью, когда за мысом, на Галечном пляже, омываемом пенистым студёным прибором, вылегли моржи, решено было бить их ранним утром, когда выйдет солнце.

Охотники подкрались сверху, тайком спустились и напали на мирно отдыхающих животных. Они кололи всех не разбирая, старых и молодых. Глухой стон моржей и тяжкий дух поднимался над морем, вплетаясь в резкий запах холодного приборя.

Когда последний морж был заколот, Армагиргин поднял вверх окровавленный нож и крикнул так громко и победно, что с соседних скал поднялись тысячные стада гнездящихся птиц.

А вдали плыли киты и фонтаны поднимались над водой.

– Мы! – кричал Армагиргин. – Мы настоящие хозяева земли! Всё, что нам надобно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого!

Всю зиму жители Галечной косы валялись в сытой истоме. Подземные мясные хранилища были переполнены. На охоту ходили, лишь истосковавшись по свежему нерпичьему мясу. По вечерам в

Большой яранге били в бубны и пели песни о человеческой удачливости, о том, что сильным людям всё дозволено и доблесть человека, настоящего мужчины, в том, чтобы суметь ухватить сегодняшнее счастье, словно красавицу за развевающиеся волосы.

Армагиргин взял себе ещё одну жену, ибо при таком обилии еды сил у него было столько, что ему уже мало было одной женщины, а через год, когда было разорено моржовое лежбище, взял и третью.

Певцы сочиняли о нём песни и в танцах изображали его великим человеком, подарившим людям настоящее счастье сегодняшней жизни. Это не было обещанием будущих благ, это не было призрачным утешением, когда несчастный человек кидал крошки сушёного мяса непонятым богам, – это было сытое счастье, от которого человек громко рыгал и смотрел на всё сверху, словно неожиданно воспаривший над землёй.

На следующую осень моржи не вылегли на лежбище. Они далеко обходили Галечную косу, и людям приходилось гнаться за ними далеко от берега.

Но это только раззадоривало и воспаляло охотников, которые не знали, куда девать силу, накопленную сытой зимой. Сильными руками они гребли и сообщали байдарам такую скорость, что иной раз пытались состязаться с китами, которые по-прежнему, не опасаясь людей, плавали рядом с их байдарками.

– Эй вы, предки! – кричал им Армагиргин. – А ну покажите, братья, как вы плаваете!

И киты, словно понимая вызов, мчались рядом с байдарками, обдавая сидящих в них брызгами фонтанов.

Когда охотники возвращались к берегу, ведя на буксире убитых моржей, на берегу уже ждали женщины и старики. Вместе с ними стояла старая Нау, ставшая за последние годы очень молчаливой. Она как бы ещё больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги.

Переселяясь из яранги в ярангу, она обходила жилище Армагиргина, но тот только криво усмехался и говорил, что присутствие этой старухи, рассказывающей пустые сказки, навеивает на него тоску.

– Разве человек может поверить в то, что эти толстые бессловесные твари, горы жира и мяса, наши братья? – разглагольствовал Армагиргин. – Чтобы выдумать такое, надо обладать болезненным воображением, старческим слабоумием и не верить в великое превосходство сильного человека над всеми зверями!

Люди внимали словам Армагиргина и сначала в душе, а потом и вслух стали с ним соглашаться, ибо то, что он говорил, было ясно и понятно в отличие от странных утверждений старой Нау о родстве с китами.

Они любовались своим земляком Армагиргином и всячески прославляли его, упоминая его имя при всяком случае.

А Армагиргин не знал, куда приложить свои великие силы.

Раз он вышел на охоту в одиночном каяке в Ирвытгыр – сужающийся залив, отделённый от моря длинной косой с двумя высокими горами на ней.

Он грёб маленьким двухлопастным веслом навстречу поднимающемуся солнцу и громко пел:

*Я превыше всего на свете!
Сила моя неодолима никем!
Морские пучины, небесные выси –
Всё я достану, стоит мне
Только захотеть этого!*

Каяк мчался по солнечной дорожке, словно летел поверх воды, обретая невидимые крылья. Вода журчала под кожаным днищем, подпевая охотнику, и каяк на ней подпрыгивал и звенел.

Когда берега скрылись в дымке, Армагиргин остановился и огляделся. Он любил вот так, один, выходить в море, чтобы испытать свою силу, ощутить ещё раз, как много может сильный человек, вооружённый острым копьём.

Невдалеке мелькнула голова нерпы. В одно мгновение Армагиргин вонзил в неё гарпун и привязал бездыханное тело к борту каяка. Ещё немного времени – и вторая нерпа покоилась в воде у другого борта. Хотелось совершить что-то необычное, потешить себя, поиграть своей силой.

Хоть бы налетел ветер, чтобы побороться с волнами, ощутить силу стихии и выйти победителем в борьбе с ней. После таких испытаний становишься ещё сильнее и взор твой как бы пронзает большие расстояния.

Но безоблачное небо и тишина указывали на то, что спокойствие и хорошая погода воцарились на морском просторе.

Армагиргин играл двухлопастным веслом, вертел каяк, переворачивался в нём, но не было никого на огромном пространстве, кто мог бы увидеть и оценить его силу и ловкость. Лишь, как обычно, невдалеке резвились киты, и чувствующий к ним всегдашнюю неприязнь Армагиргин выкрикивал обидные и вызывающие слова в их сторону.

Солнце начало свой путь обратно к горизонту, и Армагиргин поплыл к берегу, медленно рассекая воду веслом.

Когда в поле зрения показались яранги, охотник заметил впереди усатую голову лахтака.

Лахтак почти до ластов высунулся из воды и с любопытством смотрел на проплывающего охотника.

Армагиргин почувствовал, как в нём начинает играть кровь. Он отцепил нерп, которые тут же пошли на дно, и погнал каяк к лахтаку. Но тот нырнул, оставив на воде лишь медленно расходящиеся круги.

Армагиргин с досады плюнул на воду и медленно повёл каяк к тому месту, где, по его предположению, мог вынырнуть лахтак.

Зверь показался так близко, что от неожиданности Армагиргин вздрогнул. Лохтак как бы насмешливо посмотрел на охотника и так же издевательски медленно ушёл под воду, и Армагиргин отчётливо видел, как отлого вниз, в глубину, уходило серое тело усатого тюленя.

Это окончательно разгневало Армагиргина, и он готов был отправиться в морскую пучину вслед за насмешливым лахтаком.

Охотник подплыл к тому месту, где должен был вынырнуть лахтак, и, как только он показался, Армагиргин быстро нагнулся и двумя руками ухватил его за усатую голову, но... лахтак легко выскользнул и нырнул круто вниз.

Армагиргин крепко выругался и приготовил гарпун.

На этот раз лахтак вынырнул довольно далеко от каяка. Охотник бросил гарпун, вложив в удар всю силу злости. Остриё прошило лахтачью кожу, как бы привязав животное к лодке. Армагиргин осторожно потянул к себе ремённой линь, медленно приближая раненое животное, чтобы не причинить ему вреда.

Огромными глазами, как бы умоляя избавить его от мучений, лахтак смотрел на Армагиргина, но тот, усмехаясь, громко пел песню и грёб изо всех сил. Каяк его шёл так быстро, что следом вспенивалась вода.

На берегу, как обычно, стояли земляки и громкими криками приветствия встречали Армагиргина, славя его силу и удачливость.

Армагиргин подтащил лахтака и сказал:

– Не надо его добивать!

С этими словами он выскочил на берег и кинулся с острым ножом на лахтака. Снял с живого зверя шкуру вместе со слоем жира. Люди никогда такого не видели, и, как они ни уважали и ни боялись Армагиргина, на этот раз они примолкли, охваченные ужасом.

Тело бедного лахтака представляло собой сплошную кровотокающую рану. Со злорадным громким смехом Армагиргин высоко поднял лахтака и бросил в воду, оставив на берегу снятую вместе со слоем жира его кожу.

– Ну, теперь пльиви и расскажи своим морским богам о том, как силён и велик Армагиргин! – кричал охотник. – Расскажи им сказку, как рассказывает наша сумасшедшая старая Нау! А где она? Почему она не пришла на берег?

– Занедужила она, – сообщил кто-то.

– Как занедужила? – нахмурившись, спросил Армагиргин. – Она ведь вечная и никогда не болевшая!

И вправду, никто не мог вспомнить, чтобы старая Нау когда-нибудь болела.

Но на этот раз она действительно слегла и не выходила из яранги.

Ободранный лахтак медленно отплывал от берега, и в прозрачной, ясной воде за ним тянулся кровавый след.

Солнце быстро опускалось к воде, и вдруг невесть откуда над горизонтом появились тучи и потянуло ветром. Гладкая морская вода покрылась рябью, и, когда люди поднялись к ярангам, в берег ударила первая волна.

На побережье погода меняется быстро и неожиданно, но такого, как это случилось сегодня, никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш. Большое кожаное ведро с грохотом протащило мимо укрепленных на подставках байдар. Гирлянды сушащихся моржовых кишок посрывало и унесло за лагуну.

Словно и не было ясного летнего дня: всё почернело, потемнело, и с низкого неба хлынул проливной дождь.

Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра, гул накатывающихся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек.

В довершение всего мрак осветился вспышками молний.

– Илкэй! Илкэй! – в ужасе кричали люди.

Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия яранг освещались синим зловещим светом.

Армагиргин сидел в своей яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным Гиву. Он пытался вспомнить слова песнопений, но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным и даже к своим землякам.

Как же они звучат, эти слова добра и любви?

В тщете оставив бубен, Армагиргин выполз из своей яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности почвы, пробрался в ярангу, где лежала больная старая Нау.

– А, это ты пришёл, – слабым голосом сказала старуха.

– Что это? – в испуге спросил Армагиргин. – Неужто в отместку за то, что я сделал с лахтаком?

– Это только предостережение, – слабо произнесла Нау. – Буря пройдёт, она вечно продолжаться не может, однако ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами.

– Какими же? – спросил Армагиргин.

– Глазами Великой Любви.

Армагиргин промолчал: он с детства слышал эту сказку, но

даже сейчас, при свете молний и в грохоте бури, он продолжал сомневаться...

- А что делать? – спросил Армагиргин.
- Жить согласно совести, – сказала старая Нау.
- А как это? – не понял Армагиргин.

Старая Нау приподнялась на локте и с удивлением взглянула на Армагиргина.

Армагиргин ушёл от старой Нау в непонятном для себя состоянии. Да, он понимал, что своими поступками он вызвал возмущение природных сил. Но, с другой стороны, и раньше бывали сильные бури...

Огромные волны перекатывались через низкие места Галечной косы. Жители яранг, расположенных на морской стороне, покинули свои жилища и, сгибаясь под тяжестью своего домашнего скарба, бежали на другой берег лагуны, куда не могли достать волны.

Армагиргин с трудом добрался до своей яранги.

Волны уже разрушили одну стенку, обращённую к морю, и пеннистая вода заполняла чоттагин. Очаг затопило, и вперемешку с пеплом плавали морские звёзды и обрывки водорослей. Ещё одна волна ударила, и выплыл маленький морженок с только что пробивающимися клыками. Он смешно бил лапами, пытаясь уцепиться за землю, и жалобно моргал маленькими, спрятанными за толстыми кожаными складками глазами. Ничего особенного в этом моржонке не было бы, если бы не его ярко-красная кожа, которая словно сама горела.

Следующей волной моржонка смыло обратно в море.

К утру ветер стал немного утихать.

Армагиргин выбрался наружу.

Ветер ещё был так силён, что море казалось кипящим. Огромные волны светились вершинами, вспененные верхушки отсвечивали, и отблеск их простирался далеко, до самого горизонта.

Молчаливый и подавленный вернулся Армагиргин в свою ярангу.

3

Люди заметили, как сильно переменилась старая Нау после памятной бури, когда едва не снесло яранги Галечной косы. Раньше она хоть и была старой женщиной, но крепкой ещё, а теперь она выглядела просто дряхлой, и, наверное, стала видеть хуже, потому что путала людей, и часто отвечала невпопад. Единственно, что она хорошо помнила и всегда рассказывала, – это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа.

Люди прятали усмешку, если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда, бо-

сая и счастливая, она бродила по мягкой траве в ожидании Великой Любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали.

Когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их: было не до неё.

Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов лишь наполовину были наполнены мясные хранилища, и звонкой студёной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей.

Холодными вечерами, когда скудный огонь освещал внутренность полога, кто-нибудь вспоминал, что было время, когда берега Галечной косы кишели зверьём и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом.

Несколько раз в Галечную косу приезжали рэккэны и привозили болезни. Но уже не было такого человека, который бы нашёл их и помог им быстрее проехать селение. Поэтому люди умирали, и дорога на Холм Усопших не заносилась снегом.

Армагиргин не щадил себя. С первыми проблесками зари он уходил на лёд и возвращался лишь глубокой ночью. И чаще всего с пустыми руками – морозы сковали всю открытую воду, ветра не было и повсюду в море был лёд.

Чаще всего встречались следы белых медведей. Армагиргин смекнул, что если идти по следу хозяина льдов, то иногда можно набрести на полуобглоданную тушу нерпы. В другое время принести такую добычу домой считалось не только кошунственным, но и в высшей степени позорным. Но, когда дома ждали голодные ребятишки, да и самому так хотелось есть, что судороги пустого желудка причиняли боль, выбирать не приходилось.

Вот и теперь охотник шёл, стараясь не потерять следов белого медведя. Они часто виднелись на снегу, словно в них была налита синева тёмного зимнего неба вместе с блёстками звёзд и радужными осколками полярного сияния.

Острый зимний воздух резал лёгкие, выстуживал последние остатки тепла. Армагиргин старался дышать медленно, берёт каждый выдох и шёл размеренным, но широким шагом. Медведь выбирал ровную дорогу, обходил высокие торосы и ропаки.

След его был чист, и это настораживало охотника: значит, медведь был без добычи и поделиться с человеком ему нечем.

Когда Армагиргин уже подумывал прекратить преследование, он увидел медведя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на человека. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе. В его чуть заострённой морде с маленьким чёрным кончиком носа таилась откровенная насмешка над слабым, голодным человеком.

Армагиргин ощутил в груди гнев.

А почему бы ему не убить белого медведя? Пусть он один, нет у него помощника, который бы отвлек внимание зверя, – так обычно охотились на умку жители Галечной косы.

Но медведю, видно, не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и так же неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой, мелкий снег.

Армагиргин с копьём наперевес кинулся на медведя. Зверь, услышав погоню, оглянулся, и на его бесстрастной морде застыло выражение удивления.

Он остановился и повернулся к охотнику.

Армагиргин подбежал и, собрав все свои силы, вонзил копьё под переднюю лапу, в область сердца.

Как-то по-человечески охнув, медведь упал и сломал древко копья. Глаза его, в которых ещё светилось выражение удивления, постепенно заволокло туманом смерти.

Армагиргин некоторое время неподвижно стоял над поверженным зверем и чувствовал, как в нем растёт огромная горячая лавина радости и гордости за себя.

Не в силах сдержать своих чувств, он закричал дико и громко, и голос его отражался от острых граней торосов, разносился по белой пустыне, загромождённой хаосом битого льда.

– Я один убил умку! Я своей рукой вонзил копьё, и вот он, владыка льдов, лежит поверженный передо мной! А ну, есть ещё кто в море? Есть кто хочет помериться со мной силой?

И, только прокричав несколько раз эти слова, Армагиргин принялся разделывать убитого зверя: надо было торопиться – мороз скоро так скуёт тушу, что никакой нож уже не возьмёт. Разделявая умку, Армагиргин то и дело кидал в рот куски ещё тёплого мяса, с удовольствием чувствуя, как сытость входит в тело, наполняет густым теплом кровь.

Он постарался взять столько, сколько мог унести на себе.

Тяжёлая ноша не тяготила его, потому что это было мясо, это была жизнь, которая обещает спокойствие, крепкий сон, уверенность в будущем и наслаждение ощущением своего могущества.

Армагиргина встретили домочадцы и многие соседи, которые ещё издали по мелькающей среди торосов тени распознали, что охотник идёт с добычей и добыл он по меньшей мере умку, потому что если бы это была нерпа, то он бы тащил её волоком по снегу.

Армагиргина радостно встретили. Он коротко и точно указал, где остатки умки, и туда бегом на своих быстрых и сильных ногах отправились юноши.

Женщины поставили большие котлы над огнём, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в ярангу созвали самых уважаемых и знатных жителей Галечной косы.

– И старую Нау позовите, – напомнил Армагиргин.

Старуха пришла. Седые космы почти скрывали её измождённое лицо. Глянув на её руки, Армагиргин подумал, что кожа на них напоминает уже старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау!

Старуха пристроилась возле ярко горящего жирника, где было тепло и сильнее пахло свежей едой.

– Удача пришла к тебе, – тихо сказала она охотнику.

Армагиргин победно усмехнулся:

– Я её взял своими руками!

– Да, – кивнула старая Нау. – Удача идёт к тому, у кого сильные руки.

– И тому, кто чувствует себя настоящим хозяином жизни, – добавил Армагиргин.

– И это верно, – согласилась старуха. – Но для полноты жизни надо любить друг друга, любить брата, а не только себя...

– Ну вот, опять ты за свои сказки! – засмеялся Армагиргин. – Давайте лучше будем есть!

Женщины поставили перед собравшимися длинное деревянное блюдо, на котором дымилось и исходило паром мясо умки. Все с нетерпением принялись за еду, и долгое молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем и глуховатыми стонами насыщающихся людей, царило в просторном пологе сильнейшего и удачливейшего человека в Галечной косе.

По мере того как желудки наполнялись мясом, развязывались языки, и люди начинали вспоминать времена удачливой охоты, вожделенно мечтали о наступлении лета, когда будет вдоволь моржового мяса и не будет долгих, тёмных, голодных ночей, как зимой.

– Лето будет трудное, – сказала Нау, кладя на очистившееся деревянное блюдо хорошо обглоданную косточку.

– Откуда ты знаешь? – с вызовом спросил Армагиргин.

– Просто знаю, – спокойно ответила Нау.

– Кто тебе об этом сказал?

– Я сама знаю, – возразила старуха, – зачем мне ещё кого-то слушать?

Армагиргин долгим взглядом смерил старую женщину.

– Тогда предскажи нам, чтобы удачи было больше...

– Об этом надо было раньше думать, – ответила старая Нау. – Любить надо не только себя, но и всех людей, но любить бескорыстно. А ведь позвал ты сегодня гостей не оттого, что хотелось тебе поделиться с ними мясом, а единственно из желания похвастаться, чтобы люди видели и знали – вот я каков, Армагиргин!

– А если даже это так, то это не твоё дело! – сердито заметил Армагиргин. – Твоё дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить.

– Тогда я тебе расскажу другую сказку, – спокойно ответила старая Нау. – Вот послушай...

– Да что нам тебя слушать! – махнул рукой Армагиргин. – Все твои сказки знают даже малые дети. Сказки прошлой жизни...

– Я тебе расскажу сказку о будущем, – возразила старая Нау.

Это насторожило Армагиргина, и он снисходительно кивнул старухе:

– Ладно. На сытый желудок можно и сказку послушать.

Старая Нау поудобнее устроилась возле жирника и начала глуховатым голосом:

– Каждая сказка начинается словами: вот было так. Начало этой звучит иначе – будет так... Будет так... Родится один человек, удачливее и сильнее, чем ты, Армагиргин, хоть у него и будет другое имя. В море он будет добывать самых сильных и жирных зверей, догонять на суше самых быстрых и своими сильными руками сможет душить волков и медведей. Люди будут его всячески славить и даже сочинять сказки и легенды о нём. Но мало ему покажется того, что люди лицезреют его живого и весёлого. Он захочет, чтобы он всегда присутствовал в каждой яранге. Искусные резчики вырежут его изображение на моржовой кости, начертают его изображение на белой коже и будут вешать его на высокие шести... Но этого ему мало будет. Мало будет, чтобы его изображение было в каждой яранге. Он захочет, чтобы и запах его незримо присутствовал в каждом жилище, и заставит всех обнюхивать его, где бы он ни появлялся, и запахом его будут наполнять яранги... И этого мало будет ему. Самые лучшие и новые одежды будут на нём, но он захочет их расцветить, и самые искусные вышивальщицы будут украшать его одежду, он будет сиять, как отражение солнца... Да, да, и с солнцем его будут сравнивать, но и этого мало ему будет. И захочет он, чтобы настоящие звёзды украшали его одежду... И будут посланные люди уходить за звёздами, которых пожелал он, и погибать в пути... И останется он одиноким, и снова будет пустынно и дико на морском побережье, как тогда, когда я пришла сюда в молодости...

Старая Нау закончила свою сказку. Молчали и все остальные, потому что много непонятого было в словах старухи.

Широко зевнул Армагиргин и сказал:

– Однако надо и поспать... Мы хорошо поели, выслушали сказку старой Нау... Что нам ещё нужно, кроме долгого и сладкого сна?

И все разошлись по своим ярангам.

К весне в Галечной косе стало совсем худо: люди выскрёбывали налипь со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лахтачьи

ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Много было умерших просто от голода, особенно малых детишек, которые тщетно пытались выжать хоть капельку молока из тощих, похожих на сушёные кожаные рукавицы материнских грудей.

Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льда, и только с прилётом первых птиц кое-где появились разводья и охотники стали возвращаться с добычей.

Но уже не было изобилия прошлых лет.

Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснения, кроме старой Нау, которая утверждала, что всё дело в человеческой жадности и неумении, в неуважении друг к другу, к природе и звериному населению земли и моря.

Эти рассуждения больной старухи вызывали только усмешку у измученных и изголодавшихся людей, знавших, что нерпа никогда сама не идёт к охотнику и птицы не ищут сетей, чтобы запутаться в них на радость ловцам.

Удача шла к тем, кто, не щадя себя, проводил дни и ночи на льду.

С уходом ледового припая стало полегче.

Люди охотились на больших байдарах, подкарауливали моржей на их привычных путях, когда они стаями шли через пролив из южного моря в северное. Охотники настигали их здесь, гарпунили и приволакивали к берегу, где уже ждали женщины с остро отточенными ножами.

Пылали костры в ярангах, и дух варёного мяса распространялся по всему селению, радуя сердца людей, рождая на досуге весёлые песни, в которых прославлялась мужская доблесть Армагиргина, человека, который бросил вызов всему существу.

Люди отъедались за зиму. Не только нерпичьим и моржовым мясом. Открыли, что и птичьи яйца необыкновенно вкусны, да и сами птицы тоже – их можно было сгребать большими сетями, сплетёнными из оленьих жил.

В тихие вечера ловили острогами сонных рыб, плывущих по мелководью, отправлялись за голубыми цветочками, смешивали их с нерпичьим жиром и лакомились этой необыкновенно вкусной едой. Старались перепробовать всё, вознаграждая себя за долгие месяцы голода. На моржовых крышах раскладывали рёбра лахтакков и нерп, и, когда мясо высыхало и чернело и на нём появлялись белые пятнышки личинок, считалось, что оно как раз поспело. В укромных тёплых местах держали нерпичьи ласты, потом снимали с них кожу, словно перчатки, и острым ножом резали на мелкие куски мякоть, которая обретала от долгого пребывания в тёплом месте необыкновенно острый вкус, будто начинялась массой невидимых жалящих иголок.

Еда стала не просто способом восстановить истраченные силы, а наслаждением, насыщением с изощрённым удовольствием.

Кто-то догадался начинить очищенные моржовые кишки кусками сердца, печени, лёгкого, утробным жиром и всё это сварить на медленном огне... Так появилось и это лакомство у жителей Галечной косы, охваченных жаждой утончённого насыщения.

Да, люди ели, и ели неплохо, может быть, даже лучше, чем в прежние, славящиеся изобилием, годы. Но за нынешним насыщением чувствовалась неуверенность, какая-то жадная поспешность и стремление набить свою утробу.

Поедали всё, что добывали. Но запаса не могли сделать. Когда наступали ненастные дни, сначала съедали немного, что оставалось, потом принимались за рыбную ловлю, а потом и вовсе подтягивали потуже пояса, терпеливо дожидаясь, пока утихнет ветер и можно будет выйти в море за проходящим моржовым стадом.

Вода у берегов Галечной косы больше не кишела зверьём, как недавно, не торчали столбиками любопытные головки нерп, лахтак, не резвились птицы и не купались в прибрежном прибое моржи. Всё это куда-то ушло, уплыло, улетело. Конечно, и раньше бывали скудные времена, но не такие, как в этот год. Словно звери каким-то образом разузнали о ненасытности приморских жителей и поспешили в другие места. А ненасытность и впрямь была такая, что, несмотря ни на что, жители Галечной косы отличались тучностью и едва умещались в кожаных байдарах. И даже говорить стали меньше, ибо рты чаще всего были заняты разжёвыванием какой-нибудь еды.

А тем временем кончалось короткое лето, и на том месте, где раньше вылегали моржи, где жители Галечной косы запасались моржовым мясом на зиму, было пусто и уныло. Прибой полировал чистую гальку, перекатывал старые, оставшиеся от прошлых забоев сломанные моржовые бивни, слизывая покалеченные раковины, и, тихо шипя, откатывался назад, в холодное пустынное море.

И только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду у селения, играя высокими фонтанами, в котрых дробилось солнце.

Возвращаясь в пустой байдаре, Армагиргин с нескрываемой ненавистью смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие, в сущности, это огромные туши, настоящие клады мяса и жира. Почему надо верить таким фантастически неправдоподобным рассказам старой Нау о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты – их предки? Не моржи и не тюлени? В конце концов, лахтак куда более смахивает на человека, особенно если он лежит на льду и смотрит на охотника. Именно это сходство и оказывается часто роковым для него. Подкрадывающийся охотник подражает движениям лахтака, и усатому тюленю кажется, что к нему приближается его

сородич... Или – почему не волк предок человека? Волк живёт на суше, ест мясное, как и человек, а эти огромные туши мяса и жира даже неизвестно чем питаются, ибо, насколько это известно людям, киты не едят ни тюленей, ни моржей...

Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком, и, правду говоря, люди-то никогда всерьёз и не верили рассказам выжившей из ума старухи...

И добыть-то не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами.

Так думал Армагиргин, и с каждым днём эта мысль укреплялась в нём.

Потом пришло время поделиться этими мыслями со своими сородичами. Удивительно, но и они признались, что давно думали так же, как и Армагиргин. А что касается сказок старой Нау, мало ли сказок о других зверях, где вороны разговаривают человеческими голосами, моржи поют песни и лисы строят настоящие яранги...

И всё же что-то ещё некоторое время удерживало Армагиргина. Может быть, то, что изредка всё же попадались моржи и тюлени, людям было что есть, а может быть, старая Нау... Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шёпотом. Но всё твердила о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям... Но никто уже всерьёз не прислушивался к словам старой женщины.

В этот раз китов у Галечной косы было необыкновенно много. Они бороздили море у самой прибойной черты, обрызгивали радужными каплями тех, кто оказывался поблизости.

Армагиргин всё ещё надеялся, что моржи придут на старое лежище и можно будет запастись мясом и жиром на зиму. Но на берегу было пусто, и моржовые стада не просто не вылегали на старое место, но остерегались и приближаться, далеко обходя его.

Каждый раз, проплывая мимо китового стада, Армагиргин мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копы и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дёрна с глиной было изготовлено чучело большого кита.

Однажды, возвращаясь из тундры, Армагиргин шёл мимо яранги, где жила старая Нау. Он услышал стоны старухи и вошёл в чоттагин.

Старая Нау узнала его.

– Болеешь? – как бы сочувствуя, спросил старуху Армагиргин.

– Худо мне, – жалобно простонала старая Нау. – Иной раз ничего, а бывает так, словно кто-то колет меня.

Армагиргин вышел из яранги растерянный... Неужто удары его копы отдаются в теле старой женщины? Но ведь это невозможно и неправдоподобно! Может быть, кто-то рассказал о тайных

упражнениях Армагиргина и товарищей, и старая Нау пытается предостеречь его от исполнения задуманного?

Китовое стадо паслось недалеко, на виду у селения. Оно было последнее, то самое, которому в предыдущие годы приносились жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море.

Но вдруг стадо, почувствовав опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега.

– Коли ближнего! – закричал Армагиргин и первым кинул копьё вперёд, пронзив кожу молодого кита. Брызнула кровь, окрасив воду, и вслед за копьём Армагиргина полетели другие копья.

Но кит всё ещё был полон сил и быстро плыл вслед за своими товарищами, которые уходили в морскую даль, спасаясь от преследовавших их людей.

Армагиргин направил байдару наперерез стаду и отрезал раненого кита от остального стада. В израненное животное летели копья, уснащённые поплавками из шкур нерпы. Эти поплавки не давали нырять раненому, и кит, обессилевший от потери крови, замедлил ход.

Из многочисленных ран широким потоком лилась кровь, вид её пьянил людей, и каждый сидящий в байдаре старался вонзить в кита ещё что-нибудь острое.

Кит делал последние отчаянные попытки догнать своё стадо, но на пути стояли байдары с кричащими, размахивающими копьями людьми, и он, как бы смирившись со своей участью, остановился.

Тут его и добились. Привязали бездыханное тело к байдарам и поплыли к берегу.

Поднявшийся ветер позволил поднять паруса, и флотилия победителей двинулась к галечному берегу.

Плыли долго. Ночь уже давно накрыла берега, и наступила такая темень, что люди едва различали друг друга. На небе не было ни одной звезды, и даже луна не появилась в эту ночь.

Гордый Армагиргин сидел на корме передней байдары и правил длинным веслом.

На берегу охотников встретили радостными криками.

Армагиргин повелел, чтобы все расходились по своим ярангам.

– Кита разделаем утром, – устало сказал он.

Армагиргин медленно поднимался к себе.

Проходя мимо яранги, где жила старая Нау, он услышал стон. Армагиргин приподнял шкуру, закрывающую вход в жилище.

Старая Нау глянула на него горящими глазами и хрипло произнесла:

– Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не был похож на тебя, то завтра...

И тут голова старой Нау упала, и не стало вечной женщины, которая, по преданиям, пережила всех, и смерть не могла справиться с ней.

...Рано утром мужчины с остро отточенными ножами спускались к берегу, чтобы приняться за разделку кита.

Впереди шёл Армагиргин. Широко открытыми глазами смотрел он вперёд.

Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса, которую они вчера приволокли?

Армагиргин сбежал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, омываемое волнами.

Кита не было.

Вместо него лежал человек. Он был мёртв, и волны перебирали его чёрные волосы.

А далеко, до стыка воды и неба, простиралось огромное, пустынное море, и не было на нём ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана.

Киты ушли.

СЛЕД РОСОМАХИ

Повесть

1

Вертолёт летел над кромкой берега, угадывающейся по гряде битого льда, наползшей на галечную косу серыми, голубыми, зелёными ледяными обломками, припорошёнными снегом. Тень неслась по торосам и ропакам, по ровной глади нетронутого снега, неправдоподобно белого и непривычного для глаз городского человека.

Пристроившись в тесной кабине между двумя пилотами, Тутриль не отрывал взгляда от этой белой до боли в глазах пустыни.

Пилот искоса поглядывал на пассажира и примечал, что этот человек, которого так уважительно и сердечно встретили в районном центре, внешне и впрямь заметно отличается от своих земляков. Одет в добротную, хорошо выделанную дублёнку, на голове из того же материала шапочка пирожком, а на лице – большие очки.

Иван Тутриль, научный сотрудник Ленинградского института языкознания, кандидат наук, летел к себе на родину, где не был уже много лет.

Смятенно было на душе у Тутриля: все эти годы родной Нутэн оставался в бесконечно далёком детстве, и вот вдруг он совсем рядом, в десяти минутах полёта.

Пилот обернулся к пассажиру и показал пальцем вниз.

Тутриль подался вперёд. Вертолёт снизился, и вдруг впереди на белом снежном поле возникла яранга. Она стояла у самого берега, и торосы подступали к ней вплотную, угрожая жалкому древнему жилищу, такому беспомощному и сиротливому на этом огромном, пронизанном светом просторе.

От яранги шла еле видимая дорога на север, казавшаяся отсюда, с высоты полёта, следом зверя.

Вертолёт промчался над ярангой, и Тутриль увидел собачью упряжку. Поначалу собаки, да и каюр не обратили внимания на вертолёт, но, когда машина снизилась над нартой и с рёвом пронеслась над ней, собаки помчались в торосы.

Нарта опрокинулась, и каюр, вцепившись в серединную дугу, потащился вслед за испуганной упряжкой.

Тутриль укоризненно посмотрел на пилота. А тот, весело подмигнув, сделал вираж и посадил машину недалеко от нартовой дороги.

Не дождавшись, пока лопасти остановятся, Тутриль выскочил

на лёд и побежал в торосы, откуда слышался собачий лай и человеческий голос.

Перевалив через высокий ропок, он увидел разъярённого каюра.

Он замахнулся остолом на Тутриля и вдруг опустил палку с железным наконечником.

Это была совсем молоденькая девушка.

– Это вы? – с изумлением выдохнула она.

– Здравствуй, – растерянно произнёс Тутриль. – Ты кто такая? Что ты тут делаешь?

– Здравствуйте, – ответила девушка. – Айнана я.

В этой взрослой девушке с каким-то пытливым, немигающим, пристальным взглядом трудно было узнать крохотную Айнана, которую он едва помнил, – внучку дяди Токо и тётушки Эйвээмнэу.

Девушка, казалось, уже оправилась от неожиданной встречи. Переложив в другую руку остол, она подала тёплую, только что выпростанную из оленьей рукавицы ладонь с налипшими белыми волосками.

– Значит, вы приехали, – медленно произнесла она. – А мы-то думали, что больше никогда не увидим вас...

– Почему же? – смущённо улыбнулся Тутриль. – Это же моя родина... Ты откуда едешь?

– Из яранги, – ответила Айнана. – Я живу там с дедом и бабушкой, вон там, – она показала назад. – Сейчас еду в Нутэн по делам.

– В яранге? Почему ты живёшь в яранге, а не в Нутэне? – Тутриль был очень удивлён.

– Это долго объяснять, – ответила Айнана. – Прилетите в Нутэн, сами обо всём узнаете.

Тутриль с детства звал Токо дядей, хотя он и не был кровным родственником семье Онно. В этом не было ничего удивительного – так водилось исстари среди близких друзей, которых трудная жизнь роднила куда теснее, чем кровное родство. Мальчишкой Тутриль часто подолгу живал в яранге Токо, и с ним нянчилась Эймина, единственная дочь четы Токо, мать Айнаны...

Дядя Токо славился как лучший сказочник не только в Нутэне, но и далеко по всему побережью полуострова. Его любили в окрестных селениях и старались зазывать в гости. Он рассказывал не просто волшебные сказки, а так называемые действительные повествования, которые, как впоследствии уяснил себе Тутриль, являлись устной историей народа, сказаниями, рисующими памятные события жизни народа с древнейших времён до современности, точнее – до того времени, которое помнил с детства дядя Токо. Но легенды дядя Токо пересказывал так, что они запоминались. В них была глубокая мысль, своеобразие, особая интонация. Вспоминая в Ленинграде его устные рассказы, Тутриль всё боль-

ше и больше убеждался в том, что дядя Токо был большим поэтом, хотя ни одна его строка не была до сих пор записана.

– Послушай, Айнана...

Тутриль хотел что-то сказать, но тут из-за тороса показался лётчик. Выражение лица Айнаны переменялось, и она укоризненно произнесла:

– Миша, тебя же снимут с полётов.

Собаки заволновались и громко залаяли.

Лётчик виновато склонил голову:

– Извините... Хотел вот с гостем познакомиться.

– Какой он гость? – хмуро заметила Айнана. – Он наш.

– Ещё раз прошу прощения, – повторил пилот. – Хороший сегодня день.

И вправду: было удивительно тихо, прозрачно, чисто и неожиданно тепло.

– Может, полетишь с нами? – предложил лётчик.

– А собаки? – ответила Айнана.

– И собак возьмём: машина всё равно пустая! – лётчик вопросительно посмотрел на Тутриля.

Он не знал, как быть, и в ответ пожал плечами.

– А почему бы нет? – весело заметил второй пилот. – Когда мы снимали со льдины охотников, так там даже три упряжки было. Давайте грузиться!

Айнана села на нарту, подвела упряжку к вертолёту и с помощью лётчиков затолкала в него собак вместе с нартой.

Подняв на земле небольшую пургу, вертолёт взял курс на Нутэн.

2

На посадочной площадке, обозначенной крашеными пустыми бочками, собрались встречающие: председатель сельского Совета Роптын, низенький мужчина неопределённого возраста; директор совхоза Гавриил Никандрович Забережный, высокий, худощавый; сельский библиотекарь Долина Андреевна, рослая и румяная женщина, а рядом с ней – Коноп, плотный, внушительного вида парень в зимнем пальто с каракулевым воротником, но в малахае. Тут же топтались школьники в белых камлейках, с пионерскими галстуками. Чуть поодаль стояли родители Тутриля – Онно и Кымынэ. На Онно была праздничная белая камлейка, из её широкого выреза торчала тёмная, загорелая шея, голова с поредевшими седыми волосами. Кымынэ нарядилась в длинный замшевый балахон, украшенный пышным мехом: такая одежда нынче большая редкость в чукотских сёлах.

Роптын нетерпеливо посматривал то на часы, то на небо.

– Ничего не понимаю! – сердито воскликнул он. – По времени

они уже должны быть здесь! Онно! – окликнул Роптын. – Почему вы там встали? Надо всем вместе, организованно встретить нашего знатного земляка.

– Нет уж, вы там встречайте организованно, – отмахнулся Онно, – а мы по-своему... Десять лет не видели сына.

– Почему он сердится? – пожал плечами Коноп. – Радоваться надо.

– Может, сердится за то, что Тутриль так долго не приезжал? – предположил Роптын.

– Летит! – закричал один из мальчишек.

Все сразу уставились в еле видимую точку над горизонтом, которая быстро росла, увеличивалась, пока не превратилась в жёлтый с красным вертолёт.

Машина прогремела над встречающими, ушла на морскую сторону, низко пронеслась над селением и только после этого стала прицеливаться к посадочной площадке.

– Лётчик показывал Тутрилю родное селение, – догадался Коноп.

– Впереди, значит, иду я, как представитель Советской власти, потом родители, а за ними – пионеры, – торопливо напомнил порядок встречи Роптын и с приветливым и радостным выражением лица медленно и торжественно двинулся к вертолёту.

Открылась дверца.

Роптын остановился, напрягшись от волнения, и мысленно повторил приготовленную приветственную фразу. Школьники с любопытством наблюдали, как председатель сельского Совета беззвучно шевелил губами, словно что-то жевал.

Но вместо Тутриля из раскрытой дверцы вывалилась собака, за ней другая, третья, четвёртая... Потом показалась нарта, а следом – смущённая Айнана.

Разинув от удивления рот, Роптын застыл на месте.

Айнана распутала собак, отъехала в сторону, и только тогда показался Тутриль.

– Какое-то, ети! – коротко произнёс Роптын, позабыв о приготовленной речи. Он крепко пожал руку Тутрилю, который глазами уже искал родных.

Он хотел было двинуться к ним, но туг звонкий голос пионера остановил его:

– Дорогой наш земляк, Иван Оннович Тутриль! Мы рады приветствовать вас на родной земле! Мы гордимся тем, что учимся в той же школе, которую окончили вы!

Долина Андреевна что-то подсказала мальчишке, и тот с новой силой прокричал:

– Мы даём торжественное обещание учиться так же хорошо и отлично, как вы учились!

Тутриль беспомощно оглядывался, не зная, как себя держать. Его растрогала, смутила эта встреча. Перед ним стояли люди, которые помнили его маленьким мальчиком. Гавриил Никандрович – русский человек, которого в Нутэне почитали за своего. Он приехал молоденьким пареньком, заведующим факторией, женился на чукчанке. Когда началась война, Гавриил Никандрович ушёл на фронт, а вернувшись, не застал в живых свою Гальгану. Двое его сыновей давно закончили институты. Тутриль хорошо помнил, как Гавриил Никандрович несколько раз собирался уезжать навсегда с Чукотки – распродал, раздаривал имущество, увязывал вещи и... в конце концов оставался. В последние годы он даже перестал ездить в отпуск на материк. Роптын, первый учитель Тутриля... Коноп – школьный приятель, товарищ по детским играм. Долина Андреевна... Бедная девочка! Сколько она перетерпела из-за своего имени: отец её, большой любитель песен, назвал её Долиной, понравившимся словом из песни: «По долинам и по взгорьям». Рассказывали, что он сначала хотел назвать дочку Дивизией, но его отговорили... Да, не ожидал Тутриль такой встречи в родном селе! Он взял большой жёлтый чемодан и поймал сочувственный взгляд Конопа. Коноп улыбнулся, подошёл и отнял чемодан:

– Давай помогу.

Тутрилю пожали руку Роптын, директор совхоза, Долина Андреевна, и только после этого он смог подойти к родителям. Тутриль остановился перед отцом и матерью, слегка наклонил голову, не зная, как поздороваться с ними: чукчи не привычны шумно и напоказ выставлять свои чувства.

Онно всмотрелся в сына и негромко произнёс:

– Етти.

– Ии, – ответил Тутриль, чувствуя, что комок застрял у него в горле.

Кымынэ с каким-то судорожным всхлипом бросилась на грудь сыну и запричитала сквозь рыдания:

– Наконец-то приехал!.. Сколько же я ждала тебя, думала, что уже никогда больше не увижу...

Онно растерянно и виновато огляделся и тронул за плечо жену:

– Ну, хватит... Люди смотрят... Пошли домой...

Кымынэ вытерла глаза концом рукава и смущённо улыбнулась.

Вся процессия по узкой тропке через снежную целину двинулась в селение.

Чуть в сторонке на нарте ехала Айнана. Роптын время от времени бросал в её сторону строгие взгляды, но девушка ехала спокойно, искоса поглядывая на идущих по тропе.

Впереди с большим жёлтым чемоданом шагал Коноп, необычно важный и торжественный от сознания, что несёт багаж своего знатного земляка и одноклассника.

Собаки медленно перебирали лапами и вместе с каюром искося поглядывали на идущих.

Нарта почти поравнялась с ними, и Тутриль услышал песню:

*Высокое небо,
Чистое небо...
Ветер, идущий с тёплой страны.
Летите, птицы, вестники счастья,
Несите на крыльях любовь и весну!*

Роптын укоризненно покачал головой.

Айнана пела тихо, почти про себя, но в огромной тишине весеннего дня её голос был слышен отчётливо и далеко.

Долина Андреевна сердито прошептала:

– Она ещё и поёт!

– Пусть поёт! – весело отозвался Коноп. – Хорошо, когда человек поёт.

Встречные почтительно здоровались с Тутрилем, поздравляли его с приездом. Старухи кидались обнять, и каждая считала своим долгом прослезиться и попричитать.

Над ухом гудел голос Роптына:

– В нашем Нутэне не осталось ни одной яранги. Построили новую косторезную мастерскую. Гляди! Это первые каменные дома в селе. Вон там котельную ставим. Вообще-то у нас уже кое-где есть центральное отопление, держали курс на то, чтобы всё село охватить единой системой, но теперь смысла нет.

Тутриль почти не слушал Роптына, охваченный странным чувством: он так стремился в родное село, видел его во сне, воображал, как он приедет сюда... А настоящей радости не было, как не было Нутэна его детства, оставшегося в памяти и зовущего его тихими ленинградскими ночами.

Дом Онно находился на том самом месте, где раньше стояла яранга.

Упряжка Айнаны остановилась у соседнего домика, и девушка принялась распрягать собак и сажать их на длинную металлическую цепь.

– Все приходите вечером, – позвал Онно встречающих. – Отметим приезд сына.

Коноп подал чемодан Тутрилю и смущённо попросил:

– Ты мне рубль дай...

Тутриль удивлённо поглядел на него, порылся в кармане, вытащил смятую бумажку и сочувственно спросил Конопа:

– Может, тебе больше надо?

– Не знаю, – нерешительно ответил Коноп. – Не знаю, сколько надо...

– А на что тебе рубль?

– Не знаю...

Тутриль пристально взгляделся в лицо Конопа.

– Я читал и слышал, что так полагается там... – Коноп как-то неопределённо махнул рукой.

– Где там? – не понял Тутриль.

– Там, откуда ты приехал...

– Не понимаю, – пожал плечами Тутриль.

Онно вышел из домика, обеспокоенный задержкой сына.

– Послушай, Онно, объясни сыну... Помнишь, Каляу нам рассказывал о поездке в санаторий? – обратился к нему Коноп.

– Ну и что?

– Так он, помнишь, рассказывал?.. Пальто снять и надеть – надо рубль дать... Помогает человек нести чемодан – тоже надо дать... Поел в ресторане – сверх платы надо положить бумажку...

– Чего ты вдруг это вспомнил? – удивился Онно.

– Да я за чемодан у него рубль попросил, а он обиделся, – с оттенком раздражения сказал Коноп. – Я, наоборот, хотел как лучше, согласно тамошнему обычаю...

Тутриль вдруг громко засмеялся:

– Выходит, ты с меня чаевые взял! Ну, Коноп! Насмешил ты меня!

Коноп хмуро посмотрел на смеющихся.

– Не собирался я вас смешить... Хотел как лучше, согласно тамошним обычаям. Как в настоящих городах. А своего чаю у меня довольно. Есть и байховый, и кирпичный... На, возьми обратно свой рубль.

Он подал Тутрилю смятую бумажку и понуро зашагал прочь.

3

В комнате домика Онно был накрыт стол.

Из большого приёмника звучала музыка.

Тутриль встречал гостей.

Вошёл Коноп в шуршащем плаще-болонье. Раздеваясь, он с оттенком хвастовства шепнул Тутрилю:

– В райцентре на меховую кухлянку выменял у одного геолога. Правда, мороза боится, но в дождь да в мокрый снег – отличная вещь.

Из кухни показалась Долина Андреевна, неся большую миску с пельменями. Она громко сказала Тутрилю:

– Я нашла старые библиотечные формуляры, Иван Оннович, и должна сказать, что ты и тогда уже читал серьёзные книги.

– А мой не видела? – спросил Коноп.

– И твой нашла, – ответила Долина Андреевна. – Надо же – почти полгода держал «Приключения Гулливера»!

– Я тогда любил читать о великанах, – как-то виновато признался Коноп. – Потом военные приключения, а теперь вот всё про любовь читаю...

Тутриль достал небольшой пакет.

– Вот тут мои книжки для библиотеки. Правда, не про великанов и не про любовь...

– «К вопросу об инкорпорации в чукотском языке», – начал вслух читать Коноп. – «Устное народное творчество азиатских эскимосов», «Общность сюжетов фольклора Древней Берингии»... Да, брат, – произнёс он с подчёркнутым уважением, – серьёзные книги... Может быть, если бы я в детстве читал такие книги...

– Может быть, из тебя тоже бы вышел учёный? – спросила Долина Андреевна, забирая у него книги.

Коноп как-то странно посмотрел на неё, втянул голову в плечи, словно стал меньше.

– Я ещё не знаю, какой учёный мой сын, – заметил Онно, – но такого водителя вездехода, как Коноп, поискать надо...

Пришёл Роптын. Под кухлянкой у него был надет синий костюм.

Гавриил Никандрович принёс большой портфель, в котором позвякивали бутылки.

Коноп весело упрекнул его:

– А сказал, что весь запас вышел.

– Да самая малость осталась, – сказал Гавриил Никандрович.

Когда все разместились за столом и разлили вино по стаканам, Онно выскочил в сени и вернулся с двумя заиндевевшими тарелками, в одной была рыбная строганина, а в другой – из моржовой печени. От белых и тёмно-коричневых стружек поднимался холодный пар.

Первый тост произнёс Гавриил Никандрович.

– Я предлагаю выпить за нашего земляка Ивана Онновича Тутриля, – торжественно начал Гавриил Никандрович. – Его жизненный путь нам хорошо известен. Много лет назад он уехал из родного Нутэна в долгий путь за знаниями. Учился в Анадырском педагогическом училище, затем успешно окончил университет и аспирантуру при Институте языкознания. Он стал одним из первых учёных-чукчей.

Когда Гавриил Никандрович сделал паузу, Коноп хотел было приложиться к стакану, но его остановила Долина Андреевна.

– Вроде бы не такая долгая жизнь прожита Тутрилем, – продолжал директор совхоза, – но в этом маленьком отрезке времени уместились тысячелетия. В его жизни вся история Чукотки: от жирника до энергии атомного ядра, от шаманства до науки!

Все выпили.

Тутриль сидел между отцом и матерью. Кымынэ, не сводя влюблённых глаз с сына, подкладывала ему лучшие куски.

– Ты такого, наверное, не ел в Ленинграде...

– Не ел, ымэм...

– Я тебе ещё наварила свежего нерпичьего мяса.

– Спасибо, ымэм...

– Жаль, что ты один приехал...

– А верно, почему ты свою жену не взял? – оставив пустой стакан, спросил Коноп. – Посмотрели бы на неё. А то только на фотографии видели.

– Занята она очень, – сдержанно ответил Тутриль. – У неё большая научная работа.

– Научная работа? – спросил Коноп.

– Она тоже кандидат наук, – с гордостью и важностью сообщил Онно.

– Сочувствую, – вздохнул Коноп.

– Это почему? – спросил Гавриил Никандрович.

– Да просто с умной женщиной и то нелегко, – ответил Коноп. – А с учёной...

– А ты-то откуда знаешь? – Долина Андреевна подозрительно посмотрела на Конопа.

– Наблюдал! – поднял палец Коноп.

– Ну, тоже скажешь! А любовь, дружба?

– Это только в книгах и у лекторов, – Коноп, несмотря на бдительность Долины Андреевны, успел без очереди приложиться к стакану.

– Счастливая любовь – это украшение жизни, нравственный идеал, – нравучительно сказала Долина Андреевна.

В сенях тявкнула собака.

Открылась дверь, и вошла Айнана.

Увидев множество людей, девушка смутилась, сделала движение уйти, но её решительно остановила Кымынэ.

– Етти, Айнана, – сказала она, – иди, садись с нами...

– Да я за спичками, – смущённо сказала Айнана. – Печка потухла...

– Садись, садись, – строго сказал Онно, – зачем нарушаешь обычай, отказываешься?

– Тем более такой интересный разговор для молодёжи, – сказал Роптын. – О любви!

Айнана нерешительно потопталась, бочком прошла в комнату.

Ей освободили место рядом с Тутрилем, поставили стакан, налили вина.

– Ты за какую любовь? – вдруг спросил Коноп у девушки.

Айнана смутилась от неожиданного вопроса, посмотрела на Долину Андреевну, на Тутриля, словно ища у них поддержки.

– Почему одни счастливы в любви, а другие – нет? Что главное в семейной жизни? – продолжал Коноп. – Вот в чём вопрос, как сказал тонконогий человек из кинофильма – Гамлет.

– По-моему, ты хватил лишку, – шёпотом заметила Долина Андреевна.

– Пусть Айнана ответит, – настаивал Коноп. – Для неё это важный вопрос, поскольку она молодая и красивая.

– По-моему, любовь не бывает счастливая и несчастливая, – тихо произнесла Айнана.

– То есть как это? – насторожилась Долина Андреевна.

– Любовь и есть любовь, – ещё тише сказала Айнана.

– Да откуда ей знать, какая любовь бывает! – снисходительно сказала Кымынэ. – И что вы пристали к девушке?

– Подождите! – Коноп вырвал свой стакан из цепких рук Долины Андреевны и торопливо выпил.

– Значит, ты утверждаешь, что любовь не бывает счастливая, несчастливая, радостная или грустная? А? – утирая губы рукавом, спросил Коноп.

Айнана беспомощно оглянулась.

– Ты, девочка, глубоко ошибаешься, – строго и наставительно произнесла Долина Андреевна. – Я вот уж скоро десять лет как работаю в библиотеке. Знаю, как читатель тянется к высоким примерам: любовь Анны Карениной, Ромео и Джульетты, Онегина и Татьяны, Григория Мелехова и Аксиньи...

– Но разве это были счастливые любви? – застенчиво возразила Айнана.

Долина Андреевна как-то осеклась, призадумалась.

– Товарищи, товарищи! – заговорил Гавриил Никандрович. – Мы здесь собрались не на лекцию о любви, дружбе и товариществе. Мы пришли сюда, чтобы отметить приезд нашего знатного земляка Ивана Онновича Тутриля... Поэтому предлагаю снова выпить за него...

– Правильно! – поддакнул Коноп и, не обращая внимания на строгие взгляды Долины Андреевны, первым опрокинул стакан.

– Вы будете только в Нутэне работать? – учтиво спросила Долина Андреевна.

– Хотелось бы, – не сразу ответил Тутриль. – Но те, с кем я бы хотел встретиться, здесь больше не живут...

Онно поднял голову и долго смотрел в глаза сыну.

– Сейчас много говорят об охране окружающей среды и загрязнении природы, – продолжал Тутриль. – Оберегают чистую воду... Однако есть ещё один источник, который для человека не менее важен, это наша древняя память. Сказки, легенды и предания. В быстром движении вперёд мы часто оставляем позади драгоцен-

ное и нужное, тот чистый источник, который питал наших предков и нас на протяжении веков...

– Не только сказки и предания, но и язык начинают забывать! – сердито произнёс Роптын.

– А время такое и вправду было, когда думали, что всё наше – это ненужное, в коммунизме негодное...

– А язык – это знак жизни народа, – продолжал Тутриль. – Он может быть и орудием, иной раз даже более грозным, чем огнестрельное, и единственным средством, которое может выразить такое чувство, как нежность...

Коноп протянул было руку за строганиной, но тут его настигла Долина Андреевна и заставила взять вилку.

– Это ты верно про язык говоришь! – заталкивая в рот стружки строганины, заметил Коноп. – Язык может быть и орудием демагогии!

Тутриль засмеялся в ответ на эти слова.

– Когда умирает язык, умирает и сам народ, – продолжал Тутриль. – Можно произнести много речей об уважении к человеку, к народу, но если сказать всего лишь несколько слов на его родном языке, можно сделать человека другом на всю жизнь...

– Во – это верно! – одобрительно сказал Коноп. – А то ведь иной человек приедет на Чукотку, до пенсии доживает и, кроме «какэ́й», другого слова сказать не может...

– Когда я впервые услышал чукотский язык, – вспомнил Гавриил Никандрович, – я подумал: никогда мне не выучиться ему.

– Зато когда мы впервые услышали твоё имя да отчество, так месяц учились выговаривать! – со смехом заметил Роптын. – У меня просто уставал язык выговаривать: Гавриил Никандрович. Как мы завидовали кэ́нискунцам, у которых заведующего факторией звали легко и просто – Иван Иванович.

Айнана встала.

– Ну, я пойду... А то у меня ещё много дел, а завтра уезжать.

Айнана ушла, и некоторое время за столом было тихо.

– Бедная девушка! – проронила Долина Андреевна. – Такая способная, талантливая и несчастная...

– Несчастливая? – с любопытством переспросил Тутриль.

– А что хорошего? – пожалла плечами Долина Андреевна. – Живёт со стариками в тундре.

– Трудно ей пришлось. – Роптын повернулся к Тутрилю: – Всю жизнь без матери: она развелась с первым мужем, когда ещё Айнана была маленькой. Вышла за другого и уехала в Петропавловск. Айнану оставила старикам.

– Девочка сама по себе росла, – заметила Кымынэ.

– Нынче многие так растут, – сказал Роптын. – Только родится ребёнок – его тут же забирают в ясли, потом в детский сад. В школу

пошёл – переселяется в интернет. В иных семьях дети только на бумаге числятся, а в домах ребячьего голоса не слышно... Вот недавно я был в тундре, в бригаде Тутая. Чую: что-то от меня скрывают. Потом увидел мальчишку. Года три ему. Оказывается, прятали его от меня, будто я враг какой-то... А в райцентре меня вот за таких ругают: нет охвата воспитанием...

Роптын тяжело вздохнул.

Коноп искоса глянул на Долину Андреевну, на стакан и вдруг сказал:

– Давайте выпьем за нашу школу! Только не за сегодняшнюю, а за ту, в которой мы учились.

Когда все выпили, Роптын сказал Тутрилю:

– Как выстроили новую школу, мы старую под клуб приспособили. Завтра мы тебе покажем наши танцы, споём песни...

– Надо Айнану попросить, чтобы не уезжала, – напомнила Кымынэ. – Никто лучше её не танцует.

Тутриль распрощался с гостями на крыльце домика.

4

На улице было тихо. Огромное, светлое от звёзд небо сняло над домиками, приютившимися на берегу скованного льдом океана. Казалось, оттуда, сверху, из космической дали на заснеженную землю неслышно изливалась тишина, затопляя всё – домики, голубые айсберги, сугробы, морское побережье, тундру, каждую ямку, звериную нору и синий след россомахи, протянувшийся от песочной приманки к низким, скрытым под снегом ивовым зарослям на берегу реки.

На стук открыла Айнана. Она была как-то странно одета – в синем фартуке, обсыпанном чем-то белым, словно припорошённом снегом.

– Это вы? – удивлённо спросила Айнана.

– Ты не ждала?

– Нет.

В комнате, возле окна, Тутриль увидел станок, куски моржового бивня, несколько готовых пиликенов, фигурок нерп, моржей...

– Это ты делаешь? – с удивлением спросил Тутриль.

Айнана молча кивнула. Она взяла со стола большой клык и подала Тутрилю.

– Узнаёте?

Перед Тутрилем был Нутэн его детства: два ряда яранг на узкой галечной косе, три деревянных круглых домика, магазин и здание старой школы, выделявшееся и величиной, и блестящей крышей из оцинкованного волнистого железа. На морском берегу разделяли моржей, вытаскивали из воды вельботы, несли на плечах

байдары. Возле школы толпились ребятишки, и среди них – учительница, высокая, худенькая, с длинными светлыми волосами. На лагунной стороне молодые парни кидали бол в пролетающие утиные стаи. Чуть дальше яранг, на пустыре, стоял ветряк – электростанция, вокруг – несколько домиков. Над домиками парил метеорологический змей с грузом приборов...

– Откуда ты всё это взяла? – с удивлением спросил Тутриль.

– У деда сохранилась старая фотография, – ответила Айнана. – И ещё – он много мне рассказывал.

Вглядевшись пристальнее в изображение старого Нутэна, Тутриль нашёл отцову ярангу. На камне у стены сидел мальчик.

– Это я? – с улыбкой спросил Тутриль.

Айнана глянула через плечо.

– Может быть... Теперь переверните клык.

На другой стороне был изображён новый, сегодняшний Нутэн. Каменные дома косторезной мастерской, двухэтажная школа, деревянные домики – многоквартирные, голубые и серенькие одноквартирные, – такие, как у Онно...

Клык был раскрашен акварелью. Неярко, словно краски уже выцвели от времени. И в этой бледности красок было что-то трогательное, щемящее, как мимолётное, смутное воспоминание.

– А ты, оказывается, настоящий художник, – тихо сказал Тутриль, искренне поражённый увиденным.

Тутриль не знал, как себя держать, снова взял в руки клык, оглядел комнату. Если не считать станка – обыкновенное убранство современного чукотского жилища: кровать, шифоньер, стулья, стол, полка с книгами...

– Расскажи-ка подробно, как вы оказались в яранге, – попросил Тутриль и уселся на стул.

Айнана смахнула костяные крошки с фартука, придвинула ближе второй стул и устроилась напротив.

– Я приехала сюда, когда дед с бабкой уже были в яранге, – начала Айнана. – После окончания Дебинского медицинского училища я работала в Анадыре, в окружной больнице. Как-то получаю письмо от матери – она сейчас с новым мужем, моряком, живёт в Петропавловске. Писала она, что с дедом что-то случилось, просила поехать в Нутэн, навестить стариков.

– А почему сама не поехала?

– У неё маленький ребёнок, моя сестричка, – смущённо, с виноватым видом произнесла Айнана. Потом подняла глаза на Тутриля, улыбнулась и продолжала: – Приезжаю в Нутэн, и вправду ни деда, ни бабки в доме нет. В дверях палочка торчит вместо замка. Стала узнавать, что случилось. И рассказали мне всё, что случилось между дедом и вашим отцом.

– Но из-за чего? – с нетерпением спросил Тутриль.

– Из-за переселения, – ответила Айнана. – Есть такой проект: Нутэн и окрестные селения перевести в районный центр и сделать один большой благоустроенный посёлок... Называется это концентрация. Много разумных доводов приводили – там и дома большие можно построить со всеми удобствами, и работа всем будет...

– А что, здесь работы нет? – перебил Тутриль.

– Многие ведь кончили семилетку, а то и десятилетку, – с улыбкой ответила Айнана, – охотиться не хотят... А там – всякие учреждения, конторы, большая звероферма. Загорелись многие. Стали мечтать: вот, говорили, и в город не надо будет ехать, свой город построим в тундре... На собрании выступали, рассказывают, все единовременно... А вот дед встал и сказал про Наукан... Вы знаете?

Тутриль хорошо помнил Наукан – знаменитое когда-то эскимосское селение. Оно располагалось прямо на берегу Берингова пролива, на крутом обрывистом берегу, рядом с географической точкой мыса Дежнёва. Тутриль хорошо помнил старый памятник русскому землепроходцу – большой деревянный крест и медную доску с выгравированным на двух языках – русском и английском – приглашением поддерживать этот памятник в знак уважения к подвигу Семёна Дежнёва. Науканские яранги стояли на такой крутизне, что в зимние дни люди едва не ползли по обледенелым тропам. С большим трудом выстроили там школу, магазин и полярную станцию... В пятидесятые годы, когда на Чукотке вместо яранг стали строить дома, было решено Наукан перевести в другое место... И тут была совершена непоправимая ошибка: науканцев в большинстве своём переселили в Нунямо, в чукотское селение, мало связанное с эскимосами. Вдруг вспомнились давно забытые распри, легенды и сказания... Науканцы стали уходить из Нунямо – селились в Лорине, в Пинакуле, уезжали в Уэлен. Разрывали давние родственные связи, распадалась веками скреплённая дружба... Во время весенней моржовой охоты старались заехать в древнее обиталище, высадиться на берег, побродить по старым, памятным тропинкам, посидеть на пороге родного покинутого жилища, глядя на широкий простор Берингова пролива... – Дед напомнил Наукан и сказал, что не хочет причинять горе своим землякам и поэтому голосует против переселения... Ну, и ваш отец накинулся на него. Стал обвинять чуть ли не в предательстве... Вы знаете, что дед и ваш отец дружили с детства. Даже, говорят, у них какое-то древнее родство.

– Ну а ты-то почему здесь осталась, не вернулась в Анадырь?

– Как же я покину их? – пожалала плечами Айнана. – Они же там совсем одни. Когда я приехала к ним, первое время никак не могла привыкнуть к яранге, к пологу: я ведь родилась в домике, а ярангу только в букваре видела... А тут – такая древность. Сначала всё не

так делала – жирник у меня коптил, костёр то совсем не горит, то дыму полно в чоттагине... А с собаками сколько мучилась! Сколько раз пешком шла с середины дороги – опрокинут собаки нарту и убегут. А когда подружилась с жожаком – всё стало хорошо. Теперь они меня больше понимают, чем некоторые люди... А вот охотиться и сейчас трудно...

– Как, ты и охотишься? – удивился Тутриль.

– А почему нет? – просто и спокойно ответила Айнана. – Деду одному трудно – охотничий участок большой. Училась ставить капканы, выслеживать зверя... Нынче у меня забота такая – появилась росомаха, повадилась таскать песцов из моих капканов. Никак не могу поймать её, иной раз целый день иду по её следу, а она всё уходит... Я и нерпу стреляю... Видела несколько раз умку, но он под охраной...

– А не скучно в яранге?

– Некогда скучать, – ответила Айнана. – Когда непогода – из кости вырезаю пиликенов или вот разрисовываю клыки... Знаете, я зарабатываю здесь в несколько раз больше, чем в Анадыре, в больнице. Хватает на всё.

Тутриль смотрел на Айнану и ощущал себя как-то странно, непонятно. Он и впрямь пришёл, чтобы разузнать поподробнее о дяде Токо, об Эйвээнэу, но его всё больше привлекала девушка, такая непохожая на других.

– Ну а теперь тебе нравится жить в яранге? – спросил Тутриль.

– Коо (не знаю), – пожалала плечами Айнана. – Дело нравится, а сама яранга я не сказала бы, что нравится, хотя, наверное, у неё есть свои преимущества перед деревянным домиком. В пургу тепло, уютно, но помыться негде, стол поставить некуда, да и много других неудобств. Дед с бабкой не замечают всего этого – может быть, потому, что сами как следует ещё к деревянному дому не привыкли.

– А Токо продолжает рассказывать сказки?

– Он не любит, когда это называют сказками, – ответила Айнана. – Да и по заказу он ни за что даже рта не раскроет. Иногда просишь, просишь, особенно в пургу, когда тоска, работать неохота, батарейки сели в приёмнике, а он всё отнекивается и даже сердится. Говорит: нельзя по принуждению рассказывать... Зато, когда находит на него вдохновение, заслушаешься... Я думаю, если бы он был по-настоящему грамотным человеком, он стал бы писателем...

– Вот и я так думал, – улыбнулся в ответ Тутриль.

Ему не хотелось уходить отсюда, от этого спокойного и тихого голоса, от этого удивительного для него, нового ощущения непонятной нежности.

Перед ним на столе лежал моржовый клык с панорамой старого

Нутэна, с родной ярангой, где он родился и вырос. Воспоминания детства мешались со словами Айнаны. Он вспоминал весенние горячие дни, когда мальчишкой он украдкой плакал, оставленный в море меж торосов взбунтовавшимися собаками. Он тогда возил моржовое мясо от кромки ледового припая в селение. Отцы охотились на вельботах, старшие ребята тоже находились при них, а вот младшие были заняты перевозкой сала и мяса. Трудная это была работа. Лёд по всем направлениям был изборождён трещинами, покрыт лужами талой воды. Кое-где уже образовались промоины – дыры во льду до самой солёной воды. Как ни старались юные каюры обходить лужи и трещины, всё же мокли с ног до головы... Как сладко было потом спать в меховом пологе, на мягкой оленьей постели! Никогда и нигде больше не доводилось Тутрилю так сладко спать.

И ещё – собирание дров по берегу моря после штормовой погоды. Надо было встать на самой заре, когда восток только начинает слегка алеть. В темноте светился океан, слышалось шумное дыхание волн, и разгорячённое от сна лицо покрывалось студёными мелкими солёными каплями. Тутриль шагал по мокрой гальке. Ноги скользили и разъезжались, а глаза цепко шарили по берегу в поисках чего-нибудь светлого. Иногда это был обломок доски, брёвнышко, обточенное волнами, иногда огромный ствол с обломанными сучьями, обломок борта лодки, дверь, железная или деревянная бочка... В эти часы вспоминались рассказы о редких удачных находках, когда счастливец находил целый корабль, нагруженный разными удивительными товарами.

Кроме дров, можно было найти ритльу – дар моря – дохлого моржа, лахтака или, если очень повезёт, кита. Но такое редко случалось...

Тутриль нагибался, брал длинные петли морской травы и ел их, смачно хрустя. Потом, через много лет, впервые испробовав малосольные огурцы, он нашёл удивительное сходство их со вкусом морской травы на берегу Нутэна.

Вспоминалась утиная весенняя охота, когда спозаранку снаряжались упряжки, и охотники ехали к Пильгыну – проливу, соединявшему лагуну с морем. Там через безлюдную косу с тундровой стороны в море перелетали утиные стаи. Такая охота не считалась серьёзной. Эта страда для Тутриля была одним из самых приятных детских воспоминаний...

А игры на лагуне, когда по свежему льду, отталкиваясь острыми палками, мчишься как ветер и через прозрачную поверхность видишь шевелящиеся и стелющиеся по дну травинки, сонных, укрывающихся на зиму рыб?..

– Я думаю, что деду всё равно надоест в яранге, – убеждённо

сказала Айнана, – но ему надо побыть там... Он ведь не может без людей, без друзей. Да и бабка всё время его пилит, попрекает...

– Как бы мне хотелось побывать в яранге, – сказал Тутриль.

– А вы приезжайте, – просто сказала Айнана. – Дед и бабушка будут рады...

– Ты думаешь?

– Я уверена, – ответила Айнана. – Они иногда вас вспоминают, ваше детство.

– И что говорят? – с любопытством спросил Тутриль.

– Ничего особенного, – вздохнула Айнана.

Тутриль с трудом заставил себя подняться.

5

В сенях толпились люди, но в зал ещё не пускали.

– У нас был такой клуб! – с сожалением вспоминал Роптын. – Там была настоящая сцена. Красивый занавес из материи, похожей на шкуру неродившегося нерпёнка, – бархат называется... Сгорел он...

– Отчего?

– От ёлки, – вздохнул Роптын. – В тот год нам самолётом привезли настоящую лесную красавицу. Хотели нарядить по всем правилам. Кто-то сказал – надо свечи зажечь, живым огнём украсить.

Тутриль посмотрел в окно. За покрытой снегом лагуной, за пологими холмами синели далёкие горы.

Сюда он пришёл первоклассником. Учителем был Роптын.

– Помните, вы вошли с классным журналом. Вон там висел портрет Ворошилова. Вы смотрели на него и причёсывались. Потом вынимали изо рта табачную жвачку и начинали урок...

– А ведь и я начинал здесь учиться, – с улыбкой принялся вспоминать Роптын. – Ещё в ликбезе. У Петра Петровича, а потом Валентины Дмитриевны. Не думал тогда, что сам стану учителем.

– Но ведь научили же и нас грамоте! – напомнил Тутриль.

– А ведь выходит, что твоя учёность начиналась от меня, – грустно улыбнулся Роптын.

– Что верно, то верно, – весело ответил Тутриль.

– И всё-таки какая дерзость была у нас! И у твоего отца, Онно, и у Токо. Мы сразу всё хотели переделать! Всю жизнь. Хотели всё новое. Делали окна в ярангах, учились грамоте и даже новым танцам. Нынче молодые не такие... Вот возьми, к примеру, Конопа. У него шесть классов образования. Сравнить с тогдашним образованием – он прямо академик! Умелый механик, с вездеходом разговаривает, как с другом... А Долины Андреевны побаивается. Признавался мне: стесняется, что по уровню образования не подходит...

– А она как?

– Тоже непонятно себя держит: вроде бы у них между собой ничего такого – дружба и товарищество. – Роптын огляделся. – А все знают, Коноп у неё ночует. Это, конечно, ничего не значит с точки зрения закона... Но хорошо бы по всей форме, с женитьбенной бумагой. А то взяли теперь привычку – без бумаги жить. Скажу тебе по секрету, многие не хотят получать женитьбенную бумагу, особенно многодетные.

– Почему?

– Потому что получают от государства пособие как одинокие матери, – пояснил Роптын. – Нашли лазейку. Живут по двадцать, а то и больше лет в незарегистрированном браке... А Конопу с Долиной Андреевной чего бояться? Детей-то у них нет!

Появился Коноп в белой камлейке, в расшитых бисером танцевальных перчатках с бубном в чехле из защитной плотной ткани.

В маленькую комнатку, примыкающую к сцене, собирались мужчины и женщины. Тутриль поначалу не узнал Айнану: она накрашила ресницы, подвела глаза.

Айнана глянула на Тутриля и улыбнулась.

Роптын громко похвалил девушку:

– Ты сегодня очень красивая. Ну прямо настоящая артистка.

Зрительный зал быстро заполнился.

Раздвинулся занавес, и первые же удары бубна возвратили Тутриля в старый Нутэн. Вспомнилась старая яранга с потемневшими от дождей и снега моржовыми кожами. Старый Нутэн ожил в памяти Тутриля, царапая сердце тоской и окутывая его светлой грустью.

На сцену вышла Айнана.

Полуприкрыв глаза, она смотрела в зал. Её гибкое тело угадывалось сквозь просторную камлейку. Простые движения, знакомая с детства мелодия, отмеряемая резкими ударами бубна, рождали в груди Тутриля тёплую волну нежности.

Почему-то вдруг вспомнился Ленинград. Яркий солнечный день, мост Лейтенанта Шмидта и сфинксы у спуска к Неве, напротив Академии художеств, Лена в лёгком белом платье и ветер с Невы, развевающий её светлые волосы.

Тутриль едва дождался конца концерта и ринулся за кулисы, чтобы отыскать Айнану.

Но его перехватили Гавриил Никандрович и Роптын.

– Иван Оннович! Вас ждут в столовой!

– В какой ещё столовой? – удивился Тутриль.

– Банкет! – значительно произнёс Роптын. – Сельский Совет даёт в твою честь торжественный банкет.

– Извините, но мне нужно... – сказал Тутриль.

– Все участники концерта приглашены, – прервал его Роптын. – Народ ждёт.

Окна столовой на берегу лагуны ярко светились. Весь обеденный зал занимал роскошно убранный стол, на котором стоял цветок в горшке.

– Постарались наши повара, – гордо сказал Гавриил Никандрович, – фирменные блюда приготовили.

– Вот! – Роптын показал на стол. – Долина Андреевна даже свой цветок принесла!

Казалось, в столовую собрался весь Нутэн: пришли охотники, оленеводы, работники полярной станции, пограничники. Каждый считал своим долгом подойти к Тутрилю, поздороваться с ним, поздравить с приездом.

Айнана не появлялась.

Все уселись за стол, и Гавриил Никандрович уже встал, чтобы произнести тост. Заметив беспокойство сына, Кымынэ спросила:

– Что с тобой?

– Почему нет Айнаны?

– Придёт, – спокойно ответила Кымынэ. – Может быть, она передевается... Она хорошая, добрая. Ах, если бы ты привёз Лену! Так мне хочется встретиться с ней!.. Может, ещё будут у вас дети?

– Может быть, будут, – безразлично ответил Тутриль, думая о другом.

– Я знаю, вам трудно было, – сказала Кымынэ. – Без квартиры, в общежитии – какой ребёнок?..

Да, всё так и было. Общежитие, диссертация, а потом, когда появилась квартира, – диссертация Лены, её научная работа...

Ну почему Айнана не идёт?

– ...Достижения в культурном развитии народа ярко проявились в судьбе Ивана Онновича Тутриля! – слышались слова Гавриила Никандровича.

– Тутриль! – услышал он возглас Конопа. – За тебя! Чтоб ты стал академиком!

– Я для Лены сшила торбаса, маленький пыжиковый жилет с вышивкой, – тихо говорила Кымынэ. – Отвезёшь и скажешь: от меня. Пусть носит в Ленинграде, когда мороз. Ах, если бы она сюда приехала. Мы бы встретили её как родную. Никто ещё из нашего селения не женился на тангитанской женщине. Ты первый...

Тутриль встал.

– Ты куда? – насторожился отец.

– Я выйду.

– И верно, – кивнул Роптын, – душновато здесь. Сколько раз говорил директору столовой, чтобы поставил электрический вентилятор! А он: всё тепло выдует! Приехал на Север и холода боится... Иди, иди подыши воздухом.

Тутриль пробрался к выходу.

Тишина накрыла весеннюю ночь.

Он постоял на крыльце, соображая, куда идти. Запутался совсем в новом Нутэне. Он мысленно представил нарисованный Айнаной Нутэн и зашагал.

Снег мягко осыпался в следе: он уже не был сухим и ломким, как в середине зимы.

Тутриль пересекал светлые пятна от освещённых окон, обрывки разговоров, музыки.

Ни одно из окон домика Токо не было освещено.

В железной петельке входной двери вместо замка торчала палочка. Догадываясь о случившемся, Тутриль ещё раз обошёл домик и увидел, что толстая железная проволока с цепями пуста. С крыши тамбура исчезла нарта. В снегу остались круги от собачьих лёжек. Следы полозьев вели в темноту.

Тутриль постоял возле домика и медленно побрёл обратно в столовую, навстречу музыке.

6

Далеко за полночь Тутриль с родителями возвратился домой.

Окно и Кымынэ были оживлены.

– Кыкэ вай! – тихо сказала Кымынэ. – Я не помню, чтобы кого-то ещё так чествовали в нашем селе. Разве только кандидата в депутаты... Но для него банкета не устраивали... А тебе устроили.

Тутриль, занятый своими мыслями, коротко отвечал и вымученно улыбался.

– Жаль только, что дяди Токо и тети Эйвээмнэу не было, – заметил он.

– И хорошо, что их не было, – строго сказал Онно.

– Что же у вас тут случилось такое, что ты разошёлся с самыми близкими друзьями? – спросил Тутриль.

– Хотел я отложить этот разговор, – задумчиво произнёс Онно, – но раз тебе хочется знать, что случилось между мной и Токо, так и быть, расскажу... Кымынэ, дай-ка нам чаю.

Кымынэ принесла чай, поставила вазочку с колотым сахаром и ушла на кухню, чтобы не мешать мужскому разговору.

– Мы крепко поспорили с Токо... И спор наш – не просто ссора, а – как бы тебе сказать? – принципиальные разногласия...

Эти слова Онно произнёс с некоторой запинкой.

– Так вот слушай: лет десять прошло с тех пор, как мы покинули яранги и построили вот эти домики. Все были довольны, хотя поначалу нашлись и такие, что отказывались переселяться из яранг в дома. Но ведь не они вели людей, полных решимости порвать все связи с прошлой, постылой жизнью... Довольно быстро мы обнаружили, что эти маленькие домики плохо приспособлены к нашему суровому климату. В них холодно и тесно. Начали перестраивать,

утеплять... Потом стали строить двухкомнатные дома... Тоже не то. Вот построили для косторезов многоквартирные, с центральным отоплением... Но это только для них... Колхоз не мог себе позволить такого. Ведь и деревянные дома мы получили от государства, почитай, даром. Плата-то за них была чисто символическая. Сейчас возникла нужда в другом жилище – в таком, в каком живут в городах. Чтобы все, значит, удобства были здесь... Однако в каждом маленьком селе строить большие дома дорого и невыгодно. Ведь здесь должны быть и школа, и почтовое отделение, и магазин, и баня, и всякое другое бытовое обслуживание. В ином селе всего несколько сот человек, но вся обслуга должна быть... И, кроме того, надо всех обеспечить работой. Ведь раньше как – каждый сам по себе охотился, а сейчас одна бригада может обеспечить мясом всё село... А остальным что делать?

– Всё, что ты говоришь, верно, и многое мне известно. Однако какое это имеет отношение к Токо?

– Самое прямое, – усмехнулся Онно. – Вот слушай дальше... Родилась идея сселить такие маленькие селения, как Нутэн, в большое село или даже посёлок. Выбрали Кытрын как центр. Есть проект. Построят несколько многоэтажных домов, Дом быта, телефонную станцию, станцию «Орбита», чтобы телевизор можно смотреть... Но самое главное – большое производство там будет. Много рабочих мест... А то ведь иные в нашем совхозе в месяц рублей по десять – пятнадцать зарабатывают – нечем занять людей...

Онно отхлебнул остывшего чая.

– Когда кончилось собрание и надо было голосовать за переселение, один человек был против – Токо. Это меня так удивило, что я подумал, что он ошибся. Переспросил, а он твёрдо отвечает: да, я против. Вот так.

Потом мы встретились поговорить, и знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я не люблю своего народа и собираюсь предать его... Ты представляешь, что он сказал, – предать народ? Он мне напомнил Наукан...

И вот что он мне ещё сказал, – продолжал Онно. – Хорошо, мы переселимся в Кытрын. Вселимся в удобные квартиры с тёплыми туалетами. Будем организованно ходить на работу на звероферму. Смотреть телевизор или широкоэкранный кино. Вечером ходить в ресторан и культурно выпивать на белых скатертях. А что останется от чукотского народа? Ведь всякий народ, сказал Токо, отличается от другого своеобразным трудом... Мы – морские охотники, и должны жить как морские охотники. И ещё сказал: мы постепенно утратим свои обычаи, позабудем родной язык... и вконец утратим свой собственный облик... Понимаешь, как рассуждает твой любимый дядя Токо?

Я сначала с ним спорил, пытался его убедить словами, – го-

ворил Онно, – но он упёрся на своём. Он сказал: хорошую жизнь надо строить там, где ты живёшь, а не искать на стороне. Он даже обозвал меня эмигрантом. Говорит: сегодня ты захочешь переселиться из Нутэна в Кытрын, завтра в Анадырь, потом в Магадан, и так далее... Как только у него поворачивался язык говорить такие слова?

– И что же, он один против? – спросил Тутриль.

– Открыто – он один, – ответил Онно. – Гавриил Никандрович воздержался и получил за это выговор.

– Выходит, не один Токо против переселения? – сказал Тутриль. – А может, он прав? Ведь и телевидение, и разные удобства, наверное, можно устроить и в Нутэне...

– Ты меня не понял, – мягко возразил Онно. – Дело не в удобствах, а в том, что будто разбежались и остановились... Вот это плохо.

– Нет, что-то тут не так, – с сомнением покачал головой Тутриль. – Покинуть Нутэн? Как же так легко все согласились? Покинуть родину...

Онно пристально посмотрел на сына.

– Да ты что – сомневаешься?

– Сомневаюсь.

– И что же, может, как Токо, в знак протеста в ярангу переселишься? – с усмешкой спросил Онно.

– В ярангу переселяться не буду, но поеду к дяде Токо, – сухо сказал Тутриль.

– Ты знаешь, что он тебе не родной дядя? – спросил Онно.

– Знаю, – ответил Тутриль, – но он тебе брат по дружественному браку. А это тоже кое-что значит.

– Всё это – пережитки прошлого, – сердито сказал Онно.

...Дружественный брат... Как это далеко и давно, но всё равно волнует, когда вспоминаешь об этом. Токо и Онно росли вместе с малых лет. Посторонним и впрямь казалось, что они родные братья... Но они были лишь дружественными братьями. Их отцы появились в Нутэне незадолго до больших перемен, когда к этим берегам стали часто наведываться корабли тангитанов. Они пришли из дальних сёл, вымерших от голода и болезней. В Нутэне они поначалу были чужаками. К тому же оба были уже женаты и не могли породниться с нутэнцами. Каждый мог их обидеть, и не у кого им было искать защиты. Единственное, что могло им помочь, это обычай старинного дружественного брака, который делал их родственниками.

И отцы Токо и Онно сговорились между собой обменяться на время жёнами и закрепить таким образом дружбу.

Они делали это открыто, на виду всего Нутэна, и все понимали, что отныне между двумя этими семьями возникло новое, освя-

щённое обычаем родство. Никто уже безнаказанно не мог обидеть одного, ибо на помощь к нему тотчас мог прийти другой.

Родились два сына – Токо и Онно – и никто в той и в этой семье в точности не мог сказать, чьи это дети. Удивительно было и то, что они походили друг на друга как настоящие братья.

Всю жизнь шли они рядом, рука об руку, вместе стали одними из первых комсомольцев Нутэна, соединили упряжки, когда надо было помогать челюскинцам, а потом вместе работали, перестраивали жизнь в старинном чукотском селении Нутэн.

И вот их дороги разошлись.

7

Тутриль приготовил магнитофон, проверил его, вытащил блокнот и авторучку. Сегодня обещала прийти бабушка Каляна и рассказать сказку. Конечно, это не то, что повествования Токо, но и такого рода образцы народного творчества тоже надо было собирать. А если уж говорить точнее, то весь известный науке фольклор чукчей был собран именно таким способом – записыванием вслед за рассказчиком. Магнитофон появился совсем недавно и произвёл целый переворот в технике записывания текстов.

Рано утром Онно ушёл на охоту, и Тутриль проводил его с чувством зависти и сожаления.

– Сделаешь свои дела – успеешь и поохотиться, – утешил его отец. – Весна запоздала, нерпа только начала вылезать на лёд.

Это было тоже воспоминанием – проводы отца на морскую охоту. Весь этот ритуал раннего чаепития, снаряжения, когда надевались тонкие нерпичьи торбаса, кухлянка, белая охотничья камлейка, а поверх всего – эрмэгтэт, содержащий в себе акын – грушу из лёгкого дерева с острыми крючьями, чтобы доставать убитых нерп из воды, бечёвки, костяные кольца, ремни, винтовка в чехле из выбеленной нерпичьей кожи и «вороньи лапки» – лыжи-снегоступы.

Проводив отца, Тутриль не стал ложиться спать, а занялся приготовлением к работе.

– Может быть, сначала бабушку чаем угостить? – спросила Кымынэ.

– Не знаю, – несколько растерянно ответил Тутриль. – Может быть.

– Она большая чаёвница, – сказала мать. – Увлечётся чаепитием и не станет сказки рассказывать... Что делать?

Каляна пришла неожиданно рано. Она принарядилась, словно шла на любовное свидание, – надела новую камлейку из цветастой ткани, а вниз – вязаную кофту, что недавно давали в магазине за сданную пушнину.

Кымынэ ревниво оглядела гостью и ехидно заметила:

– Кто же у вас пушного зверя промышляет, что ты такую кофту купила?

– Да внук мой – кладовщик, будто не знаешь, – добродушно ответила Каляна. – Зачем ему пушного зверя сдавать, ежели он и так всё, что надо, может достать?

Кымынэ многозначительно посмотрела на сына и вышла на кухню, чтобы не мешать его работе.

– Дай-ка я сначала тебя как следует рассмотрю, – прошамкала Каляна. – А то в клубе ты далеко сидел да боком... Однако гладкий ты, как весенний лахтак. И упитанный... Чем же кормят тебя в Ленинграде, ежели ты такой толстый? А? Или работа такая твоя, всё на месте сидишь?

– Он же научный работник, разве ты этого не знаешь? – с оттенком ревности произнесла Кымынэ, появляясь из кухни с чайником и чашками.

– И то, смотрю, прямо районный работник, – продолжала Каляна. – Такие вот оттуда и приезжают. И наш какой-нибудь, как станет руководящим кадром, так на глазах глаже становится... Может, когда все переедем в Кытрын, такие станем. Упитанные да гладкие.

Каляна засмеялась и принялась за чай.

Напротив сидел Тутриль и в ожидании, пока старушку посетит вдохновение, тоже прихлёбывал чай.

Обеспокоенная молчанием, из кухни снова появилась Кымынэ и спросила:

– Бабушка, когда же ты станешь сказку сказывать? Тутриль ведь ждёт.

– А ты не мельтеши перед глазами, не мешай, – сердито сказала Каляна. – Иди займись своим делом и не трогай нас.

Кымынэ хотела ответить что-то резкое, но сдержалась и, поджав губы, молча вышла в кухню.

– Ты потерпи, Тутриль, – тихо сказала Каляна. – Я вспоминаю... Я вспоминаю одну легенду... Ты слышал такое выражение – «он пошёл по следу росомахи»?..

– Слышал, но не очень хорошо понимаю смысл, – ответил Тутриль.

Он попытался припомнить... Что-то неясное, отдалённое, словно полужабытая колыбельная. Тутриль считался в научных кругах признанным знатоком чукотского фольклора, но почему-то легенда о росомахе в его памяти почти не сохранилась. Должно быть, в ней не было достаточно яркого социального или исторического содержания.

– Да и откуда тебе знать, – кивнула Каляна. – Ты ведь уехал, ещё не став взрослым человеком... Хотя и пошёл по следу росомахи.

– По следу росомахи? – удивлённо спросил Тутриль.

– Да, ты из тех, – загадочно произнесла Каляна, поставила чайное блюдце на стол и уселась поудобнее. – Эммэн...

Каляна вдруг остановилась и подождала.

– Почему не берёшь ручку?

– Магнитофон пишет, – кивнул Тутриль.

– Такой маленький? Кыкэ вынэ! У нас в магазине продавались, но большие, тяжёлые, пожалуй, потяжелше швейной машины... А этот такой маленький, будто книжка...

Наконец Каляна уселась поудобнее, но только произнесла «эммэн!», как громко зазвонил телефон.

Тутриль сердито взял трубку. Это была Долина Андреевна:

– Тутриль, ты не забыл, что сегодня у тебя встреча с читателями?

– Нет, не забыл, помню.

– И ещё – после встречи с читателями я приглашаю тебя в гости, хорошо?

– Хорошо, хорошо, – торопился закончить разговор Тутриль, искоса поглядывая на нетерпеливо моргающую Каляну.

Он сел напротив и весь обратился в слух.

Но Каляна снова налила себе чаю и принялась молча и сосредоточенно пить.

Тутриль терпеливо ждал.

На пороге комнаты появилась Кымынэ.

– Ну что ты молчишь, бабушка?

– А тебе какое дело? – спокойно ответила Каляна. – Не к тебе пришла, а к нему... Да вот не получается что-то, – вдруг жалобно произнесла она. – Не приходит слово... Пришло было и вдруг ушло... Что делать?

Каляна искренне была расстроена и чуть не плакала.

– А вы не торопитесь, отдохните, соберитесь с мыслями, – успокаивал её Тутриль.

– Да как собраться-то с мыслями, когда они разбежались, – причитала старуха. – Шла я к тебе как на праздник, наряжалась, думала – надо ему рассказать о следе росомахи, о людях, которые идут неведомыми тропами... Ведь что говорят – росомаха такой след делает, чтобы её никто не мог настичнуть... И след этот ведёт в неведомое, в непривычное. И тот, кто идёт по следу росомахи, находит или большое счастье, или беду... Кыкэ вынэ вай... Совсем ушли слова.

Тутриль не менее бабушки Калины был расстроен.

А она уже стала собираться, натянула на себя камлейку, поправила рукава и пошла к выходу, продолжая сокрушаться:

– Не сердись на меня, Тутриль, в следующий раз приду...

Тутриль закрыл за ней дверь и вернулся к столу. Магнитофон крутился. Он сердито нажал на кнопку и сел у окна.

На крыше сельского Совета полоскался красный флаг из яркой синтетической ткани. Справа виднелся домик дяди Токо... Надо ехать к нему.

Собираясь в командировку, Тутриль решил записывать тексты только у настоящих сказочников, и это он обещал научному редактору будущего сборника. Конечно, можно за два дня выполнить весь объём работы, если пойти по пути предшественников, записывающих сказки и легенды от всех и без разбору. Но тогда эти записи не будут иметь настоящей художественной ценности, то есть того, ради чего, собственно, и создаётся устное произведение.

В тишине домика Тутриль вдруг услышал песенку. Пела мама. Старую полузабытую колыбельную, которую так любил Тутриль.

*Мальчик вышел из яранги –
Вон какой большой,
Болой он поймал птицу –
Вон какой большой!
Он родился весной,
В самые длинные дни,
Под крыльями весенних сумерек,
На заре весны...*

Тутриль включил магнитофон и на цыпочках подошёл к раскрытой двери.

8

Нутэнская библиотека помещалась в том же здании старой школы, что и клуб.

Довольно просторный читальный зал был набит до отказа: пришли не только взрослые читатели, но и школьники.

За столом, покрытым красной скатертью, с неизменным графином и гранёным стаканом, важно восседал Роптын. Рядом с ним – взволнованная Долина Андреевна. Она то и дело вскакивала, бежала в зал, с кем-то шепталась, поправляла книги Тутриля, выставленные на отдельном стенде.

– Гляди-ка, сколько у тебя читателей! – с искренним удивлением заметил Долине Андреевне Тутриль.

– Большинство пришло, чтобы встретиться с тобой, – сказала Долина Андреевна. – Сначала я не хотела, чтобы школьники приходили, но директор настоял: говорит, живой положительный пример может послужить поднятию успеваемости.

Роптын постукал стаканом о графин.

Учительница зашипела на расшалившихся ребяташек.

Установив тишину, Роптын заговорил:

– Товарищи! Мы сегодня встречаемся с нашим земляком, сыном Онно и Кымынэ, кандидатом филологических наук Иваном Онновичем Тутрилем. Посмотрите на него. Он такой же, как и его сверстники – Коноп, Кымыргин и Долина Андреевна... Он сын нашего народа, а достиг учёных вершин. Не каждому это дано. Взобраться на вершину знаний могут только те, кто упорен. Это упорство есть у нашего земляка. Я заметил его, когда он только начинал постигать грамоту вот здесь, в этой комнате. Тогда я был учителем. Мы только начинали новую жизнь, и настоящих учёных среди нас ещё не было... Наша родная Советская власть дала возможность сыну простого охотника Онно, выросшему в яранге при свете каменного жирника, подняться до учёного. Вот. Я всё сказал и даю слово Тутрилю.

В зале громко и яростно захлопали.

И больше всех старалась Долина Андреевна.

Тутриль подождал.

– Товарищи, – тихо начал он. – Я очень волнуюсь. Роптын уже сказал, да и многие из вас знают: вот здесь, на этом самом месте, я начал учиться грамоте. Я хорошо помню этот день. Роптын вошел в класс и положил на наши парты две книги, на одной было написано «Чычеткин вэтгав», а на другой – «Родное слово». И он сказал нам: «Отныне и русская, и чукотская речь будут для вас родным языком». И через второе родное слово – русский язык – мы познакомились с несметными богатствами русской и мировой литературы. Через русский язык мы познали богатство и красоту родного чукотского языка... А ведь некоторые думали и даже говорили: «Зачем нам свой родной чукотский язык, если русский богаче и выразительнее». Может быть, поэтому я и стал специалистом по родному чукотскому языку...

Тутриль рассказывал о своём учении в Ленинграде, о будущем сборнике.

– Это будут не просто сказки и легенды, не просто тексты, а подлинные художественные произведения, и поэтому я буду записывать только от тех, кто их по-настоящему хорошо знает и умеет рассказывать.

– Тогда тебе надо ехать к деду Токо, – сказал кто-то из зала.

– И к нему обязательно поеду, – ответил Тутриль.

Спрашивали больше любознательные школьники, и Роптын решил навести порядок, обратившись к взрослым:

– Почему всё ребяташки спрашивают? Пусть и взрослые задают вопросы.

– Вот ты собираешь сказки, – поднялся с места Элеч, пожарный

инспектор. – Как тебе платят – поштучно, или и качество проверяют тоже?

Этот вопрос вызвал большое оживление.

– Мне отдельно за каждую сказку не платят, – серьёзно ответил Тутриль. – Я получаю твёрдую заработную плату.

– Хорошая работа: двойное удовольствие – и сказки слушаешь, и деньги получаешь, – заметил чей-то голос.

– А не скучно тебе в Ленинграде? – полюбопытствовала старушка из дальнего ряда.

– Скучаю, – коротко ответил Тутриль, – по родному Нутэну скучаю.

– А как это так? – снова поднялся Элюч. – Вот ты изучаешь наш язык, сказки и легенды, а живёшь в Ленинграде? Может, лучше здесь жить?

Тутриль растерянно огляделся, словно ища помощи у Роптына: вопрос был трудный.

– Так получилось, что научное изучение чукотского языка велось в Ленинграде, – начал Тутриль. – Там находится Институт языкознания, где работают специалисты не только по языкам народов Севера, но и по другим языкам народов нашей страны, а также зарубежных... А нам надо собираться, обмениваться мыслями, печатать свои статьи и книги.

– Печатать можно и здесь, – авторитетно заявила уборщица совхозной конторы Рытыр. – Сейчас новые машинки привезли, от электричества работают.

– Это совсем другая печать, – возразил пожарный инспектор Элюч.

– А всё равно – читаешь, будто в книге написано, – настаивала Рытыр.

Наконец Роптын поднялся и сказал, что на этом встреча заканчивается. Повернувшись к Долине Андреевне, он с упреком произнёс:

– Тоже мне время выбрала – пришли одни школьники, пенсионеры да лодыри. Все серьёзные люди сейчас на работе – кто на охоте, кто в мастерской. Нехорошо получилось, серьёзных вопросов не задавали, никто не спросил о международном положении...

– А я очень доволен, – весело сказал Тутриль. – Мне приятно было.

Когда все разошлись, Долина Андреевна напонила:

– Так, значит, ко мне?

Долина Андреевна жила на берегу лагуны в маленьком домике, выстроенном ещё в начале пятидесятых годов. Домик состоял из просторных сеней с угольным ящиком, кладовкой и довольно большой комнаты, куда был вход через кухню.

Раздеваясь, Тутриль осматривался в комнате, примечая нео-

бычное её убранство. Вместо кровати стояло странное сооружение – видимо, это всё же когда-то была кровать, но спинки были срезаны автогенном и устроено нечто вроде тахты, покрытой ярким цветным ковром. У противоположной от двери стены от полу до низкого потолка стоял книжный стеллаж, торшер и кресло, покрытое хорошо выделанной нерпичьей шкурой.

Меж двух крохотных окон на стене висел выжженный на фанере портрет Хемингуэя.

Под ним – магнитофон, занимающий половину туалетного столика, уставленного флаконами с духами, коробками с пудрой и косметикой.

У кровати-тахты – стол, бывший нормальный обеденный, но с укороченными ножками.

Заметив, как внимательно гость осматривает обстановку, Долина Андреевна извиняющимся тоном произнесла:

– Сейчас, говорят, в моде полированная мебель. Но она до нас не доходит, оседает в районном центре...

Усадив Тутриля на кровать-тахту, Долина Андреевна принялась хлопотать. Поставила на столик крабовые консервы, икру в банке, чуть сморщившиеся яблоки, пару апельсинов, красивую бутылку венгерского коньяка «Будафок», крохотные рюмочки, и торжественно водрузила бутылку ликёра «Старый Таллин».

– Я сварю кофе, – сказала она, – ведь настоящие учёные любят кофе.

– А я люблю чай, – виновато признался Тутриль. – Пробовал привыкнуть к кофе, не могу.

– Ну, хорошо, пусть будет чай, – быстро согласилась Долина. – Честно говоря, я тоже предпочитаю чай. А кофе я хотела сварить, чтобы сделать тебе приятное.

– Если ты действительно хочешь сделать мне приятное, то не мельтеши, а садись и угощай меня, – с улыбкой сказал Тутриль.

– Нет, я должна кое-что приготовить, – отмахнулась Долина Андреевна. – Я с утра налепила пельменей и положила в холодильник.

Тутриль улыбнулся в ответ. Где-то когда-то он слышал анекдот о предприимчивом коммивояжёре, который ухитрился продать партию холодильников эскимосам Аляски... Но холодильники были и в домиках Нутэна, несмотря на то, что большую часть года за стенами стояла минусовая температура.

– Знаешь, Тутриль, как я тебе завидую! – сказала Долина Андреевна, освободившись на минуту и присев на кончик тахты-кроватьи. – Какая у тебя счастливая судьба! Живёшь в культурном городе, в культурном окружении, не то что я...

– Тебе грех жаловаться, – сказал в ответ Тутриль. – У тебя отличная, благородная работа, тебя в селе уважают...

– Я это уважение знаешь каким трудом добыла?

Долина Андреевна тяжело вздохнула, помолчала.

– Главное – не с кем поделиться, некому душу раскрыть... Жизнь меня не баловала. У меня ведь тоже была семья, муж, дочка... Знаешь, давай-ка выпьем с тобой за наше детство, за нашу школу...

Она налила вино, лихо выпила и закусила кусочком солёной рыбы.

– Я рано вышла замуж, и моя дочь уже взрослая девушка... А вот с мужем не могла ужиться. Вроде бы хороший человек был, военный, политически грамотный, но уж больно скучный. Прямо расписание, а не человек. Пожила вместе с ним в Караганде, оттуда он родом, а потом уехала, забрала дочку... А дочка-то пожила-пожила на Чукотке и уехала к отцу. Всё ей здесь не нравилось – и холодно, и снабжение плохое, и народ... представляешь, она даже такое сказала: народ дикий... И когда она такое произнесла... Не то что прогнала её, но и не стала удерживать... И вот пока за чем-то гналась, годы шли. Приехала сюда, в родной Нутэн, как в последнее прибежище. Стали разное шептать. Всякое говорили, а я работала стиснув зубы. Здешняя библиотека совсем была в развале. Многие ценные книги поворовали, иные обветшали. Хозяйского глаза не было. Стала устраивать читательские конференции. Приохотила людей к книгам на родном языке... Ты знаешь, с чукотским языком у меня неладно получилось. Забыла... Вроде бы всё могу сказать, все понимаю, а разговаривать боюсь. Как-то пробовала – смеялись надо мной...

В кухне что-то зашипело, и, оборвав себя на полуслове, Долина Андреевна бросилась туда.

Вернулась она смущённая и виноватая:

– Ну вот, заболталась я с тобой, забыла про пельмени, а они разварились, совсем испортились.

– Да ты не беспокойся, я не голодный.

– Ну всё равно ведь угостить полагается... Ты подожди, я другие поставлю.

Возвратившись в комнату, Долина Андреевна некоторое время молчала, потом улыбнулась:

– Извини, Тутриль, разжаловалась я тут на свою судьбу... Ты не обращай внимания.

– Что ты, Долина, я вот слушаю тебя и думаю... Думаю, что ты зря жалуешься. Конечно, тебе нелегко пришлось, но оглянись, посмотри вокруг, какие люди живут здесь, в старом Нутэне.

– В старом Нутэне, которого скоро не будет, – с неожиданно грустной ноткой произнесла Долина Андреевна, тряхнула волосами и весело сказала: – А я рада, что скоро мы все будем в Кытрыне! Худо-бедно, а всё же районный центр.

Рассказ Долины Андреевны разволновал Тутриля. Он хотел ска-

зять, что во всяком движении вперёд, наверное, есть какие-то издержки. Кто-то отрывается, уходит вперёд, часто не ведая, куда он идёт на самом деле. Отец Долины, человек горячий, увлекающийся, назвал свою дочь словом из партизанской песни, не понимая значения этого слова. Но он знал, что это хорошее слово – слово, с которым люди шли вперёд, завоёвывая свободу для таких, как он. Потом, когда до его сознания дошло, что без русского языка невозможно в новой жизни, он стал усердным посетителем курсов, заставил всех в своей яранге изъясняться только по-русски и дочь свою учил только русскому языку, говоря при этом, что в новом обществе чукотский язык будет не нужен... В пылу спора он даже договаривался до того, что вообще всех других языков не будет... Останется один язык – язык социализма и коммунизма, великий революционный русский язык...

На этот раз пельмени получились, и Долина, несмотря на протесты, наложила Тутрилю тарелку с верхом.

В сенях послышался шум, распахнулась дверь, и в комнату без всякого предупреждения вошёл Коноп. Он сделал вид, что не ожидал увидеть здесь Тутрилю, и с нарочитым удивлением произнёс:

– Какое-то! Ты здесь? А я-то думал, что ты фольклор записываешь на свой магнитофон.

– Надо же человеку и отдохнуть! – сердито возразила Долина Андреевна. – И что за манера – входить без стука, приходиться без приглашения?

Коноп некоторое время пристально смотрел на Долину Андреевну, потом решительно подошёл к столу, взял бутылку и громко прочитал:

– «Будафок»... А ты меня таким не угощала... Так, – он нагнулся и принялся рассматривать керамическую бутылочку ликёра «Старый Таллин». – Как снаряд... «Старый Таллин». Наверное, крепкое. Говорят, чем старее вино, тем оно крепче.

Тутриль встал.

– Ну, мне пора.

– Что ты, посидел бы ещё, – потухшим голосом произнесла Долина Андреевна.

– Может, человеку по делу надо, – сердито заметил Коноп. – В научную же командировку приехал.

Коноп вышел следом за Тутрилем и закрыл за ним дверь.

9

Выйдя из домика, Коноп зажмурился от яркого солнечного света. Всё сверкало и блестело. По кромке крыши висели длинные сосульки, а из подтаявших сугробов кое-где торчали обломки ледяных копий.

Направляясь к гаражу, находящемуся на морской стороне селения, он вдруг встретил Тутриля.

– Етти! Чего так рано встал?

– Тебя ищу, – озабоченно ответил Тутриль.

– Что-нибудь случилось? – встревоженно спросил Коноп.

– Ничего, – стараясь казаться спокойным, ответил Тутриль. – Не подбросишь к яранге Токо?

– Это ерунда, – весело ответил Коноп. – Я как раз мимо буду ехать.

У гаража, искрошенный гусеницами, был в масляных пятнах снег.

Коноп отпер большой висящий замок и отодвинул широкие ворота.

– Входи в мои владения, – пригласил он гостя.

Глаза постепенно привыкли к полутьме. Тутриль увидел грузовой автомобиль на колодках и вездеход. В дальнем углу – токарный станок, верстак, инструменты.

– Даже автомобиль у тебя тут, – заметил Тутриль.

– Летом ездим, – отозвался Коноп. – В отлив по береговой полосе можно гнать, как по асфальту. До девяноста выжимал вдоль прибоя. Песок мокрый, держит отлично! Жаль, сейчас зима, а то прокатил бы с ветерком. До Токовой яранги можно берегом ехать. Я сейчас чай поставлю. Проходи сюда.

Уголок возле верстака был украшен яркими журнальными картинками. На отдельной тумбочке – проигрыватель. Возле скамьи стоял низенький столик, на нём стаканы и большая фарфоровая чашка. Колотый сахар был насыпан в консервную банку.

Коноп налил воды в электрический чайник, включил вилку в штепсель.

– Вот моё хозяйство, – с гордостью произнёс он. – Мечтаю получить мотонарты. Говорят, теперь такие делают... И ещё – хочу получить новый вездеход. Этот старенький, чиненый-перечиненый. Держится только на честном моём слове...

Коноп разливал крепко заваренный чай, не переставая разговаривать:

– А к Токо съездить любопытно и интересно... Я сам люблю там бывать. Не понимаю, что это такое, может, наука может объяснить: каждому ясно – нынче яранга изжила себя, лучше жить в доме, да не просто в доме, а чтобы, так сказать, с удобствами, с водопроводом и прочим. А как войду в чоттагин, увижу меховой полог – и чувствую щекотание в горле, будто неразведённого спирту хватанул... Может быть, потому, что в детстве жил в яранге? Но вот Айнана: она родилась в доме, всю жизнь провела в интернатах и общежитиях, а тут – живёт в яранге, и вроде бы ей нравится.

– Откуда ты знаешь, что нравится? – спросил Тутриль, ожидая, пока остынет чай.

– Сама сказывала, – ответил Коноп. – Как-то мы с Долиной Андреевной беседовали с ней.

– О чём?

– Да про всё. Про неё, про её моральный облик, – пояснил Коноп. – Комсомолка, а живёт в яранге... Приезжал к ней парень из Анадыря – вроде жених. Только почему-то быстро уехал. Непонятно. Вот ты как насчёт этого думаешь?

– Насчёт чего? – спросил Тутриль.

– Ну, этого самого... – Коноп посмотрел на Тутриля. – Вот как ты думаешь: правильно Долина рассуждает?

– О чём? – не понял Тутриль.

– Да об этом самом, – Коноп сделал какое-то неопределённое движение. – Долина Андреевна говорит, что, мол, наши девушки слишком легко идут на сближение...

– На что?

– На сближение, – повторил Коноп. – Это её выражение – сближение, близость... Так вот Долина Андреевна осуждает наших девушек. Главное, за то, что рожают детишек. Но ведь ясно, что именно от этого и бывают ребята. Я это ещё в третьем классе, между прочим, знал.

– А как ты сам об этом думаешь? – осторожно спросил Тутриль.

– Честно?

Тутриль молча кивнул.

– Конечно, жалко девушек, – медленно проговорил Коноп. – Но парней маловато, а те, кто приезжает, – на время. Руки, значит, в нашей кассе, а глаза видят леса, поля, уши слышат песню петуха... Я знаю тут одного бывшего пограничника. Остался работать строителем в совхозе. Деньги копит на машину...

– Не все ведь такие, – попытался возразить Тутриль.

– Конечно, не все, – легко согласился Коноп. – Но когда народу маловато, то такие очень заметны...

Тутриль и Коноп некоторое время молча пили чай. Потом Тутриль осторожно спросил:

– А как у тебя самого? Почему ты не женат?

Коноп помедлил с ответом.

– Всё как-то не получалось... Тех, кого я любил и на ком бы женился, моя персона не интересовала. А кому я был интересен, те мне почему-то не подходили... А потом с годами становишься осторожнее...

– А Долина Андреевна?

После продолжительной паузы Коноп неопределённо сказал:

– Много рассуждает...

– Эгей! Есть кто тут? – послышался голос Гавриила Никандровича. – Ворота нараспашку, механика нет.

– Как нет? – весело отозвался Коноп, видимо обрадованный тем, что прервался трудный для него разговор. – Мы тут! Чай пьём! Гавриил Никандрович поздоровался с Тутрилем и спросил:

– А как машина, готова?

– Товарищ директор! – укоризненно произнёс Коноп. – Когда было такое, чтобы у Конопа не была готова машина?

– Это уж точно, – удовлетворённо произнёс Гавриил Никандрович. – Ну, а если так, то через двадцать минут можем выезжать. Значит, вы с нами, Иван Оннович?

– До яранги Токо, – ответил Тутриль.

– Добре, – сказал Гавриил Никандрович.

10

Вездеход, гремя гусеницами, круша снег, медленно проехал по главной улице селения. Гавриил Никандрович, уступивший переднее сиденье Тутрилю, гудел за спиной, стараясь перекричать шум двигателя:

– Как сойдёт снег – прекращаем ездить на вездеходе в черте селения. Такое постановление вынес на совете Роптын. Чтобы не нарушать почву.

Вездеход, ныряя в сугробах, как будто судно в волнах, пронёсся мимо последнего домика, оставил слева вертолётную площадку и вырвался в открытую тундру, полную солнца и сверкающего снега.

Проехав немного по снежной целине, машина повернула к морю и, держась границы торосов и покрытого снегом берега, помчалась вперёд, взмётывая позади искрошенный гусеницами снег.

Коноп, видимо, старался показать Тутрилю своё умение водить вездеход и держал высокую скорость. Сидевший на узкой железной скамье Гавриил Никандрович только побряхтывал.

Не прошло и часа, как на мысу показалась яранга Токо.

Она резко выделялась на снегу. От чуть заострённой конусом крыши шёл дымок.

Тутриль ощутил волнение и подумал, что вот так, наверное, волновался путник в далёкие времена, когда после долгого пути по белой пустыне, среди холода и одиночества, он вдруг видел перед собой знак живой жизни, человеческое жильё.

Обитатели одинокой яранги ещё издали заметили вездеход и вышли встречать его.

Тутриль сразу узнал сильно постаревшего Токо и его жену Эй-вээнэу.

Рядом с ними никого не было.

Коноп осторожно подвёл машину к сугробу, наметённому вокруг яранги, и весело крикнул:

– Гостя вам привёз!

– Какомэй, Тутриль! – приветливо сказал Токо. – Смотри, Эйвээмнэу, кто к нам приехал!

– Кыкэ, Тутриль! – запричитала старуха. – В очках, как доктор! Ни за что бы тебя не узнала, если бы Айнана не рассказала. Ну, наверное, Кымынэ рада!

– А ты разве не рада, Эйвээмнэу, что у вас такой знатный земляк? – спросил Гавриил Никандрович.

– Рада, конечно, рада, – торопливо ответила старуха. – Айнана нам столько пересказала! Входите, входите в ярангу. Чайник давно вас ждёт... ещё как увидели вездеход, поставили.

Пригнувшись, Тутриль шагнул в сумерки чоттагина.

Некоторое время он стоял неподвижно у двери, ожидая, пока глаза привыкнут к полутьме.

Первое впечатление – запахи. Прелой собачьей шерсти, дыма костра, квашеной зелени, прогорклого нерпичьего жира и ещё чего-то неуловимого, далёкого и смутного...

Глаза понемногу привыкли к освещению чоттагина. Сначала Тутриль увидел огонь, закопчённую цепь над ним и чёрный чайник. Очаг был обложен поседевшими от пепла камнями. За горящим огнём виднелась пёстрая меховая стенка полога и во всю её ширину – бревно-изголовье, к которому вплотную был придвинут коротконогий столик.

Вдоль стен яранги стояли деревянные бочки с припасами, ящики, на гвоздях висели ружья, мотки лахтачьих и нерпичьих ремней, связки песцовых и лисьих шкур. Под крышей из моржовой кожи на перекладинах вялились олени окорока.

Тутриль шагнул в глубь чоттагина, и Токо услужливо придвинул ему китовый позвонок.

Вошедший следом за Тутрилем Коноп тихо шепнул:

– Ну, что я тебе говорил? Волнуешься?

Тутриль молча кивнул и уселся на китовый позвонок.

Пока хозяйка хлопотала, готовя угощение, гости рассаживались вокруг столика. Гавриил Никандрович вытащил бутылку водки и, ставя её на столик, сказал, как бы оправдываясь:

– По случаю приезда гостя...

– Давненько, однако, я не пробовал водки, – заметно оживился старик. – Айнана говорит: в Нутэне не продают водку. Борются с алкоголизмом... Ну как, Гавриил Никандрович, скоро победу будем праздновать?

– До победы над этим злом, – вздохнул директор, глянув на бутылку, – далековато, прямо скажем... Продажу мы ограничили,

это верно. Так что Айнана правду говорит – борьбу ведём: разъясняем...

– Кстати, где она? – спросил Тутриль.

– Капканы поехала проверять, – ответил старик. – Теперь только к вечеру вернётся. Погода хорошая, чего торопиться в ярангу?

– Это верно: в ярангу чего торопиться? – подхватил Коноп. – Вот в Нутэн она бы старалась поскорее вернуться.

– Это почему? – спросил Токо.

– А потому, – Коноп подтянул чашку поближе к себе. – Там – кино, клуб, хороший дом. Вот перед учёным земляком говорю тебе: чего за ярангу уцепился? Что ты этим хочешь доказать? Какой пример молодёжи подаёшь?

– А мне здесь хорошо, – упрямо и сердито ответил Токо. – Никто не командует, не укоряет, не учит жить... А потом – охотиться отсюда удобнее: далеко ездить не надо.

– И чего в яранге жить? – разошёлся Коноп. – Мы тебе предлагали охотничью избушку поставить, а ты отказываешься, говоришь – яранга лучше. Сильны ещё в тебе пережитки капитализма, товарищ Токо.

Во время этого разговора Тутриль несколько раз ловил какой-то виноватый, извиняющийся взгляд Токо, которому явно было неловко.

Гавриил Никандрович, заметив, что Тутрилю не по себе от этого разговора, сказал:

– Коноп! Откуда у старого Токо пережитки капитализма?

– Как откуда? Он же человек преклонного возраста. Родился и вырос до революции...

– Чукотский народ, как говорил приезжий лектор, прямо из первобытности в социализм переселился, – напомнил Гавриил Никандрович. – Перепрыгнул через рабовладельческое общество, феодализм и капитализм. Один учёный-эвенк книгу написал. Так и называется – «Некапиталистический путь развития народов Севера»...

– Да? – обескураженно протянул Коноп. – Не попадалась...

Хозяйка разлила чай и подала в большой миске испечённые в нерпичьем жиру лепёшки.

Тутриль взял лепёшку, поглядел в дырку и словно увидел себя много-много лет назад, когда вот в такой яранге он ждал, пока мать испечёт в кипящем нерпичьем жиру кавкавпат.

– Вкусно? – тихо спросила Эйвээннэу.

– Очень! – ответил Тутриль.

– Вот! – восторженно воскликнул Коноп, завидев лепёшки. – А в посёлке пекарня, свежий хлеб. Чем гостя угощаешь?

– А мне нравится, – сказал Тутриль. – Детство вспомнил.

Токо отломил кусок лепёшки, пожевал и задумчиво, спокойно сказал, обращаясь к Тутрилю:

– Всё агитирует и агитирует! Как приедет, всё одну песню поёт.

– Но ты пойми, что нельзя так! – немного сбавил тон Коноп.

– Кому я мешаю? – спросил Токо.

– Общей картине, – ответил Коноп. – Выпадаешь как-то, как бы в стороне оказываешься... Добро бы дома у тебя не было, а то ведь есть! Хочешь – дадут с центральным отоплением?

Токо вздохнул и сосредоточенно принялся пить чай.

После чаепития собрались ехать дальше.

– Мало погостили, – сказала Эйвээмнэу. – Побыли бы ещё. Тутриль, ты тоже едешь?

– Я же к вам приехал, – улыбнулся Тутриль. Старик как-то растерянно посмотрел на него, оглянулся на жену.

– Да-да, – торопливо сказал он, – конечно... Эйвээмнэу, разве ты не видишь – Тутриль к нам приехал. Понимаешь, к нам!

– Ну что же, – задумчиво произнёс Коноп. – Можно, конечно, в научных целях и в яранге пожить...

Вездеход умчался.

Токо и Тутриль долго смотрели вслед машине, пока она не растворилась, не исчезла в белой тишине тундры. Напрягши слух, ещё долго можно было слышать шум двигателя, слабое эхо, прокачывающееся по заснеженным долинам к торосистому морю.

11

Ясный день стоял над одинокой ярангой.

После полудня по направлению к Нутэну пролетел вертолёт.

Солнце медленно перемещалось по огромному чистому небу. После обеда Тутриль и Токо выбрались из яранги и уселись на нагретую солнцем старую нарту.

Раскурив трубку, Токо глубоко затянулся и спросил, удивив Тутриля:

– В Русском музее давно был?

– Давненько, – растерянно ответил Тутриль, вспоминая с неожиданным стыдом о том, что был в этом прославленном музее всего раз или два, да и то в студенческие годы.

– Был бы я в Ленинграде, – мечтательно сказал Токо, – дневал и ночевал бы там. Люблю картины. Особенно Айвазовского, который море рисовал... А как там с воздухом?

– С каким воздухом? – не понял Тутриль.

– С загрязнением, – ответил Токо. – Говорят, столько машин нынче развелось, что уже человеку воздуху не хватает... Я это понимаю: когда Коноп отъезжает на вездеходе, я ещё полдня чувствую запах моторного дыма.

– Машин действительно много, – ответил Тутриль, – но воздуха ещё хватает.

– Ты не удивляйся моим вопросам, – сказал Токо. – Я же грамотный человек. Много читаю, слушаю радио: у меня здесь хороший приёмник. Ты не гляди, что живу в яранге, я в курсе мировой политики. Сам всю жизнь строил новое, сносил яранги, ставил первые дома в Нутэне. Ты Конопа не слушай – никаких пережитков капитализма у меня нет... Только обида. Поругались мы с твоим отцом крепко.

– Я знаю, – кивнул Тутриль.

– Поэтому я в ярангу и переселился, – продолжал Токо. – Не могу я с ним согласиться... Не могу... Здесь тоже много думал, старался понять его.

– А Айнану не жалко? Она ведь из-за вас вынуждена жить здесь, – сказал Тутриль.

– А ей здесь нравится, – ответил Токо. – Хотя и грустно...

– Почему?

– Любовь была... И кончилась. Уехал он. Вот ему не понравилось здесь, испугался. Побоялся жить в яранге. Что же, он прав: ведь ярангу он только в букваре увидел... А тебе яранга понравилась. Я это сразу заметил по твоему лицу. Ты ведь родился точно в такой. У нас и яранги одинаковые были, никакой разницы не было. Ты хорошо сделал, что приехал сюда. Я тебя ждал и верил, что приедешь. Я много думал о тебе, пока ты был далеко, учился. Когда ты в письмах вспоминал нас с Эйвээнэу, мне было хорошо на душе: ты же мне был как сын, потому что сын брата всё равно что твой собственный, если считать по старинному обычаю.

– Ты знаешь, для чего я приехал? – спросил Тутриль.

Токо кивнул:

– Айнана мне сказала... Хорошее дело затеял. Иногда, когда задумаюсь о смерти, пугаюсь... Не смерти, а того, что всё уйдёт вместе со мной сквозь облака. В небытие. Почему-то мне казалось, что именно ты придёшь за ними, за моими легендами, за моими сказками...

– В Нутэне Каляна приходила ко мне, хотела рассказать легенду о росомахе, да не смогла... Вдохновение покинуло её, – с улыбкой вспомнил Тутриль.

– А ты не смейся, – строго прервал его Токо. – Она хорошо рассказывает. И легенды о росомахе серьёзные... Какую она хотела рассказать?

– О следе...

– Расскажу как-нибудь, – пообещал Токо. – Потерпи, если не топишься...

– Время у меня есть.

– Вот и хорошо... Мне надо с тобой о многом поговорить, порас-

спросить тебя. Всё же ты учёный человек. Гляжу на тебя, и радуюсь, и не верю: Тутриль – учёный! Кандидат наук называется твоё звание, правильно я говорю?

Тутриль кивнул.

– Говорят, у нашего народа такого ещё не было... И даже у танги-танов не всякому такое звание дают... Это хорошо, что ты приехал за моими сказками и легендами, – повторил Токо и испытующе посмотрел в глаза Тутрилю так, что тот не выдержал и отвёл взгляд.

– Я смотрю на тебя и думаю: сердцем ли ты приехал за ними или по долгу службы?

Тутриль растерялся и поначалу не нашёлся, как ответить.

– Ну, во-первых, у меня командировка есть, ну, конечно, и сердцем...

– Ты мне скажи прямо, вот если бы сейчас тебе сказали: дадим тебе большие деньги, сделаем тебя самым большим начальником, только не слушай старого Токо, – как бы ты поступил?

– Всё равно слушал бы тебя, – с улыбкой ответил Тутриль и снова услышал:

– А ты не смейся... Серьёзное тебе говорю. Поживи у нас. Вернись не только телом своим в ярангу, но и сердцем, и разумом... Я посмотрю на тебя и, когда увижу, что ты готов понять, тогда всё тебе расскажу... Всё, что берёт многие годы. И про след росомахи. О том, что верили раньше люди в то, что идущий по её следу самой-то росомахи может и не найти. А найдёт он или беду, или большую удачу. Или то, или другое... А кому охота так рисковать? Шли только те, кто к вероятности прибавлял ещё и свою уверенность... Стань тем Тутрилем, которому я в детстве любил рассказывать старинные предания...

– Человек обратно во времени не возвращается, – задумчиво заметил Тутриль.

– А тебе не надо возвращаться во времени, возвратись в себе самом, – тихо сказал Токо. – И пусть крылья весенних сумерек напомнят тебе родину.

«Крылья весенних сумерек»... Как удивилась Лена, когда он перевёл свое имя на русский. «Крылья весенних сумерек»? – переспросила она. – Как это красиво! Твой отец – настоящий поэт!»

– А вам тут скучно не бывает? – спросил Тутриль старика.

– Почему тут должно быть скучно? – возразил Токо. – Скучно бывает внутри человека. Здесь у меня много дел. Встаю утром на рассвете, и всё равно времени не хватает. Пойдём, покажу тебе мой завод, – сказал Токо, с громким кряхтеньем поднимаясь с нарты.

С тыльной стороны яранги прямо на снегу стояли самодельный верстак и несколько полуготовых нарт.

– Видишь? – с оттенком гордости спросил Токо. – Никто в нашем районе больше не делает таких. Только я!

Нарты были сработаны прекрасно. Токо мастерил их точно так же, как их делали сотни лет назад, без единого гвоздика, скрепляя только ремнями и деревянными шипами.

– Я ведь понимаю, – с грустью произнёс Токо, – нарт всё меньше требуется. Вездеходы нынче бегают по тундре. Вот, говорят, сюда скоро мотонарты придут. Аэросани. Может, через два-три года нарты уже никому не будут нужны... Но мне всё равно нравится их делать...

Старик вдруг напрягся, прислушался:

– Айнана едет...

Он заторопился в ярангу и вышел оттуда с биноклем.

Приладив к глазам обведённые губчатой резиной окуляры дорогого бинокля, Тутриль увидел среди торосов мелькающую упряжку. На таком расстоянии трудно было разглядеть Айнану, но хорошо было видно, как ловко она направляла нарту между торосами.

Упряжка выехала с морского льда, выбралась на высокий берег и по кромке устремилась к одинокой яранге.

– Она на собаках и в тундре лучше иного парня, – с нескрываемой любовью и гордостью сказал Токо.

– Она красивая девушка, – тихо сказал Тутриль.

Старик ничего не ответил.

Ещё издали Айнана заметила и узнала Тутриля рядом с дедом.

– Етти, – приветствовал её Тутриль.

– Ии, – смущённо ответила Айнана.

– Ты иди помоги бабушке, – сказал ей Токо, – а мы тут с Тутрилем распряжём собак.

Помахивая плёткой, Айнана сняла с нарты трёх закованных песцов и молча скрылась в чоттагине.

– Сердится почему-то, – заметил Токо, глядя ей вслед.

– Может, она недовольна, что я приехал? – спросил Тутриль.

– Как можешь такое говорить? – сердито отозвался Токо. – Она, наверное, стесняется... Когда она вернулась из Нутэна, о тебе только и говорила.

Эйвээнэу, захлёбываясь словами, рассказывала в чоттагине внучке:

– Глядим – кто выходит из вездехода? Сам Тутриль, учёный человек! К нам в гости! Я скорее обратно в чоттагин, разожгла сильный огонь, поставила большой чайник... Натолкла мороженой нерпы – хорошо, вчера старик приволок свежую... Я помню Тутриля мальчишкой. Кто мог подумать, что он станет таким? Вот счастье Кымынэ!.. Я так старалась, чтобы ему у нас понравилось...

– Ну, и что он? – с интересом спросила Айнана.

– Решил остаться у нас, погостить...

– А где он будет спать?

– Поставим гостевой полог, – ответила Эйвээнзэ. – В отдельном пологе ему лучше будет. Спокойнее... А знаешь, наш старик как оживился! Разговаривает с ним, беседует, толкует про разное важное. Мне тут слышно, в чоттагине. О следе росомахи толковали...

– О следе росомахи? – удивилась Айнана.

– О легенде! – с благоговением произнесла Эйвээнзэ. – Как по радио разговаривал. Грамотно. Не ожидала от нашего старика.

Айнана переоделась: сняла белую охотничью камлейку мужского покроя, меховую кухлянку и дорожные белые торбаса.

Вся её охотничья одежда была светлая, чтобы быть незаметной в белой тундре.

Она вышла в чоттагин в тёплом красном свитере и плотных лыжных брюках, заправленных в лёгкие олени торбаса.

12

На западе, перемещаясь к северу, медленно угасало слабое свечение. Небо уже готовилось к утренней заре, такой быстрой в пору длинных и светлых дней. Не было ни ветерка. Тишина накрыла всё огромное пространство. Сонно дремали наметённые сугробы, снежные козырьки на прибрежных скалах, обломки айсбергов, торосы, звери и зимние птицы.

Айнана и Тутриль прошли мимо полуготовых нарт, мимо собак, устроившихся в своих ямках, и оставили позади в голубых сумерках одинокую ярангу.

Тутриль, шагая вслед за девушкой, удивился про себя тому, что тишина может быть такой большой... Другого слова просто нельзя было подобрать к этому удивительному состоянию природы. Не верилось, что в этих местах могут быть пурга, ураганы, когда в снежной круговерти не видно ничего.

– Когда тишина, такая внутри тебя радость растёт, даже пугаться начинаешь, – проговорила Айнана. – Всё слышно: и сердце, и тайные мысли...

– У тебя есть тайные мысли? – улыбнувшись, спросил Тутриль.

– Наверное, у всякого человека они есть, – немного помедлив, проговорила Айнана, – даже самому себе не признаёшься в них. А вот в такой тишине они прямо так и вылезают, пугают...

– Что же это за тайные мысли? – настойчиво спросил Тутриль.

Айнана остановилась, пристально посмотрела на Тутриля так, что он смутился. Какой у неё взгляд... Пронзительный и в то же время тёплый, как бы обволакивающий.

В торосистом море обломки айсбергов словно светились изнутри собственным светом. Почему-то Тутриль вспомнил, как много

лет назад он пароходом плыл из бухты Провидения во Владивосток и ночью наблюдал свечение моря: корабельный винт перемешивал фосфоресцирующую воду, и за кормой, до самого горизонта, оставался светлый след. Может быть, из этой воды и образуются эти светящиеся в темноте льдины?

– Дед всё, наверное, обо мне рассказывал? – пытливо спросила она, продолжая смотреть прямо в глаза Тутрилю.

– А что он мог рассказать? – пожал плечами Тутриль.

– Про всё... А вам нравится яранга?

– Я родился и вырос в яранге, – ответил Тутриль.

– Нет, сейчас она вам нравится?

– Нравится, – не очень уверенно ответил Тутриль, чуя в этом настойчивом вопросе какой-то подвох.

– Пока нравится, – с торжеством произнесла Айнана. – А одному человеку, как сказала я, что будем долго жить здесь, сразу разонравилась... А поначалу всё говорил, говорил: романтика, возврат к предкам, первобытная жизнь... Но всего этого ему только на неделю хватило... У вас на сколько командировка?

– На месяц.

– И всё время думаете жить у нас?

– Ещё не знаю...

Айнана помолчала.

– Наверное, ваша любовь к яранге – это другое... Детство, возвращение в прошлое, в котором вы всё равно не останетесь... Знаете, когда я вас увидела там, у вертолётки, вы мне сначала не понравились, – вдруг заявила Айнана. – Я вообще не люблю, когда к нам проявляют какой-то научный интерес...

– Что, что? – переспросил Тутриль.

– Научный интерес, – подчёркнуто повторила Айнана. – Добро бы тангитаны, а то и наши появились. В прошлом году приезжал Нанок из Анадырского музея. Всё скупал – старые кожаные ведра, драные снегоступы... Он мне тоже не понравился.

– Но почему?

– Ну, как бы вам сказать... Слово он встал в стороне от всех нас, отделился, что ли...

– Значит, и я, по-твоему, тоже отделился?

Айнана не сразу ответила. Она молча шла, широко размахивая руками.

– Я ещё в вас не разобралась, – тихо ответила она.

«Удивительная девушка, – думал про себя Тутриль, наблюдая за ней. – Что она? Действительно такая самостоятельная или нахваталась где-то таких рассуждений? Хотя, в общем, то, что она говорит, поучительно и справедливо».

Разве он сам не чувствует некую отделённость, возвратившись на родину? Если честно признаться, то такое чувство есть. И смо-

трят на него не просто как на своего соплеменника, а как на человека, отмеченного особым знаком, не совсем даже и своего. Ведь никому в Нутэне из тех, кто занимается исконным делом – охотится, работает на звероферме, в косторезной мастерской, – не придёт в голову сделать своей профессией собирание сказок и легенд...

Айнана остановилась и посмотрела на светлый горизонт.

– Пойдёмте в ярангу. Холодно стало, да и спать уже пора...

От распахнутой двери на снег падало жёлтое пятно света, точь-в-точь как в далёком детстве, когда Тутриль с отцом возвращались с ледовитого моря после дневной морской охоты.

Рядом с большим пологом был поставлен второй, крохотный, одноместный, скорее похожий на большой меховой спальный мешок. Передняя его стенка была приподнята и подперта палкой, а в глубине горела белым пламенем стеариновая свеча. Весь пол занимала пушистая оленья шкура, а сверху лежало одеяло, сшитое из пыжиковых лоскутков.

– Как здесь хорошо! – не удержавшись, громко произнёс Тутриль.

– Нравится – живите сколько хотите, – радушно сказала Эйвээнэу. – Нам только приятно.

– Это правда, – поддакнул Токо.

И только Айнана промолчала.

Она быстро сняла верхнюю одежду и проскользнула в большой полог.

Тутриль разделся и влез в свой полог. Завернувшись в пыжиковое одеяло, опустил переднюю стенку, потушил свечу и высунул голову в чоттагин. Закурив сигарету, при свете спички он увидел головы Токо, Эйвээнэу и Айнаны.

Старик разжёл свою трубку.

– Послушаем последние известия?

– Давайте, если никому не будем мешать, – согласился Тутриль. Токо выставил в чоттагин транзистор и поймал станцию.

Мир из этой яранги казался очень далёким, почти недоступным. Меховая стенка занавесила всю многовековую цивилизацию, тысячелетнюю культуру, большие города, расцвеченные морем электрических огней, затопленные половодьем новостей, музыкой, трагедиями, фарсами, вооружёнными схватками, заверениями в любви и преданности, коварством и лестью...

И всё же тот мир прорывался в ярангу радиоволнами, звучал голосами дикторов, бесстрастно сообщающих о событиях во всех концах света. Далёкий мир...

Вот так, в детстве, читая книги, Тутриль пытался одолеть мыслью беспредельность расстояний.

Но жизнь приблизила другой мир, и вскоре Тутрилю пришлось физически окунуться в него на долгие годы, став жителем боль-

шого города. И оттуда уже, из города, неправдоподобно далёкой казалась жизнь в яранге, далёкой не только по расстоянию, но и по времени. Тутриль был убеждён, что ему уже больше никогда не доведётся спать в меховом пологе, завернувшись в пыжиковое одеяло, не придётся высовывать голову в чоттагин, ощущая привычные с детства запахи прелой травы, собачьей шерсти, смешанные с острым, щекочущим ноздри холодным воздухом, пришедшим с ледовитого моря и заснеженной тундры.

Диктор сообщил новости о начале весеннего сева на Украине, о начале курортного сезона в Крыму, о положении на Среднем Востоке, о разногласиях членов Европейского общего рынка...

Выкурив сигарету, Тутриль погасил окурок о земляной пол и повернулся на бок.

Токо выключил радио, и чоттагин погрузился в тишину, которую изредка нарушало сонное дыхание собак.

Тутриль ожидал, что он быстро заснёт, но сладкое забытьё не приходило. Наоборот, в этой тишине, словно обрадованные тем, что они будут услышаны, пришли мысли, перебивая друг друга, набегая одна за другой, как морские волны.

Он ещё раз вспомнил весь разговор с Айнаной. Она, пожалуй, права. Нужно некоторое время, чтобы снова почувствовать себя настоящим жителем яранги. И то, что у него есть некоторый взгляд со стороны, тоже правда. Может быть, именно поэтому и Каляна не смогла рассказать ему легенду о росомaxe, а Токо не торопится открыть ему свои сокровенные хранилища сказок и древних преданий.

Завтра надо будет написать письмо в Ленинград.

Как там Лена? Как её сердце? В последнее время она часто жаловалась на своё здоровье. Всё это отголоски ленинградской блокады. Маленькой девочкой она осталась одна. Сначала умер отец, за ним старший брат, а потом и мать... Полуживую девочку нашли товарищи отца – рабочие Балтийского завода. Они устроили её в больницу, потом помогли разыскать бабушку, перевезли к ней и прикрепили к столовой усиленного питания. Лена иногда рассказывала, как она под бомбёжкой, под обстрелом с противогазом через плечо бегала в столовую. «Только в противогазе ничего не было – так, пустая коробка. В эту пустую коробку я складывала половину того, что давали в столовой, чтобы накормить голодную бабушку...» Бабка померла только в прошлом году. Она была крепкая и здоровая, истово верила в бога и за глаза называла Тутриля нехристом.

А потом мытарства, встречи урывками в общежитии, скитания по углам. Только пять лет назад они наконец получили двухкомнатную квартиру у парка Лесотехнической академии.

Лена, провожая его в эту поездку, сказала: «Я почему-то очень

тревожусь за тебя. Ты так любишь свою родину, что, мне кажется, готов ради неё даже расстаться со мной...». Тутриль ответил так: «Да, я люблю свою родину. И, наверное, когда-нибудь вернусь домой. Но только вместе с тобой...». Но это было сложно. Единственный институт, который занимался научными проблемами чукотского языка, находился в Ленинграде. А научные интересы Лены были далеки от Чукотки – проблемы общей лексикологии романо-германских языков...

В последние годы она всё чаще заговаривала о детях... Ходили к врачу оба. Седая, усталая женщина-врач сказала, что в своё время не надо было отказываться от ребёнка...

Потом мысли обратились к сегодняшнему вечеру, к разговору с Айнаной. Интересно, со всеми она говорит так прямо и откровенно? Если так, то трудно ей придётся. Закрывая глаза, Тутриль каждый раз неотступно видел перед собой разгорячённое разговором лицо Айнаны и слышал её голос... Что же это с ним?.. Уж не влюбился ли?

Эта мысль отогнала надвигающийся сон.

Тутриль осторожно выглянул в чоттагин.

Сонно посапывали собаки, ветер шарил мягкими ладонями по моржовой крыше, по стенам, нечаянно влетал в ярангу, касаясь концом холодного крыла разгорячённого лица Тутриля.

Ему показалось, что шевельнулась меховая стенка большого полога и в чоттагин высунулась головка Айнаны. Может быть, она тоже не спит и думает о том же, о чём и Тутриль?

Сверху светилось дымовое отверстие. Чуть отсвечивали какие-то металлические вещи – шкала транзистора, консервные банки... Тутриль вспомнил, что волосы Айнаны такого же тёмно-коричневого цвета, что и олений мех на пологе...

13

– Тутриль!

Он открыл глаза и не сразу сообразил, где находится. Постепенно почуял сначала дым костра, потом увидел огонь, возившуюся у очага Эйвээмнэу и широко улыбающееся лицо Токо.

– Вставай, – сказал Токо и покосился на груду мехов. – Я тебе приготовил одежду, охотничье снаряжение.

Возражать не было смысла: Токо отправлял его на морской лёд, на припай – добыть нерпу. Хочет испытать, что осталось в нём от морского охотника, от того, чему он учил в детстве.

Тутриль выскользнул из полога и вышел наружу, в яркое прохладное солнечное утро.

Пришлось вернуться за солнечными очками – так нестерпимо блестело всё вокруг до рези в глазах.

Помогая Тутрилю одеваться, Токо напутствовал его:

– Ты иди сначала прямо по припаю, а уж отойдя километров пять, сворачивай влево, к северу. Там сейчас много разводьев. Далеко не уходи, сейчас нерпы везде много.

Тутриль натянул на шерстяное бельё кухлянку мехом наружу, нерпичьи штаны, нерпичьи же короткие непромокаемые торбаса, а поверх всего – белую, тщательно выстиранную камлейку. Камлейка пахла морским ветром и снегом – это была настоящая охотничья камлейка, которая держалась всегда на вольном воздухе, подальше от резких запахов, которые могут въестся в ткань. На спину Тутриль закинул эрмэгтэт – специальный набор ремней, разных бечёвок, костяных пуговиц – и старый карабин в чехле из белой кожи.

– Ружьё у меня пристреляно по центру, – деловито сообщил Токо.

В правую руку Тутриль взял лёгкий посох с противоснежным кружком на кончике, а в левую – вторую палку, со щупом на конце и острым, круто загнутым крючком. В этой же руке он нёс «вороньи лапки» – лыжи-снегоступы, которые он решил надеть, ступив на морской лёд.

Тутриль медленно шёл к торосам, а Токо стоял у яранги и смотрел ему вслед, делая вид, что не слышит жену.

– Разве дело посылать учёного человека на охоту? Что ему делать в море? А если он всё позабыл?

Токо молча вернулся в ярангу, взял рубанок и пошёл к верстаку.

Лёгкое облачко обиды понемногу проходило. В общем, дядя Токо, как всегда, прав. Надо было пойти на охоту, глотнуть настоящего морского воздуха, походить в кухлянке и в торбасах. Всё это должно было вернуть Тутриля в жизнь, которую он покинул много лет назад. В свою жизнь, в жизнь людей, родившихся и выросших на берегу ледовитого моря.

Тутриль прошёл первую гряду торосов, образовавшуюся от движения осеннего молодого льда, и вышел на сравнительно ровную поверхность, которая и являлась собственно припаем.

Вторая гряда была пониже. Она была границей, за которой уже начиналась стихия морских течений, сжатий, глубоких трещин до самой океанской воды и разводий, где плескались весенние нерпы.

У первого же разводья Тутриль построил себе ледовое убежище – засаду из нескольких плоских льдин, отгородив себя от воды. Сделал небольшую бойницу, укрепил в ней кончик ствола с мушкой и уселся поудобнее в ожидании нерпы.

В тишине моря слышались шорохи трущихся друг о друга льдин, осыпающегося подтаявшего снега, плеск воды и тонкий звон, странно удаляющийся, если прислушаться к нему.

Казалось, в такой тишине должны приходить глубокие мысли, но хотелось ни о чём не думать, а просто слиться с этим огромным, чистым и ясным пространством.

Лишь изредка Тутриль смотрел на гладкую водную поверхность, но ничто не указывало на то, что под неподвижным зеркалом воды таится своя жизнь. И он вздрогнул, когда вспоролась водная гладь и показалась нерпичья голова, гладкая, блестящая, словно отлакированная. Огромные глаза с тревожным любопытством озирались кругом, словно искали спрятавшегося за ледовым убежищем Тутриля.

На секунду Тутрилю показалось, что он встретился глазами с нерпой, с этим удивительно человеческим взглядом, в котором таились и мысль, и тревога, и любопытство...

И если бы не было встречи глазами, он бы давно выстрелил. Но эти глаза...

«Энмэн... В стародавние времена пошёл охотник во льды на промысел нерпы. Он шёл проторённой тропой морских охотников, ибо это было дело его предков, отцов и братьев... Только в прошлом году его старшего брата унесло на льдине, когда неожиданно задули ураганные ветры. Осталась после него вдова, и по старинному обычаю младший брат на себя взял заботу о ней...

Идёт охотник по льду и видит – лежит на льдине нерпа, большая, весенняя, с толстым пушистым мехом. Спит нерпа под лучами весеннего тёплого солнца, не подозревая, что смерть крадётся за ближайшим торосом.

Уже близко охотник, и копьё крепко зажато в руке, мускулы напряжены... Но тут нерпа подняла голову и посмотрела на охотника человеческими глазами... Где же он видел эти глаза, широко раскрытые, добрые?

И вспомнил охотник – это глаза его брата, унесённого прошлой весной на льдине в открытое море.

Значит, правду говорят старинные предания, что человек, покинувший по воле ветра родные берега, становится тэрыкы – оборотнем. Приглядевшись, охотник увидел, что это не нерпа перед ним, а человек, вместо лап у неё – ноги и руки, и только всё тело покрыто короткой густой шерстью, похожей на нерпичью.

И сказал брат человеческим голосом: «Не убивай – я твой брат...».

Опустил копьё охотник и ушёл без добычи домой.

И с тех пор перестал удивляться и искать виновного, когда пропадало мясо из хранилища, или по ночам вдруг собаки начинали беспокоиться и лаять, кто-то входил в чоттагин, колыхал меховую занавесь полога... И не удивился, когда вдова погибшего вдруг родила сына...»

Эту древнюю легенду Тутриль слышал от дяди Токо ещё в дет-

стве, и сейчас ему казалось, что оттуда, с морской стороны, из-за торосов исходит глуховатый, проникновенный голос, повествующий о давнем...

Нерпа бесшумно плыла прямо на Тутриля, лишь журчала вода и в ушах звенело от напряжения.

Он шевельнулся, и нерпа исчезла под водой.

Тутриль медленно шёл к берегу.

Он не торопился в ярангу Токо, размышляя о случившемся. Значит, он настолько переменялся, что уже не может хладнокровно выстрелить в эти смотрящие в упор на него глаза? Почему же так? Ведь чукотские охотники бьют нерп, но не становятся от этого жестокосердными?

У одинокой яранги стояли Токо и Айнана. Девушка держала в руках ковшик с водой, чтобы встретить охотника и дать «напиться» добыче.

Токо внимательно смотрел в бинокль. Снег скрипел и оседал у него под ногами.

Отняв от глаз бинокль, он коротко сказал Айнане:

– Унеси воду...

14

В тот вечер Токо ничего не сказал, встретив возвратившегося с охоты Тутриля. Он лишь пристально посмотрел на него.

Молча поужинали, и на этот раз Тутриль даже не стал слушать по радио последние известия.

И не удивился, когда на следующее утро его снова разбудил Токо.

От утреннего морозца всё было звонко – чистый воздух, маленькие сосульки, выросшие за ночь на яранге, подмёрзший снег и образовавшийся на нём наст.

Тутриль уже не нашёл вчерашнего разводья – льды сомкнулись на этом месте, а вода открылась в другом конце припая. В эти весенние дни, когда открытая вода уже просматривалась на горизонте, ледовый покров океана «дышал». Ледяные поля смыкались и размыкались, открывались новые трещины, и весенним нерпам не было нужды искать вольную воду – она была повсюду.

И сегодня Тутриль не ушёл далеко от одинокой яранги.

Соорудив ледовое убежище, он уселся в ожидании нерпы. Он старался ни о чём не думать, чтобы уже ничто не могло помешать ему выполнить свой охотничий долг. Когда на воде с лёгким всплеском появилась нерпа, он, почти не целясь, нажал на спусковой крючок.

Выстрел разорвал тишину, наполнил грохотом всё огромное

пространство, и Тутриль удивился тому, что один выстрел произвёл столько шума.

Кровавое пятно расплывалось по воде там, где только что виднелась нерпичья голова. Нерпа не пошла ко дну – весенние нерпы не тонут, об этом Тутриль хорошо помнил. Он размотал кожаную бечеву-акын с деревянной грушей, утыканной острыми металлическими крючьями, и выловил добычу из воды. Пока он это делал, пятно на воде расплылось и радужная плёнка под действием лёгкого ветерка ушла под лёд, словно здесь ничего и не было.

Тутриль подтянул нерпу на ледяной берег, вытащил её и уселся в ожидании следующей.

Он старался найти в своей душе ту радость, которую он ощутил много-много лет назад, когда добыл первую нерпу. Тогда дядя Токо взял его с собой в море после долгих просьб, горячих обещаний слушаться во всём и учиться хорошо.

Это тоже было весной, может быть, в эту же пору Длинных Дней, когда сердце полно тревожного ожидания и неясных предчувствий. Сколько было ликующей радости, когда пуля, выпущенная из мелкокалиберной винтовки, поразила нерпу, с любопытством взирающую на мальчишку в белых камусовых штанах!

В ту ночь, после возвращения с охоты, дядя Токо проделал обряд посвящения в охотники, помазав лоб Тутриля свежей кровью и произнеся шёпотом заклинания, обращённые к морским богам.

Вторую нерпу за сегодняшний день Тутриль добыл, когда день перевалил на вторую половину.

Странное у него было чувство, когда он тащил по припаю двух нерп, оставляя за собой кровавый след. Он начинал понимать дядю Токо, снявшего с него привычную одежду и пославшего его в море, прежде чем рассказывать старинные легенды и предания. Он думал о себе как бы со стороны, и для него не было ясно, который же настоящий Тутриль: тот ли, кто не решился поднять руку на нерпу, пожалевший живое существо, или вот этот, который тащит за собой двух нерп, оставляя позади на белом снегу алый след?

И снова, как в первый раз, у яранги стояли двое – Токо и Айнана.

Тутриль подтащил добычу к порогу и устало скинул упряжь. Айнана с сияющим лицом медленно и торжественно «напоила» нерп и подала остаток воды охотнику.

Тутриль с удовольствием попил воды из старого жестяного ковшика, выплеснул несколько оставшихся капелек в сторону моря и только после этого посмотрел в глаза Айнане, улыбнувшись ей.

– Поздравляю, – тихо сказала она и помогла втащить туши в чоттагин.

Снимая с себя охотничью одежду, Тутриль, как это полагалось, рассказал о состоянии льда, о направлении течений, которые хорошо угадывались по грядам битого льда.

Токо слушал молча и изредка кивал.

За вечерней трапезой, когда были обглоданы косточки и в большие чашки налит крепкий чай, Токо сказал долгожданное:

– Энмэн!

Этим словом начинается долгое повествование, сказка, легенда или же историческое сказание.

Токо вспоминал о далёком времени изначальной жизни, когда человек только что осознал себя главным и верховным существом среди живых существ, населивших землю, водное пространство и небо.

...Не было ничего – одно лишь пустынное пространство, простиравшееся беспредельно. Тьма, густая, как моржовая остывшая кровь. Холод. Никто ничего не знал, и обиталища богов находились по другую сторону вселенной, не предназначенной для человека.

Неведомо откуда появилась птица. И она летела, не ведая направления, не зная, где верх, где низ, пока не наткнулась на твердь. Стала она клевать эту твердь своим острым клювом и пробила дырочку. Оттуда хлынул свет. С непривычки птица чуть не ослепла. Она зажмурилась, отлетела в сторону и медленно открыла сначала один глаз, потом другой. Отверстие, которое птица проклюнула, увеличивалось, занимая всё окружающее пространство. И впервые птица оглядела себя, узнала, что у неё есть крылья и перья. Но поскольку птица была из тьмы и сама раньше была частью беспредельной изначальной тьмы – она была чёрная.

Птица та была Ворон.

Ворон видел, как тьма отступала перед светом, а свет заполнял всё пустынное пространство. Источник света – солнце стояло высоко в небе, озаряя своими щедрыми лучами широкую водную гладь, без земли и без берегов.

Ворон расправил крылья и полетел.

Он рассекал неподвижный, никогда не знавший ветра, снега и дождя воздух и смотрел вниз.

Долго летел Ворон. Устали крылья, но сесть было некуда – кругом лишь беспредельная вода да неизмеримое пространство.

Ворон уронил одно маховое крыло – и вдруг на водной глади возник остров.

Упало маленькое пёрышко с груди – возник небольшой островок.

Тогда Ворон выклевал из себя перья – и возникли земли: острова, большие и малые.

Так была создана Земля, и засияло над ней Небо, по которому плыло великое Солнце – источник света и тепла.

О зарождении жизни, о появлении первоначального человека повествуют пространные сказания.

Первый человек возник сразу и отовсюду. От зверя, от камня, от рассвета и заката, от проходящего облака. Ибо вся вселенная была переполнена подобием человека, которое неуловимо для праздного взгляда. Одни люди произошли от Кита. Те составили впоследствии приморский народ, охотников на плавающего зверя. Другие от Оленя, третьи – из Камня...

...За каждым произнесённым Токо словом у Тутриля возникало воспоминание детства. Такая же яранга в прибрежной части селения. Зимние вечера, когда недолгое низкое солнце торопилось уйти за горизонт. С наступлением сумерек в каждой яранге зажигали площадку-маяк – смоченный в тюленьем жиру мох. Светлые пятна на снегу были видны издали, и возвращающиеся с морского льда охотники держали на них направление.

Стояли мужчины, женщины, старики и дети. Ждали кормильцев.

А потом рассказ о морских течениях, дрейфующих льдах. За этим рассказом следовали легенды и сказания.

Он продолжал и в другие вечера, словно предвосхищая появление нынешних многосерийных телевизионных фильмов. Тутриль слушал эти повествования, и в его сознании воссоздавалась картина прошлого, история освоения трудной земли.

Утром Тутриль вставал на заре, вместе с отцом. Он уходил в густую синеву ледовитого моря, а он отправлялся в школу, в класс, где на учительском столике стоял зелёный глобус, а на стенах висели карты полушарий.

А вот как родилась песня у человека.

...Песня родилась раньше речи, ибо песней человек выражал главные чувства – радость, любовь и гнев...

Среди многих живущих людей был юноша. Он отличался особенной силой, ловкостью и почитался лучшим охотником и добытчиком зверя. Однажды, бродя в тундре, у подножия высоких горных хребтов встретил он девушку необыкновенной красоты. Она сидела на сухом пригорке, и вокруг неё не было снега – он растаял от её присутствия. Красота девушки была такая, что трудно было смотреть на неё – словно глядишь на солнечный диск.

И всё же отважный юноша приблизился к ней.

Они полюбили друг друга, но каждый раз, едва солнце склонялось над горизонтом, девушка уходила от любимого, растворялась в лучах вечернего заката.

То была Дочь Солнца.

И когда юноша попытался задержать её, она сказала: «Если я останусь в тени ночной земли, я погибну и вся моя красота увянет, как увядают к осени прекрасные цветы тундры».

Опечаленный юноша отпустил Дочь Солнца.

Всю ночь он думал, как быть. С каждым разом ему всё труднее было отпустить Дочь Солнца от себя.

Пошёл юноша посоветоваться к мудрым шаманам. И сказали они: «Если хочешь сохранить жизнь и красоту Дочери Солнца, если хочешь оградить её от стужи ночной тени, добудь росомаху и мехом её защити красоту своей любимой».

И пошёл юноша по следу росомахи... Но это уже другое повествование...

В этот вечер усталый Тутриль не записывал и не включал магнитофон. Он ещё был таким, как днём во льдах, возле разводья, под огромным весенним небом, – возвратившимся к самому себе.

15

Тутрилю показалось, что он спал всего несколько минут.

Его разбудил ветер и тающий снег на лице.

Он, видимо, так и заснул, высунув лицо в чоттагин.

Токо разжигал костёр.

– Запуржило, – сообщил он Тутрилю вместо приветствия. – Весенняя пурга. Не знаешь, когда кончится. Может, и через час прояснится и утихнет, а может, дней через десять. Скучно тебе в такую погоду сидеть в яранге со стариками.

– А где Айнана? – невольно вырвалось у Тутриля.

– Спит, – тихо ответил Токо. – Она ещё любит поспать, молодая. Я считаю так: старость у человека начинается, когда он рано просыпается по утрам...

– Да я уже проснулась! – весело заявила Айнана, высунувшись из полога.

Сон освежил девушку, и она, несмотря на олени шерстинки, прилипшие к волосам, выглядела так, точно только что искупалась в студёной воде тундрового ручья.

Айнана выскользнула из полога.

Появилась Эйвээнэу с деревянным блюдом.

Пришлось и Тутрилю выбираться из своего полога-мешка.

Он потёр ладонями лицо.

– Будем умываться? – спросила его Айнана.

– А где? – беспомощно оглядевшись, спросил Тутриль.

– К сожалению, на улице, в пурге, – улыбаясь, объяснила Айнана, – а можно и в чоттагине. Я полью вам из ковшика.

Тутриль умылся, побрился механической бритвой, оказавшейся у Токо, и почувствовал себя свежим, хорошо отдохнувшим.

Ветер сотрясал ярангу, врвался вместе со снежинками в чоттагин, тревожил пламя костра, но в древнем жилище было уютно. Особенно вблизи огня, рядом с потрескивающими деревяшками.

Айнана притащила какие-то консервные банки.

– По случаю непланового выходного дня сегодня на завтрак будет мороженое, – объявила она, открывая охотничьим ножом банку со сгущённым молоком.

Молоко на морозе застыло и на вкус было похоже на сливочное мороженое.

Утреннее чаепитие продолжалось долго.

Приёмник сообщил последние известия. Покрутив его, Айнана поймала музыку и, помыв посуду, вытащила свои инструменты, разложив их на том же низком столике, на котором только что пили чай.

Тутриль примостился рядом. Он с интересом разглядывал маленькие напильнички, ножички, свёрла, тисочки и какие-то загнутые крючочки.

– Хороший у меня инструмент? – с гордостью спросила Айнана.

– Прекрасный, – ответил Тутриль, искренне любуясь тщательно отделанными никелированными инструментами косторезного искусства.

– А ведь это хирургические инструменты, – с улыбкой сказала Айнана.

– Хирургические? – удивился Тутриль.

– Да, – смеясь подтвердила Айнана. – Я заказала их в магаданском магазине медицинской техники.

– Остроумно! – заметил Тутриль.

– Как узнали в мастерской, снарядили в Магадан завхоза, и он закупил там всяческого оборудования на тысячу рублей... А это узнаете?

Айнана показала на стоящий в тёмном углу чоттагина какой-то станок.

– Что-то знакомое, но припомнить не могу, – пробормотал Тутриль.

– Это же бормашина!

От этих слов Тутриля передёрнуло.

Айнана вытащила два полуготовых моржовых клыка и принялась полировать их куском сукна.

– А что ты нарисуешь на этих клыках? – спросил Тутриль.

– Я ещё не знаю, – неопределённо ответила Айнана. – Всё жду, что дедушка расскажет. В прошлый раз я рисовала легенду о Пичвучине.

Легенда о Пичвучине... С детства знакомые образы смелых охотников, застигнутых бурей в море. Они уже отчаялись и не надеялись больше увидеть родные берега. И вдруг впереди на льду какая-то странная пещера, сшитая из меха гигантского оленя. Втащили туда охотники свою байдару и стали там пережидать бурю. Лежат они на тёплом меху и радуются, что нашли такое чудное убежище. Утром видят: что-то огромное ползёт вовнутрь, да не

одно, а целых пять! Одно чудовище вдруг отделилось и поползло в ответвление пещеры. Схватили охотники копья. Кто-то загрохотал громом за стенами пещеры, содрогнулся воздух, и услышали люди вскрик. А чудовища тем временем проворно отползли назад. Тогда самый смелый из охотников выглянул из пещеры и увидел великана, стоящего по колено в открытом море. В одной руке он держал кита и ел его, а другую руку тщательно рассматривал – эти вползшие чудовища были пальцами руки великана! А пещера, в которой пережидали охотники бурю, оказалась рукавицей.

«Это Пичвучин!» – сказал охотник. И все обрадовались, потому что Пичвучин был добрым и великодушным существом. Обликом он был в точности как человек, только всё у него было очень большое. На утреннюю трапезу ему было как раз двух китов достаточно. Ложась спать, он отламывал вершину ближайшей горы и клал под голову вместо подушки.

Пичвучин догадался, что в рукавице люди. Он осторожно вытащил оттуда байдару и посадил в неё людей. Когда он заглянул в рукавицу своим огромным глазом, сияние было такое, что все зажмурились. Посадив людей, он легонько дунул, и поднятый парус наполнился попутным свежим ветром, который ходко гнал байдару до самого родного берега...

Такова была одна из самых распространённых легенд о Пичвучине.

– Об охотниках и Пичвучине? – спросил Тутриль.

– Нет, сначала о рождении Пичвучина, – ответила Айнана. – Ведь Пичвучин родился обыкновенным человеком, а потом стал великаном...

– Все люди рождаются обыкновенными, – заметил Токо. – Только потом человека отделяют именем от других, обозначают его.

– Но как пришло в голову моему отцу назвать меня Тутрилем? – спросил Тутриль. – Не слишком ли красиво?

– Имя даёт не обязательно отец, – заметил Токо. – Имя может дать близкий друг семьи. Иногда он один сохраняет спокойствие и ясную голову в радостной и бестолковой суматохе появления нового человека... Тот день был хороший, – продолжал Токо, – добычливый.

– И я помню, – вступила в разговор Эйвээмнэу. – Охотники с утра ушли на припай бить весеннюю нерпу, и Кымынэ очень беспокоилась, потому что поднимался южный ветер. Боялись, что оторвёт припай, унесёт охотников.

– Вы это так хорошо помните? – с удивлением спросил Тутриль.

– Рождение человека не такое событие, чтобы его забыть, – сказала Эйвээмнэу.

– Мы тогда ещё не старые были, – рассказывала Эйвээмнэу. – В ликбезе учились у нашего Роптына, который нынче Совет возглав-

ляет... А Кымынэ рожала тебя с помощью доктора. Девушка была молоденькая, Вера Семёнова. Как услышали в селении, что Кымынэ будет по-новому рожать, так повалили в ярангу любопытные. Пришлось их отгонять... Комсомольцы мы тогда были...

– Бабушка, неужели ты вправду была комсомолкой? – с улыбкой спросила Айнана.

– А почему ты смеёшься? – недовольно ответила Эйвээмнэ. – Ты вспомнишь свой смех, когда тоже будешь бабушкой и станешь внукам рассказывать, какой была.

– Не сердись, эпэкэй, – Айнана продолжала с улыбкой. – Я ничего плохого не хотела сказать. Я знаю, что буду смешной, когда вспомню, как была комсомолкой.

– Почему смешной? – не поняла Эйвээмнэ. – Ничего смешного нет.

– Ну хорошо, – миролюбиво сказала Айнана. – И вправду, что тут смешного? Расскажи лучше, как по новому обряду появился на свет Тутриль.

– Сначала пришла шаманка Вэтлы, – продолжала Эйвээмнэ. – Однако её в ярангу не пустили. А мы, подруги Кымынэ, сидели в чоттагине и грели воду. В большом котле и в чайнике... Когда я свою Эймину рожала, столько воды не грели... Гадали, отчего такой жадный до воды ребёнок? Чай, что ли, любит?.. Я подавала воду в полог, а там, кроме жирника, зажгли принесённую из больницы большую керосиновую лампу. Светло в пологе, как на улице в солнечный день. С потолочных перекладин идола глядят, будто наблюдают, как ты, значит, на свет рождаешься... Ну, значит, появился ты, закричал, заплакал, как полагается, а тут и весть пришла, что возвращаются наши охотники. Вера Семёнова заторопилась: её муж, учитель, тоже на охоту ходил. Наказала мне следить за роженицей и убежала. А я осталась. Смотрю я на тебя – ну ничего такого не вижу, обыкновенный парень. Жмуришься на яркий свет, глаз не открываешь – керосиновая лампа мешает. А Кымынэ попросила меня помазать жертвенной кровью домашних идолов в благодарность за твоё благополучное прибытие. Помазала, а потом мы вместе и пошли на берег...

– С роженицей? – удивилась Айнана.

– И с новорождённым тоже, – спокойно ответила Эйвээмнэ. – Погода тогда была хорошая – ветер утих, и словно большая добрая птица осенила крыльями Нутэн... И радость была сильная: охотники благополучно вернулись с добычей, и новый человек появился. Гости приходили в ярангу, подарки получали, имя спрашивали. Тогда и сказал Токо: «Тутриль – имя новоприбывшего...». А Иваном уже в школе назвали...

– А я ведь этого не знал, дядя Токо, что вы мне имя дали, – благодарно произнёс Тутриль.

– Я исполнил долг перед другом, – с достоинством сказал Токо.

– Спасибо вам, дядя Токо...

– А отчество когда появилось? – спросила Айнана.

– Это уже когда я паспорт получал, – ответил Тутриль.

После обеда Тутриль достал блокнот и подробно записал рассказ о своём появлении на свет.

Писал и изредка посматривал на Айнану.

Она была поглощена работой. Заострённым концом металлического резца закрепляла на моржовой кости карандашный рисунок. Руки, колени, подол камлейки и даже одна щека были обсыпаны, словно желтоватой пудрой, мелким костяным порошком.

На верхней губе выступили мелкие капельки пота, влажная прядь волос упала на лоб.

И в который раз Тутриль почувствовал в груди странное тепло и пугающее желание обнять её, прижать к себе, маленькую, нежную...

Яранга сотрясалась от порывов ветра, и сверху, с дымового отверстия, на пол чоттагина сыпались снежинки. Они падали и на склонённую голову Айнаны и не таяли на волосах.

Тутриль осторожно смахнул с макушки Айнаны снег.

Она вопросительно посмотрела на него.

– Там был снег.

– А я и не чувствую, – слабо улыбнулась Айнана и отставила моржовый бивень. – Когда я работаю, ничего не слышу и не вижу. Только рисунок... Так интересно, будто ты сам создаёшь, воскрешаешь ту жизнь...

– Тебе нравится рисовать то, что было? Старый Нутэн? – спросил Тутриль.

– Там можно выдумывать, – ответила Айнана. – Есть простор для мечты. Если на сегодняшней стороне нарисуешь что-нибудь от себя, обязательно спросят: а разве такое было?..

Айнана взяла моржовый бивень. Половина старого Нутэна уже обрела свои очертания. На берегу снаряжали на охоту байдару. От яранг спускались охотники. Несли ружья, гарпуны, несколько человек тащили свёрнутый парус. Тутриль нашёл свою ярангу и увидел женщину с ребёнком...

– Это я ещё раньше набросала, – пояснила Айнана. – В старом Нутэне я рисую яранги, домики такими, какими они были на самом деле. А люди у меня всегда разными делами занимаются. Помните, на том бивне, который вы видели в доме у меня в Нутэне, вот здесь делали байдару?

– Ну, помню, – кивнул Тутриль.

– Вот она теперь, эта байдара, уже готовая, – показала Айнана.

И тут Тутриль понял, что Айнана воссоздаёт жизнь на моржовом бивне точно так же, как, наверное, это делает писатель на

страницах своих книг. Вспомнилось где-то прочитанное интервью с Хемингуэем. Журналист спрашивал, что в книгах знаменитого писателя выдуманно и как эта выдумка соотносится с реальной жизнью. На это Хемингуэй ответил, что действительность в его книгах – большая реальность, чем то, что происходит в так называемой живой жизни...

– А ты настоящая художница... – тихо сказал Тутриль.

Айнана подняла на него полный благодарности взгляд:

– Правда, вам нравится?

16

Ветер сразу отшиб дыхание, и Тутрилю пришлось остановиться и постоять некоторое время. Рядом, не выпуская его руки и отвернув лицо, Айнана боролась с ветром, стараясь удержаться на ногах.

Они почти ползли по снегу. Тутриль тащил топор, Айнана несла ведро, сразу же наполнившееся снегом и ветром.

Увэран – подземное мясное хранилище – находилось над берегом, и крышкой ему служила старая, побелевшая от времени костяная китовая лопатка, придавленная большим камнем.

Камень пришлось сначала расшатать, он примёрз, но, к счастью, не был занесён снегом.

Трудно что-нибудь уловить обонянием при таком ветре, но едва только Тутриль отодвинул в сторону китовую лопатку, как на него из глубины земляной ямы пахнуло знакомым с детства прокисшим копальхеном. Спустившись, он отбил кмыгыт и вытащил его на поверхность. Здесь он отрубил несколько кусков. Айнана подобрала их и сложила в ведро.

– Давно не ели копальхен? – спросила она.

– С тех пор как уехал из Нутэна.

Он отсёк топором тонкий кусок и положил в рот. Странное было ощущение. В общем, копальхен – это слегка подгнившее мясо, точнее, кожа моржа с полоской жира и мяса.

Айнана выжидательно смотрела, как Тутриль ел копальхен.

– Ну как?

– Ничего, – ответил Тутриль.

Тутриль примечал, что Айнана как бы испытывает его, выясняет, остался ли он настоящим чукчей или начисто утратил качества лыгьоравэтьлана.

Нарубив корму для собак, Тутриль и Айнана побрели к яранге, стараясь не отрываться друг от друга.

А ему было радостно оттого, что он безо всякого отвращения и безгловости ел старый прокисший копальхен, предназначенный для кормления собак.

Обратный путь к яранге одолевали долго, часто останавлива-

лись, чтобы взять верное направление. Разговаривать было невозможно, и Тутриль, поглядывая на озабоченное, припорошённое тающим снегом лицо Айнаны, был охвачен такими же, как эта снежная круговерть, смятенными мыслями. Кто же он сам? Учёный, кандидат наук... В ленинградском институте его уважают, ценят, при всяком торжественном случае сажают в президиум, выдвигают в комиссии, демонстрируют иностранным делегациям, каждый раз подчёркивая, что вот он, Тутриль, родился в яранге, вышел, так сказать, из первобытности в социализм. До какого-то времени это было даже приятно... А однажды, когда Тутриль на международном симпозиуме сделал доклад на английском языке и это обстоятельство потом особо подчёркивали, кто-то сказал: «Когда же перестанут восхищаться тем, что ты, идя по Невскому проспекту, при этом ещё не держишь в зубах кусок сырого мяса?».

Тутриль полюбил Ленинград. Этот город стал как бы второй родиной Тутрилю. Не только потому, что он здесь получил высшее образование, учился в аспирантуре, полюбил и женился. Нет, главное то, что именно здесь Тутриль обрёл уверенность в себе. Откровенно говоря, первое время в Ленинграде он чувствовал себя не только временным жителем, но и людское окружение для него было поначалу чуждым. Он считал, что вот пройдёт время, и он вернётся в привычную обстановку, к ярангам, охоте на моржа и нерпу, в знакомую атмосферу причудливого смешения мифологических и волшебных представлений о мире с научным видением.

...Шли годы учения, Тутриль получал из дому письма, и между скупых строк, неумело написанных отцом, в старательно выведенных, словно вышитых матерью буквах читал о больших изменениях в родном селении, на всей Чукотке. В его отсутствие произошло переселение из яранг в дома. Можно было только представить, каково было расставаться с привычным, испытанным тысячелетиями жилищем. Строилась новая Чукотка, а его, Тутриля, там не было. Он жил вдали, не слышал грохота машин на новых комбинатах, тихого плача стариков, которые, стиснув зубы, жгли потемневшие от копоти и жира деревянные остовы покинутых яранг и зябко входили в залитые дневным светом комнаты, с непривычки такие просторные... Люди шли вперёд, зная, что идущие быстро часто оставляют позади и дорогое... Всё это время Тутриль просидел в прохладных залах Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, рылся в книгохранилищах Академии наук, составляя картотеку словарного состава чукотского языка, штудировал фольклорные тексты, записанные ещё Богоразом-Таном, разбирал экспедиционные записки своего учителя Петра Скорика, бывшего когда-то учителем в Уэлене. Тутриль читал чукотские газеты и каждый раз волновался, словно при живом сви-

дании, встречая знакомые имена. А сам он свыкался с городской жизнью и уже не думал так часто о покинутой родине. Нет, он не забыл о ней, тосковал по ночам, просыпаясь от неожиданного воспоминания. Он повернулся к Айнане, рукой она показывала вперёд. Там мелькнуло что-то тёмное. Это была яранга. Пурга обходила стороной конусообразное жилище, и возле самих стен снегу почти не было. Тутриль скатился с сугроба, следом – Айнана. Она упала в объятия Тутриля. Очувтившись близко, лицом к лицу с ним, так, что смотреть было больно, она хотела было отвернуться, но коснулась губами губ Тутриля и уже не могла оторваться...

– Как это хорошо! – тихо проговорила она и приблизила своё лицо к лицу Тутриля, втянула в себя воздух, сказала: – Пахнет снегом и ветром.

Она ещё раз поцеловала Тутриля, а потом горестно улыбнулась, смахнула рукавицей налипший на ресницы снег.

– Если бы пурга была вечной! И вы не могли бы уехать отсюда!

Из-за грохота бури они почти не слышали друг друга, но понимали каждое слово.

В чоттагине было уютно и спокойно. Пурга осталась за порогом, за закрытой дверью.

Тутриль взял протянутую Айнаной снеговывивалку – гнутый отросток оленьего рога – и тщательно выбил снег с кухлянки, торбасов, рукавиц.

Ярко горел костёр. Эйвээмнэу мяла нерпичью шкуру, распялив её на доске. Токо возился у полога с каким-то прибором.

– Я собирался искать вас, – сказал он, глядя на отряхивающихся Айнану и Тутриля. – В такой ветер легко направление потерять.

– Что это вы чините? – с любопытством спросил Тутриль.

– Рацию.

– Разве у вас есть рация?

– Полагается, – деловито ответил Токо. – В пургу, в ненастье или если что случится, положено выходить на связь с Нутэном два раза в сутки. В четыре у меня сеанс...

Токо натянул на седую голову наушники, покрутил рычаги и с удовлетворением произнёс:

– Ожили. Батарей у костра погрел. Заработали.

Покормив собак и вымыв руки, Айнана снова уселась у столика, склонившись над моржовым бивнем с бледными очертаниями летнего селения Нутэн.

Токо наладил радиостанцию, покрутил рычажки.

– Алло! Алло! Говорит яранга! Говорит яранга! – Старик повернулся к Тутрилю и, прикрыв ладонью телефонную трубку, пояснил: – Это мои позывные...

Кто-то, видимо, отозвался, и деловитым и будничным голосом Токо сообщил, что в яранге всё в порядке.

– Больше новостей нет, – сказал он в заключение. – Да, да... Гостем интересуетесь? Гость тоже хорошо чувствует себя и в Нутэн пока не собирается... Не беспокойтесь, Никандрыч... Хорошо, сейчас передам трубку. Никандрыч хочет с вами поговорить... Держите трубку. Когда слушаете, отпускайте вот эту кнопку, а когда говорите – нажимайте...

Слышимость была хорошей. Гавриил Никандрович спросил о самочувствии, поинтересовался, не собирается ли Тутриль в Нутэн.

– Собираюсь, – ответил, оглянувшись на Айнану, Тутриль. – Передайте отцу и матери: скоро приеду.

– Если надо, пошлём за вами вездеход. Коноп по компасу доберётся.

– Не надо никого посылать, – отказался Тутриль. – Кончится пурга, Айнана меня привезёт.

Тутриль кивнул на рацию с улыбкой.

– Не думал, что мне придётся из яранги по телефону разговаривать.

– Хорошая штука, – отозвался Токо. – Её можно и на нарту поставить. Кати себе по тундре и беседуй.

– Девочки на почте говорят, что можно даже с Москвой соединиться через их станцию и Анадырь, – добавила Айнана.

За стенами яранги выла и бесновалась весенняя снежная пурга, гуляя по широкому простору тундры и ледового моря.

17

В Нутэне бушевала пурга.

Школа была закрыта, но работали магазин, пекарня, почтовое отделение. Люди ходили на работу группами, старались держаться друг друга.

Долина Андреевна и Коноп брели к дому Онно.

Остановившись передохнуть, Коноп сказал:

– Почаще бы дула пурга для нас с тобой.

– Почему? – спросила Долина Андреевна.

– Это лучшая погода для тебя и для меня, – ответил Коноп. – Никуда не надо ехать. Это раз. Второе – твои читатели сидят по домам, и мне с тобой можно гулять по улице.

– Коноп, – строго произнесла Долина Андреевна и, глотнув ветра со снежинками, закашлялась. – Сколько раз я тебе объясняла, что нам нельзя афишировать нашу связь. Ты же знаешь: моё положение в селе, моё общественное лицо...

Ветер не дал ей договорить, потащил дальше.

Перебежав несколько десятков метров, Коноп и Долина Андреевна схоронились под железной стеной склада.

Коноп заботливо стряхнул снег с платка спутницы.

– Может быть, всё-таки поженимся? – жалобно спросила она.

Коноп усмехнулся:

– Кто же делает предложение в такую пургу? А потом: я должен просить у тебя руки и сердца... Кажется, так?

– С тобой нельзя серьёзно разговаривать...

– Не могла выбрать другого места и другого времени?

– Ты же сказал, что это лучшая погода для нас с тобой, – повторила Долина Андреевна. – Только сейчас нам и разговаривать, чтобы никто не видел и потом не сплетничал...

– Слушай, Долина, – помедлив, заговорил Коноп. – Может быть, я и женился бы на тебе. Когда ты только вернулась сюда. Но ты была очень гордая. Поначалу и не глядела в мою сторону. А потом сказала это слово – аморально. А я ведь шёл к тебе с чистым и открытым сердцем. А теперь и не знаю, что делать... Вот ты говоришь – жениться. А я всё думаю о том, что у тебя высшее образование, а у меня всего шесть классов.

– Я так думаю, – твёрдо заявила Долина Андреевна. – Можно по-другому: один человек воспитывает и тянет за собой другого. Как бы шефство берёт над ним... Я согласна!

– На что – согласна? – не понял Коноп.

– Чтобы я тебя воспитывала, тянула за собой...

– Глупости говоришь, Долина... Может, я этого как раз и не хочу. Мне дорога моя свобода.

Последний отрезок пути преодолевали почти ползком. Входная дверь наполовину была занесена, и Конопу пришлось сначала отгрести снег.

– Ты не сразу входи со мной, – попросила его Долина Андреевна.

– Ну уж нет, – ответил Коноп. – Даже собаку в такую погоду не оставляют на улице.

Он шумно и решительно вошёл следом за Долиной Андреевной в сени и крикнул в комнату:

– Это мы пришли. Коноп и Долина Андреевна!

Онно подал снеговывивалку из оленьего рога.

– Чуть не заблудилась! – возбуждённо рассказывала Долина Андреевна. – Если бы случайно не встретился Коноп, ветром унесло бы меня в море...

– Ну, такую большую не унесёт, – пробормотал Коноп, тщательно обрабатывая свои торбаса.

– Увидела его возле гаража... Попросила проводить до вашего дома...

Коноп выпрямился во весь рост и выразительно посмотрел на Долину Андреевну.

Но та, казалось, не замечая его взгляда, продолжала:

– Читать надоело, скучища... Дай, думаю, загляну к вам... А Иван Оннович не приехал?

– Как же он приедет в такую пургу? – заметил Коноп.

– По телефону звонил, – сообщила Кымынэ. – Хорошо ему там. Нравится.

Страхнув последнюю снежинку, все перешли в комнату, где на столе стоял никелированный электрический самовар.

– Хорошо чайку выпить с мороза, – потирая руки, сказала Долина Андреевна.

– По случаю субботы и кое-что покрепче найдётся, – сказал Онно.

За стенами гремел ветер, и порой казалось, что что-то тяжёлое, но мягкое падает на домик, пригибая его к земле.

Прислушавшись, Долина Андреевна зябко повела плечами:

– Представляю, каково сейчас в яранге!

– Хорошо там, – сказал Коноп.

– Электричества и отопления нет, стенки тонкие, теснота, грязь...

– Долина Андреевна, – возразил Онно. – У Эйвээнэу грязно не бывает. Там, кроме стариков, ещё и Айнана.

– Да, это верно, – кивнула Долина Андреевна. – Я почему-то совсем про неё забыла.

– Она хорошая, добрая девушка, – сказала Кымынэ.

– Рисует хорошо! – добавил Онно.

Долина Андреевна налила себе чаю.

– Может быть, и впрямь она достойная девушка, – задумчиво сказала она, глядя куда-то мимо Конопа. – Но меня удивляет её легкомыслие: зачем она отказала тому парню?

– Потому что женщина! – Коноп взялся за рюмку.

– Вам уже хватит, товарищ Коноп, – строго сказала Долина Андреевна и продолжала: – Лично я против Айнаны ничего не имею... Но надо смолоду думать о будущем. Твёрдо стоять на земле, а не витать в облаках... Тем более что росла одна, без отца...

– Между прочим, уважаемая Долина Андреевна, я тоже вырос без отца, – сообщил Коноп.

Некоторое время в комнате было тихо.

За стенками домика шумела буря да дребезжала какая-то железка в дымоходе кухонной плиты.

– Я ведь о чём, – снова заговорила Долина Андреевна. – Разумеется, я уверена в моральной устойчивости и политической грамотности Тутриля. Но то, что он надолго задержался в яранге, это тревожно...

– А что именно, Долина? – спросил Онно.

– Мы тут все взрослые, – усмехнулась она. – Я выражаюсь достаточно ясно.

Онно вздохнул:

– Давайте лучше выпьем за тех, кого в пути застигла пурга.

– До дна! – сказал Коноп.

Кымынэ прислушалась.

– Ещё гость к нам идёт, – тихо произнесла она и открыла дверь в тамбур.

Вместе с воем ветра в облаке снега ввалился Гавриил Никандрович. Отряхиваясь, заглянул в комнату.

– Да тут пир горой! Выходит, верно я учуял, где можно скоротать пурговое время... О чём разговор?

– Да вот толкуем о Тутриле, – ответила Долина Андреевна. – Что-то он в яранге задерживается.

– А я его понимаю, – задумчиво произнёс Гавриил Никандрович. – Это как бы возвращение в детство. Я ведь тоже родился и вырос почти что в яранге. Наша изба в Тресках по своему внутреннему убранству да по удобствам не лучше была. И когда я думаю о своей деревне, именно эту избу и вспоминаю. Тут уже ничего не поделаешь, – вздохнул Гавриил Никандрович.

Долина Андреевна поджала губы и вместе со всеми слушала Гавриила Никандровича.

– Родина всегда напоминает о себе детством, тем, что ты увидел впервые в жизни...

– А наши внуки увидят уже другую родину, – заметил Онно. – Даже те, кто родился в Нутэне, видят ярангу только на картинках да на старых фотографиях. Янранайские, чутпэнцы, нымнымские – все будем жить вместе, как в настоящем большом городе, в Кытрыне.

– Охота там плохая, – заметил Гавриил Никандрович.

– Будем на машинах ездить на охоту! – весело сказал Коноп. – Лично я давно мечтаю жить в городе. В нашем чукотском городе. Чтобы народу было много и чтобы были просто незнакомые.

– А зачем тебе незнакомые? – подозрительно спросила Долина Андреевна.

– Это же интересно! Идёшь себе по улице – и вдруг тебе незнакомый человек попадается. Ты с ним сначала здороваешься, потом знакомишься, начинаешь разговаривать...

– Какие-то странные у тебя желания, – заметила Долина Андреевна. – Разве тебе плохо с людьми, которых ты хорошо знаешь?

– Не всегда! – ответил слегка захмелевший Коноп. – Больно много знают и ещё больше хотят знать... А незнакомец ничего не знает и всё узнаёт от тебя лично... Потом, когда он тебе станет близким другом, можно его позвать к себе в гости, показать новую квартиру, включить для него телевизор, угостить чем-нибудь таким вкусным и интересным... Ну, напился он чаю, захотелось ему облегчиться, и не надо его гнать в пургу на улицу... Культурно про-

водил его в другую дверь. Он там отдохнул, дёрнул за верёвочку, и опять чистота и гигиена...

– Это за какую верёвочку надо дёргать? – с любопытством спросила Кымынэ.

– Есть такое устройство в тангитанских уборных, – объяснил Коноп. – Очень удобная штука.

– Из-за этой верёвочки переселяться? – задумчиво произнёс Гавриил Никандрович. – Люди ведь живут в определённом месте совсем из-за другой верёвочки. Другая связь. Именно на этом самом месте чувствуют себя крепко стоящими на земле, настоящими людьми.

– Патриотизм это называется, – солидно заметила Долина Андреевна.

– Правильно, патриотизм, – кивнул Гавриил Никандрович. – Вот вспоминаю войну. Каждый солдат нашей роты воевал за весь Советский Союз. Но когда мы думали о родине, каждый вспоминал своё: казах Тлендиев – свой аул, украинец Кириченко – своё село, русский Смольников – свой город Уglich, а я – свои Трески и Нутэн. Это всё вместе наша Советская Родина. Однако, если мы будем скакать с места на место за верёвочкой, что получится? Не потеряем ли мы что-то важное и главное? Может быть, проще эту верёвочку сюда приделать? А?

Гавриил Никандрович задумался.

– Вот Токо, – продолжал он. – Худо ему стало – он ушёл в ярангу. Может, для другого, постороннего – блажь, но я его понимаю. Он там, в этой яранге, окрепнет духом и с новыми силами вернётся к нам.

– Зря он на нас обиделся, – заметил Онно. – Разве так можно? Это же позор для коммуниста!

– Я помню чукотскую поговорку, которая гласит: телесная рана не так болит, как душевная, – задумчиво произнёс Гавриил Никандрович. – Почему так? А я думаю – вот почему: люди привыкли к голоду и холоду, боли и потерям... Всё это легче переносится, чем словесные раны... Душа человеческая – нежная.

– Раньше почему-то он не был таким ранимым, – с усмешкой произнёс Онно.

– Его обида душевная, – ещё раз повторил Гавриил Никандрович.

Коноп внимательно слушал разговор, и было видно, что он хочет вставить своё слово.

И когда наступил удобный момент, он громко сказал:

– Всё это – лирика!

– Что? – не понял Гавриил Никандрович.

– Пустые разговоры, – махнул рукой Коноп. – Ну чего он такой гордый? Нынче надо и против словесных обид закаляться...

Он искоса быстро взглянул на Долину Андреевну.

Гавриил Никандрович строго заметил:

– Не то ты говоришь, Коноп, путаешься.

– Правильно! – поддержала его Долина Андреевна. – Путаные у тебя мысли, товарищ Коноп. Учиться надо, повышать общеобразовательный и культурный уровень.

Гавриил Никандрович посмотрел на часы, разлил остаток вина по стаканам:

– Ну, за тех, кто в тундре!

Он засобирился, и тут Долина Андреевна встала и сказала:

– Я с вами, Гавриил Никандрович.

– Да я потом тебя провожу, – сказал Коноп.

– Нет уж, – поджав губы, сказала Долина Андреевна. – Ты не совсем трезв, товарищ Коноп.

Коноп что-то пробормотал, но не стал спорить.

Ей пришлось вцепиться в спутника, чтобы удержаться на ногах. Переждав порыв ветра, они медленно побрели по улице, мимо полузанесённых снегом домиков. Долина Андреевна висела на левой руке Гавриила Никандровича, тянула его своей тяжестью к земле, мешала шагать. Пройдя немного, Гавриил Никандрович предложил:

– Давайте чуток передохнём.

Встали под защиту склада.

Снежные заряды неслись низко над землёй. Сверху просвечивало низкое небо, и случалось, что прорывался солнечный луч, словно заблудившийся, мелькал перед глазами и мчался дальше вслед за снежной метелью.

Долина Андреевна смахнула с лица налипший мокрый снег, несколько раз глубоко вздохнула и сказала:

– Давно хотела я у вас, Гавриил Никандрович, попросить дружеского совета.

– Рад буду помочь, – с готовностью ответил директор, потряхивая затёкшую от тяжкой ноши левую руку.

– Повоздействуйте на Конопа...

– Что? – спросил Гавриил Никандрович.

– На Конопа... – Долина Андреевна сначала замялась, но быстро обрела уверенный тон. – Вы бы ему деликатно намекнули...

– Я с ним говорил, – сказал Гавриил Никандрович. – Он мне обещал воздерживаться. И надо сказать – слово он своё держит.

– Да не об этом речь! – горячо произнесла Долина Андреевна. – Дело не в том, что он выпивает. Не это главное.

– А что?

– А то, что он компрометирует меня...

– Что, что делает?

– Компрометирует...

Гавриил Никандрович как-то внимательно посмотрел на Долину Андреевну.

– Я ещё раз прошу вас – поговорите с ним, – умоляюще произнесла Долина Андреевна.

– Опять не понял, – мотнул головой Гавриил Никандрович.

– Ну какой вы непонятливый! – воскликнула Долина Андреевна. – Вот слушайте меня внимательно... Наверное, я сама виновата в этом. У нас это давно с Конопом. Может быть, со стороны это выглядит не очень романтично: ведь мы оба не очень молоды, но всё же какое-то чувство есть... Я в этом уверена... Конечно, в моей жизни тоже были ошибки. Но нельзя же всё время назад оглядываться... Гавриил Никандрович, вы уж как-нибудь поднажмите на него.

– Но как? – простодушно спросил Гавриил Никандрович. – Дело ведь личное и деликатное.

– Вы же умный человек, – заметила Долина Андреевна. – И он вас очень уважает, всегда говорит о вас только хорошее. Наверное, если вы ему скажете, то он послушается.

Гавриил Никандрович что-то пробормотал про себя.

– Я попробую, конечно, но дело это для меня новое и непривычное, – признался Гавриил Никандрович.

– Может быть, по общественной линии? А?

– Нет, это нельзя! – решительно заявил Гавриил Никандрович. – Вот что: попробуйте сами сначала, своими силами.

– А это как?

– Ну, уж не мне вас учить, – улыбнулся Гавриил Никандрович.

Ему жаль было Долину Андреевну, и он искренне сочувствовал ей.

Она выросла на его глазах, и, надо признаться, в своё время Гавриил Никандрович радовался, как она быстрее всех и лучше всех научилась говорить по-русски, как она пела с отцом, старым охотником Кулилем, научившимся виртуозно играть на мандолине.

Но потом что-то не сладилось в личной жизни Долины Андреевны. А как тут помочь? Если бы личное счастье можно было поровну распределять между людьми... К сожалению, так не бывает... Всегда кому-то не достаётся даже, казалось бы, простого, семейного счастья.

Конечно, Долина Андреевна во многом сама виновата. Уж кому-кому, а Гавриилу Никандровичу вся жизнь водителя совхозного вездехода и его симпатии к заведующей сельской библиотекой были хорошо известны. Правда, они не были секретом и для других жителей Нутэна.

Да, Конопу пришлось много пережить и перетерпеть, прежде чем ему удалось обратить на себя внимание Долины Андреевны, которая поначалу держала себя уж очень независимо по отношению к нему.

По доброте своей Гавриил Никандрович, конечно, не мог отказать в просьбе Долине Андреевне, и он сказал на прощание:

– Я намекну ему... Не знаю, как это сделать, но постараюсь.

– Уж я буду благодарить вас! – вспыхнула Долина Андреевна.

А ветер выл, швырял в лицо подмокший снег, носился по крышам домов, уносился в море, в тундру, на вольный простор, где не было никакой преграды.

18

Уже на второй день пурги установился особый распорядок дня, приспособленный к медленному течению времени под вой ветра и хлопанье покрышек яранги.

Просыпались поздно, когда весь чоттагин был залит ровным синеватым светом, как если бы над дымовым отверстием заигралась люстра люминесцентных ламп дневного света. Свет был рассеянный, словно разъятый на мельчайшие пылинки, растекающиеся по всему чоттагину, покрывающие ровным сероватым налётом все закоулки, деревянные бочки с припасами нерпичьего жира и мяса, охотничье снаряжение, аккуратно развешанное по полукруглой стене, свернувшихся калачиком, почти не просыпающихся собак, переднюю меховую стенку полога, бревно-изголовье и даже пламя костра.

Тутрилю ещё ни разу не удавалось проснуться раньше Эйвзэмнэу. Когда остатки сна покидали проясняющееся сознание, он чувствовал чуткими ноздрями запах дыма, слышал потрескивание маленьких щепочек, которые старушка подкладывала под доньшко закопчённого чайника. Несколькими палочками она ухитрялась вскипятить воду, сварить мясо. Ни один язычок пламени не пропадал даром. Костёр почти не дымил, и от этого в чоттагине всегда было чисто и свежий воздух лишь слегка пахнул дымком-воспоминанием.

Из большого полога выползала уже одетая Айнана.

– Доброе утро! – весело здоровалась она.

– Топри утра! – в тон ей отзывалась бабушка. Утренние приветствия не приняты в чукотской яранге, но русский возглас ей нравился, словно доброе шаманское заклинание, возвещающее добро и будущие радости.

Умывались обычно возле плотно притворенной входной двери, куда пурга намела небольшой сугроб. Айнана осторожно лила на руки Тутрилю.

Самое трудное состояло в том, чтобы использовать минимальное количество воды.

Потом показывался Токо с неизменной трубкой в зубах. Казалось, старик так и не расставался с ней всю ночь.

– Топыр утыр! – здоровался он, поддерживая введённый внучкой обычай, и протягивал руку к дымящейся чашке чая.

За утренним чаепитием слушали поздние московские новости, словно вести с другой планеты, как что-то невероятное, невозможное. О севе на Кубани, о цветущих садах Молдавии, о начале навигации на реках Сибири, о купаниях в Чёрном море. Потом шли международные вести из Индокитая, Среднего Востока, Европы, Америки...

Видимо, Токо не разделял мыслей Тутриля о дальности внешнего мира. Наоборот, он рассуждал о событиях, происходящих в невероятной дали, так, будто они случались в соседнем селении. Он был хорошо осведомлён о делах как внутри страны, так и за рубежом и часто удивлял Тутриля осведомлённостью.

После неторопливого завтрака все принимались за работу, которая не убывала несмотря на пургу.

В середине дня выходили на связь с Нутэном и, поскольку новостей, в общем-то, особых не было, сеанс связи заканчивали довольно быстро.

Заражённый общим трудовым настроением, Тутриль заполнял страницы блокнота записями. Именно здесь ему впервые пришла мысль о том, что человек, каким бы он ни был точным в соблюдении грамматических форм языка, как бы заново примеривает и приспособливает их к себе. Да, существует единственный, общий для всех чукотский язык, но каждый пользуется им, если можно так выразиться, в меру своего таланта.

Иногда Тутриль отрывался от блокнота, задавал вопросы то Токо, то Эйвээнэу. И у каждого был свой, часто отличающийся едва уловимыми тонкостями язык. Это не было открытием, но Тутриль радовался тому, что он ясно видит и улавливает эти тонкости и различия, те особенности, которые делают язык живым.

Обитатели одинокой яранги иногда спорили друг с другом, а то и надолго замолкали. В этом молчании часто было больше смысла, чем в многословии.

И ещё одно уяснил себе Тутриль: чтобы осязать и чувствовать язык, надо постоянно находиться в окружении живой речи, в потоке движущихся слов. Чтобы быть моряком, надо плавать, а он...

Теперь он вознаграждал себя за долгие годы собственного языкового мелководья, смело опускался в самые глубины речевого моря, уверенный, что трое обитателей одинокой яранги всегда придут ему на помощь. Он и не предполагал, что обыкновенный разговор, сам процесс выговаривания слов, произнесения их, свободное владение ими может доставлять такое удовольствие. Иногда одно слово обладало такой выразительностью, что вызывало в воображении красочную картину или выражало состояние.

Вскоре весь блокнот был полностью исписан. Айнана предложила альбом для рисования. Рисунки заполняли одну сторону листа, а другая была чистая.

– Разве они тебе не нужны? – спросил Тутриль.

– Это черновики, – равнодушно ответила Айнана.

Прежде чем начать писать в альбоме, Тутриль перелистал его. Некоторые рисунки были и вправду набросками. Но за ними угадывалось нечто важное, значительное в своей невысказанности, та самая смысловая наполненность паузы, которая иной раз намного богаче и выразительнее многоречия.

С замиранием сердца Тутриль листал альбом, словно заглядывая в душу Айнаны.

Она часто рисовала деда и бабушку. Вот Токо, низко склонив голову, мастерит нарты. Тщательно выписаны руки, лицо и дальний берег моря, заваленный обломками льда... Эйвээмнэу выделяет нерпичью шкуру, распластав её на широкой доске. Кэркэр бабушки низко опущен, и поверх меховой оторочки лежит её грудь. Однако не было ничего натуралистичного в этом изображении. Рисунок излучал добро, тепло и свет большой и настоящей жизни, полной трудов и радостей, забот о детях, о муже...

Иногда на листе была нарисована яранга. То вблизи, то издали... Морские берега Нутэна, дальние острова. Птицы, песцы. Вертолёт в воздухе. Собачья упряжка и девушка-каюр. Он искоса бросил взгляд на Айнану. Но она была занята делом – осторожно и сосредоточенно водила острым резцом по едва наведённому на моржовый клык рисунку.

Тутриль глубоко вздохнул, и этот вздох в тишине яранги показался неожиданно громким. Айнана подняла голову, вопросительно посмотрела на Тутриля, прислушалась и вдруг сказала:

– Ветер утих!

Токо глянул на неожиданно прояснившееся и посветлевшее дымовое отверстие и удивлённо произнёс:

– Так заработался, что и не заметил прихода хорошей погоды.

Он открыл дверь. На гладкой снежной стене отпечатались тонкие дощечки и ручка из куска моржовой кожи.

Совместными усилиями осторожно отгребли снег, пробили выход. Снаружи сияло солнце, и ничто не напоминало о том, что ещё час тому назад бушевала пурга. Поверхность пологих сугробов матово сияла, глубокие тени таили стужу, но тепло от солнечных лучей явственно чувствовалось.

Тутриль махал лёгкой, но вместительной лопатой – китовой костью, насаженной на черенок, отбрасывая от дверей снег, и чувствовал, как ему хорошо вот так просто кидать свежий, ещё не слежавшийся белый снег, двигаться, дышать холодным воздухом, вобравшим в себя всю свежесть тундровых и морских просторов.

Рядом с ним работала Айнана, поглядывавшая на него с загадочной, чуть насмешливой улыбкой.

– Хорошо, – просто сказал Тутриль, втыкая лопату в снег.

– Я люблю, когда вот так неожиданно кончается пурга, – отозвалась Айнана. – И вообще люблю всё неожиданное... А то ведь когда всё знаешь наперёд да ещё долго ждёшь, вся прелесть пропадает.

Тутриль слушал её голос и чувствовал, как волна нежности не даёт выхода словам. Да и говорить не хотелось... Хотелось подойти к Айнане, взять её за руку, притянуть и прижать к себе.

– Когда я начинаю что-то новое рисовать, – продолжала Айнана, – я часто наперёд и не знаю, что получится. Чувствую только настроение и желание рисовать.

– Мне очень понравились твои рисунки в альбоме, – сказал Тутриль.

– Это я так, – смутилась Айнана. – Пробовала, что может получиться. Я ведь по-настоящему-то рисованию не училась. В мастерской присматривалась да сама иногда упражнялась.

Аммана откинула капюшон и подставила лицо солнцу и лёгкому ветерку, похожему больше на ласковое дыхание усталого великана.

– А вон летит вертолёт...

Звука ещё не было слышно, но на ясном голубом небе, над далёкими зубчатыми вершинами висела тёмная точка.

Вертолёт быстро обрёл свои очертания, довольно странные и уродливые для летательного аппарата.

– Долгое время я не могла привыкнуть к вертолёту, – задумчиво произнесла Айнана. – А дедушка, когда впервые увидел, даже тихо сказал: что-то непонятное... А сейчас привыкли...

Вертолёт низко пролетел над одинокой ярангой и унёсся дальше к Нутэну, оставляя в небе лёгкий дымный след.

Айнана проводила его взглядом.

– Почта будет, новые журналы, газеты...

Из яранги вышел Токо и позвал Тутриля:

– К телефону требуют.

Тутриль вошёл в чоттагин, тёмный от резкого перехода из яркого солнечного света, ошупью пробрался к пологу и взял холодную трубку.

Это был Гавриил Никандрович. Он спросил о самочувствии и поинтересовался, надо ли посылать за ним вездеход.

– Я сам приеду, – ответил Тутриль, – на собаках.

– Ну, воля ваша, – сказал Гавриил Никандрович. – Можно разок для интереса и на собаках прокатиться. В таком случае до завтра.

Тутриль положил трубку. На улице пела Айнана:

*Высокое небо,
Чистое небо...
Ветер, идущий с тёплой страны.
Летите, птицы, вестники счастья,
Несите на крыльях любовь и весну!*

Тутриль вышел из полутёмного чоттагина на солнечный свет.

– Хотите пойти со мной за льдом? – спросила Айнана.

Она стащила с крыши нарту, приладила потяг и положила большой тяжёлый топор.

– Пойдём к Красивому ручью, – сказала Айнана, – там лёд самый вкусный.

До Красивого ручья надо было довольно долго подниматься на склону. Зато оставшийся отрезок пути Айнана с Тутрилем промчались на нарте, тормозя пятками по убитому недавней пургой снегу.

Ручей как тёк, так и замёрз в стремительных струях, застыв голубыми, припорошёнными снегом прожилками. Айнана постучала топором, и лёд отозвался звоном.

– Что-то вы стали грустный и тихий, – задумчиво произнесла Айнана. – Наверное, надоело вам в нашей яранге.

– Нет.

– Вспоминаете Ленинград?

Тутриль отрицательно мотнул головой.

Айнана пытливо посмотрела на него. Он сделал шаг к ней и, поскользнувшись на льду, крепко ухватился за её камлейку.

Он целовал её и думал об этой ранней весне с невероятно ярким солнцем, с мягким снегом, об этих удивительных девичьих губах: твёрдые, чуть шершавые, прохладные, чем-то напоминающие недозрелые ягоды морошки. Он отдавался неожиданно нахлынувшему чувству всем сердцем, всеми мыслями, всеми чувствами.

Айнана отвечала на поцелуи, и Тутриль чувствовал за твёрдостью чуть шершавых губ что-то новое, словно морошка созрела, налилась, готовая брызнуть сладким соком...

Она колола лёд и смотрела, как голубые осколки со звоном катились, подскакивая на замёрзших струях, до самого низа, до морского берега.

Она подняла голову.

Солнце било ей в глаза, она прищурилась, и за опущенными ресницами чудилась бездонная чёрная глубина потаённой, непонятной души. И Тутриль оробел. Он ничего не сказал ей.

Айнана улыбнулась. Она подавала Тутрилю острые, тяжёлые куски прозрачного льда, и тот относил их на нарту.

Обратная дорога с нагруженной нартой показалась лёгкой и

быстрой, потому что всё время шла под уклон. Тутриль с Айнаной сидели на острых ледяных обломках, слегка тормозя подошвами торбасов. Айнана громко пела свою любимую песню о весне...

– Откуда у тебя эта песня?

– Сама сочинила, – просто ответила Айнана, – поэтому она мне нравится. Это дед мне говорит: нехитро чужое приспособить к себе, а ты вот возьми и сделай своё... Вы бы поговорили с ним по душам, – посоветовала Айнана. – Мне кажется, что он к вам хорошо относится. Может, вам удастся на него повлиять...

– В каком смысле?

– Уговорить его переселиться обратно в Нутэн.

– Ничего не понимаю, – удивлённо произнёс Тутриль. – То вы все в один голос говорите, что вам хорошо в одинокой яранге, а теперь получается, что не совсем...

– Но вы же сами видите, что здесь трудно и ему, и бабушке, и мне.

Айнана упёрлась пятками в снег и остановила нарту.

– Он уехал в ярангу, можно сказать, сгоряча, – Айнана повернулась к Тутрилю. – Как прослышал, что Нутэн хотят сселять в рай-центр, расстроился. Стал всем говорить обидные слова. Что они не любят своей земли... Это и есть главная причина того, почему он уехал в ярангу. Ведь всё равно считается, что живёт в селе, вы видели – там домик у нас... Поговорите с ним, прошу вас.

Скатившись с холма, Тутриль и Айнана впряглись в нарту и подтащили её к яранге.

Снаружи уже стоял Токо, поджидая их.

– Разговаривал по телефону, – сообщил он Тутрилю. – Просят завтра приехать, потому что почта для тебя есть. Отец твой говорил.

– Хорошо, – ответил Тутриль. – Завтра меня Айнана отвезёт на собаках.

– И то верно, – кивнул Токо, – всё равно ей в село надо. За продуктами и за свежими газетами и журналами...

После позднего обеда Тутриль исподволь заговорил о жизни, о том, что человек нуждается в разных удобствах: они облегчают жизнь и оставляют время для более важных дел.

Токо внимательно его слушал и прятал усмешку в редкие с жёлтой проседью усы.

– Где-то давно я читал, – сказал старик, внимательно выслушав туманные рассуждения Тутриля, – что один из русских царей, узнав из отчётов экспедиции о том, что на Чукотке холодно и нет пригодной для хлеба и овощей земли, повелел своей царской властью переселить чукчей в тёплые, более благоприятные края...

– Разговор не об этом, – возразил Тутриль, набираясь смелости под ободряющим взглядом Айнаны. – Речь идёт о том, чтобы мел-

кие селения, где нет возможности развивать хозяйство, где нет возможности строить хорошие, со всеми удобствами дома, селить на хорошие места, где есть предприятия, где можно ставить большие каменные здания...

– Помнишь Наукан? – перебил Тутриля Токо. – Трудное это было для жизни место. Но люди жили. Уговорили их переселиться. И не стало науканского народа. Только песни остались. А большой радости нет. Всё, что ты говоришь, – верно. Однако ещё вернее то, что тот человек достоин уважения, кто на своём месте строит хорошую жизнь, а не скачет с места на место. Я тоже за то, чтобы у всех была хорошая, удобная жизнь. Но на том месте, где живёшь. Почему прошлые поколения находили дело для своих рук, а нынче вроде бы работы не хватает? Какой работы? Об этом надо подумать. Одно для меня ясно – когда уйдём со своей земли, потеряем своё лицо...

В рассуждениях Токо Тутриль чувствовал убеждённость.

– Я тут поживу, – продолжал Токо, – подумаю. Пройдёт время, вернусь в Нутэн и снова буду жить в своём домике. Слов нет, там удобнее, хотя, чего-то всё равно не хватает...

Слушая Токо, Тутриль время от времени поглядывал на Айнану. Она ловила каждое слово деда.

Перед вечерним чаепитием Айнана и Тутриль покормили собак.

Тишина накрыла тундру и морское ледовое побережье.

На ещё светлом небе горели неяркие весенние звёзды, а над дальними горами угадывалось солнце.

Айнана и Тутриль долго сидели на прогретых за день камнях, придерживающих крышку из моржовой кожи, и молчали. Не хотелось нарушать тишину весенней ночи.

– Вы вернётесь обратно? – тихо спросила Айнана.

– Обязательно, – ответил Тутриль. – Возьму новые батарейки для магнитофона... Если, конечно, ты не против...

В ответ Айнана только вздохнула.

Осторожно вошли в затихшую ярангу. Серые сумерки смешались с пеплом догоревшего костра.

Тутриль разделся в чоттагине и нырнул в прохладный пушистый полог. Не зажигая света, он забрался под меховое одеяло и замер в ожидании, пока тепло собственного тела нагреет постель, одеяло и весь полог.

Он был уже в полудрёме, как вдруг почувствовал, что передняя стенка полога чуть приподнялась и внутрь скользнула Айнана. Улёгшись рядом и уняв прерывистое, взволнованное дыхание, она прошептала:

– Я боюсь, что ты не вернёшься... Поэтому я пришла.

Едва Тутриль вошёл в родительский домик, как Кымынэ подала ему пачку писем. Все они были от Лены. Тутриль удивился: жена никогда не отличалась любовью к писанию писем. Разложив их по почтовым штемпелям в хронологическом порядке, Тутриль принялся читать.

«Дорогой мой!

Пишу тебе буквально вслед за тобой: никогда ещё ты так надолго не уезжал от меня. И знаешь, у меня даже появилась ревность к твоей Чукотке. Пока ты только говорил о ней и вспоминал её, всё было как-то понятно и естественно. Но вот ты уехал, и с первого же дня меня не покидает тревожное чувство. Я вспоминаю каждый день, прожитый с тобой, с того самого утра, когда мы с тобой встретились. Помнишь, вы двое, с другом, подошли к университету, спросили что-то у швейцара, а потом пошли прочь по набережной. Я подошла к вам и предложила помощь... Я тогда сразу же обратила на тебя внимание. Почувствовала какое-то тепло в груди. Ты же знаешь, как я была одинока. После того как все мои родные погибли, казалось, никогда у меня не будет близкого и родного человека. Но вот появился ты. Видимо, люди не замечают своего счастья, пока не лишаются его. Вот так и случилось со мной. Как мне тоскливо и холодно без тебя!..»

Дальше Лена сообщала институтские новости, но часто ровное течение её письма нарушалось неожиданным взрывом, лирическими отступлениями. Тутриль не знал жену такой – она всегда была сдержанна, даже несколько замкнута. А тут... Может, в этом виновата болезнь сердца, отголосок давней военной беды?

Тутриль со вздохом положил последнее письмо. Кымынэ остроглянула на него и спросила:

– Что с ней?

– Ничего.

– Скучает? – Тутриль молча кивнул.

– Вот, – наставительно произнесла Кымынэ. – Надо было её взять с собой.

– Трудно ей летать, – сказал Тутриль.

– Ничего, – махнула рукой Кымынэ, – сейчас летать не страшно.

Время до вечера прошло незаметно. Вернулся с охоты Онно, усталый и счастливый, с добычей. Кымынэ проделала всё, что полагалось: «напоила» убитых нерп водой и осторожно втащила их в кухню, на разостланную на полу яркую клеёнку.

Разделав добычу, Кымынэ подала сыну давнее детское лакомство – нерпичьи глаза. Тутриль ел, односложно отвечая отцу, погружённый в свои мысли. Заметив стопку писем, отец понимающе замолчал.

Тутриль походил по комнате, увидел телефон, поднял трубку, и звонкий девичий голос ответил:

– Алло!

– Скажите, можно переговорить с Ленинградом?

В трубке что-то зашуршало, и Тутрилю пришлось немного подождать, прежде чем он услышал:

– Можно, но надо заранее заказать... Будете заказывать?

Поколебавшись, Тутриль ответил:

– Нет, пока не надо.

На душе было как-то зябко.

Он стал одеваться. Кымынэ удивлённо подняла на него глаза:

– Ты куда?

– Пройдусь немножко перед сном.

– Верно, иди погуляй, – ласково сказал отец.

Но не успел Тутриль дойти до двери, как резко зазвонил телефон.

Мать взяла трубку, послушала и удивлённо произнесла:

– Тебя, Тутриль.

Тутриль удивился не меньше матери, услышав в трубке голос Айнаны.

– Ты откуда, говоришь? – спросил он.

– Из яранги, – ответила Айнана. – Девчата с почты соединили.

Они могут вас и с Ленинградом соединить.

– Знаю...

– Вы на меня не сердитесь?

– Нет.

– Когда я вас довезла до Нутэна, потом вернулась сюда, мне так захотелось снова услышать ваш голос... Правда, не сердитесь на меня?

– Нет, я очень рад тебя слышать.

– А я хочу вас увидеть...

Слышимость была такая, что Тутриль чувствовал взволнованное дыхание Айнаны.

– Может быть, я ещё раз приеду...

Онно и Кымынэ посмотрели друг на друга.

Тутриль закончил разговор и, осторожно положив трубку, вышел из домика.

Он прошёл по улице, машинально здороваясь со встречными, и спустился к морскому берегу. Торосы уходили вдаль, и оттуда ему вдруг почудился голос дяди Токо:

«Энмэн: Пошёл охотник искать во льдах нерпу. Шёл он, шёл по торосам, по замёрзшим разводьям, и вдруг видит – лежит во льду возле лунки большая нерпа...»

Надышавшись ледяного морского воздуха, Тутриль медленно побрёл обратно.

Отец с матерью ещё не ложились.

– Знаешь, – сказал Онно сыну, – завтра к тебе придёт рассказывать сказки Роптын. Он тоже много знает. А потом – он всё же был учителем. Я тебя прошу – встретить его поласковее.

Рано утром, проводив отца на охоту, Тутриль уселся за стол.

Роптын вошёл в комнату важный и торжественный, словно в давние годы на свой первый урок.

Садясь напротив за стол, он не преминул сказать:

– Будто ты стал маленьким мальчишкой, а я помолодел!

Кымынэ поставила чай, вазочку с мелко наколотым сахаром и удалилась на кухню, где на полу она кроила шкуры для зимней кухлянки.

Отхлебнув из чашки, Роптын спросил, кивнув на магнитофон:

– Машинка готова?

– Готова.

– Тогда слушай. Энмэн: Приходит Ворон к Богу и говорит: «Товарищ начальник...».

– Как говорит? – переспросил Тутриль.

– Товарищ начальник, – повторил Роптын. – А как же ещё? Ведь Ворон – лицо, так сказать, подчинённое, а Бог для него – вышестоящий орган, начальство. Что Бог скажет – то для Ворона директива, указание...

Тутриль едва сдерживал смех, но ему не хотелось обижать старого человека.

Однако Роптын заметил улыбку и предложил:

– Если эта сказка тебе не нравится, могу другую рассказать.

– Не надо, – отказался Тутриль.

Он вздохнул, и Роптын сочувственно посмотрел на него.

– Не умею я сказки рассказывать, – с сожалением признался он. – Много их знаю, а вот другому рассказать, чтобы было интересно, – не дано мне этого.

Роптын оделся и ушёл.

После него приходил Элюч, въедливый старик, служащий пожарным инспектором. Те сказки, которые он рассказал, давно были известны, и сообщались они таким бесцветным и деловым языком, будто это письменный отчёт. Зато Элюча очень заинтересовал портативный кассетный магнитофон, и он даже спросил, не может ли Тутриль уступить эту вещь за сходную цену перед отъездом.

– Я бы записывал на него разных должностных лиц, – мечтательно проговорил Элюч. – А то ведь чёрт знает чего наговорят, наобещают, а потом начисто забывают всё. А на домах нет ни лопат, ни багров, ни пожарных вёдер. Разве это порядок? А? Ты скажи, Тутриль? Ведь огонь – страшное зло на севере!

Элюч говорил на редкость гладко, и Тутриль понял, что он наизусть пересказывает содержание инструкции по пожарной охране в сёлах Чуколки.

Приходили ещё два-три человека, но всё это было не то. Тутриль всё больше убеждался, что ему надо снова ехать в ярангу...

Как-то утром, не дождавшись очередного сказочника, Тутриль спросил у матери:

- Как позвонить Конопу?
- Он испортился, – коротко ответила Кымынэ.
- Телефон?
- Коноп.
- Что с ним?
- Запил.

Тутриль оделся и вышел из домика.

Последняя пурга намела большие сугробы в Нутэне. Над снегом торчали крыши низеньких старых домишек. Возле школы ребяташки катались с высокого снежного надува. Когда Тутриль проходил мимо, ребяташки притихли и что-то зашептали вслед.

Гараж можно было найти лишь по торчащей трубе. Сбоку в снегу была прорыта ведущая к дверям глубокая траншея. Тутриль остановился в удивлении: из гаража доносилась музыка – кто-то бил в бубен и пел старинные чукотские плясовые песни.

Потянув на себя тяжёлую, обитую облезлыми оленьими шкурами дверь, Тутриль вошёл в гараж.

Яркая лампочка горела под потолком. Длинная лампа дневного света прочерчивала стену. Музыка гремела из включённого на полную мощность проигрывателя. Посередине гаража, в пространстве между трактором и вездеходом, Коноп задумчиво танцевал.

Он быстро глянул на Тутриля, выключил проигрыватель и спросил:

- Ехать надо?

Коноп действительно выглядел расстроенным.

– Если надо ехать, то придётся подождать, – грустно сказал он, – У меня поломка. Виноват я, конечно, нехорошо, но так получилось...

Коноп беспомощно развёл руками.

Он подошёл к шкафчику и достал оттуда бутылку.

– Хотите?

– Нет, – ответил Тутриль.

– И я уже больше не хочу, – вздохнул Коноп. – Экимыл... Точно названа.

Он сел. Напротив него – Тутриль.

– Скажи, как быть мне?

– Прежде всего надо протрезветь, – ответил Тутриль.

– Это я знаю, – Коноп махнул рукой. – Раз я сюда пришёл, значит, дело пошло на поправку. Вот ты мне скажи: можно ли полюбить плохого человека?

Тутриль пожал плечами.

– Вот я и думаю... Это не любовь, если плохой человек. Это другое. Но тогда что это такое? Вот ты, учёный человек, можешь мне растолковать?.. Не можешь. Научная загадка. Разум говорит: да плюнь ты на всё. Я не могу. Всякое у меня было, а это первый раз...

Коноп включил электрический чайник, заварил покрепче чай.

– А может, всего этого не надо? – спросил он совсем другим голосом.

– Чего? – переспросил Тутриль.

– Переживаний, – пояснил Коноп. – Жить, как жили наш предки... Наши отцы и матери.

– Думаешь, у них не было этого? – с сомнением сказал Тутриль.

– Коо. По наружности не скажешь. Или умели скрывать свои чувства.

Коноп пристально посмотрел на Тутриля.

– У тебя тоже что-то случилось?

Тутриль молчал.

– Тогда надо ехать, – просто сказал Коноп и добавил в кружку с крепким чаем сгущённого молока.

– Попей этого, – предложил он. – Очень бодряет.

Хлопнула входная дверь, и в гараже появился Гавриил Никандрович.

Лицо его было хмуро и озабоченно. Он искоса глянул на дымящиеся кружки и как-то неопределённо произнёс:

– Чай пьёте... Налей и мне.

Некоторое время все трое молча пили чай, усердно и шумно дую на горячую жидкость.

– Тутрилю ехать надо, – сказал Коноп, ставя кружку на стол.

– А сможешь?

Гавриил Никандрович испытующе посмотрел на него.

– Гавриил Никандрович! Ну с кем не бывает!

Он встал и отошёл к вездеходу.

– В ярангу поедете? – спросил Гавриил Никандрович.

– Да, – ответил Тутриль и зачем-то добавил: – Мне надо кое-что записать на магнитофон, уточнить. Интересная статья вырисовывается.

– Понимаю, – кивнул Гавриил Никандрович. – А ему надо в дальнюю охотничью избушку, кое-что забрать. По пути и вас забросит...

– Вы не сердитесь на Конопа, – попросил Тутриль.

– Ведь золото парень! Вот я иногда думаю: может, и хорошо, что он дальше-то и не учится? Вы меня поймите правильно, я не против образования. Но Коноп именно такой и должен быть, ка-

кой он теперь. Наверное, для каждого человека природа определила свой предел, при котором он может быть самим собой... Вот, понимаете, есть такие, вроде бы образованные, люди, которые даже учат других, но эта образованность у них вроде какого-то уродливого нароста. Этот нарост они выставляют напоказ, не понимая, что этим они своё исконное, человеческое заслоняют... Ведь главное – это быть человеком! И ценен человек именно своей человечностью... Вы уж извините меня, Иван Оннович, что я так разболтался...

– Что вы! – горячо возразил Тутриль. – Я давно хотел с вами поговорить. И о Токо...

– Токо – мужик трудный, – неопределённо произнёс Гавриил Никандрович. – Я его уважаю. Вот он как рассуждает: если мы веками находили пропитание в этих местах, то почему сегодня мы не можем жить здесь?

– Вы думаете, он не прав? – спросил Тутриль.

– Со своей точки зрения он прав, – ответил Гавриил Никандрович, – а с точки зрения государственной...

– Он ведь тоже, так сказать, частичка государства...

– Он так думает, а вот другие за то, чтобы жить на современном уровне, – сказал Гавриил Никандрович.

– За верёвочку! – с усмешкой сказал Тутриль.

– А вы не смейтесь, – серьёзно возразил Гавриил Никандрович. – Если хотите, то эта пресловутая верёвочка может решить многое. Вы никогда не интересовались, почему у сельских жителей часто застужены внутренние органы? Извините за грубость, но если раньше житель яранги обходился ачульхеном в тепле, то теперь он должен в любую погоду отправляться в промёрзшую, насквозь продуваемую будочку, которая частенько бывает по крышу занесена снегом!

– Товарищ начальник! – по-военному доложил Коноп. – Машина готова!

– А водитель?

– И водитель, – улыбнувшись, ответил Коноп.

Тутриль пошёл собирать вещи.

Отец уже вернулся с охоты.

– А я думал, что ты пойдёшь со мной в море, – сказал отец, наблюдая, как сын укладывается.

– Ещё успею, – стараясь не глядеть на него, ответил Тутриль.

– Сейчас в море нерпы много, – продолжал Онно. – Пока обратно шёл, попадались прямо на льду. Лежат и загорают. Ближе подпускают... Письма-то возьмёшь с собой?

– Я их уже прочитал.

– Может, нерпятины свежей попробуешь?

– Вездеход ждёт.

Мать всё же положила в полиэтиленовый мешочек несколько кусков свежего мяса.

– В яранге сварите, – сказала она и спросила: – Надолго едешь?

– Точно не знаю, – ответил Тутриль. – Работу надо сделать.

Он боялся поднять глаза на отца и мать, чувствуя и вину, и стыд... Но уже ничего не мог поделать с собой.

С чувством огромного облегчения Тутриль услышал шум подъехавшего вездехода.

Ныряя в неровностях снежной тундры, вездеход шёл, торя новую дорогу после пурги. Коноп, крепко вцепившись в рычаги, смотрел вперёд, стараясь угадать под сугробами старую колею. Он повернулся к Тутрилю и сказал:

– Смотрю, кто-то нам навстречу едет.

Собачья упряжка приближалась, и вскоре можно было догадаться, кто сидит на нарте. Коноп притормозил и сказал Тутрилю:

– Думаю, что дальше она тебя повезёт.

Тутриль спрыгнул с вездехода, Коноп подал ему вещи – дорожный мешок, магнитофон, – лихо развернул вездеход и, взмётывая гусеницами снег, умчался.

Айнана остановила упряжку, сошла с нарты и подошла к Тутрилю.

– Ну, здравствуй, – сказал Тутриль и шагнул ей навстречу.

– Вы, наверное, очень рассердились на меня?.. – тихо сказала Айнана. – Наверное, это очень дурно, да?

– Айнана... – хрипло ответил Тутриль.

20

Токо и Эйвээнэу сидели у скудного костёрка, ожидая, пока закипит чайник. Они не разговаривали, однако хорошо понимали друг друга.

Токо улавливал осуждающие мысли жены и мысленно же возражал ей. Оттого, что слова не произносились вслух, они были убедительны, и Токо радовался тому, что одерживал верх в безмолвном споре с женой.

«Такое не судят со стороны. Тем более если это настоящее, редкое и светлое. Никто в этом не разберётся, кроме них самих. Я, может быть, раньше всех заметил в самом зародыше этот росточек. В улыбке Айнаны, в едва уловимом изменении её голоса. И начал тихо радоваться, потому что всю жизнь привык встречать улыбкой всё доброе и хорошее. Верно, у Тутриля жена в Ленинграде. Но когда расцветает подснежник, думают о его сегодняшней красоте, а не о том, что пройдёт лето и цветок увянет. Когда рождается ребёнок, восклицают: «Да здравствует жизнь!», а не говорят: «Придёт время, и он умрёт...».

Эйвээмнэу быстро подняла глаза.

«Да, всё, что ты говоришь, правда. Но речь идёт совсем о другом. Погляди, в каком смятении Айнана. Она места себе не находит. Раньше времени, среди ночи возвратилась из Нутэна, проспала часа два и умчалась в тундру. Может быть, ей нужна помощь, душевный разговор, совет старшего?»

«А ты вспомни, – Токо скользнул взглядом по лицу жены, – ты вспомни, кто нам давал советы? Сами до всего доходили, и, честно говоря, если бы кто-нибудь имел намерение поучать нас, я бы ему показал, как совать нос не в своё дело. Оттого и счастливы были, что всё было наше, всё было внове. И открытие, пусть давно принадлежащее всему миру, было для нас открытием нового мира. Я не хочу осуждать. Пусть судит сама жизнь, которая и родила это удивительное чувство, и не надо было нарекать его именем, потому что ни одно даже самое великое и громкое слово не может объять его, вместить в себя суть, вобрать все краски и выразить глубину. Оно везде – вне и внутри нас...»

– Нарта едет, – тихо произнесла Эйвээмнэу, и Токо поначалу не понял, подумала она так про себя или вслух сказала, пока она не крикнула ему в ухо: – Нарта!

Токо выскочил наружу, успев прихватить бинокль.

Собаки были уже в поле зрения. Нарта приближалась к одинокой яранге, нарушая скрипом полозьев подмороженную вечерним заморозком ломкую тишину.

Смешанное чувство охватило старика. Да, он знал, что трепетная птица не любит, когда её пугают, нежный росток будущего цветка требует затаённого дыхания, но что из всего этого вырастет, куда полетит птица?

Нарта остановилась у яранги, и первым сошёл Тутриль. Он выгрузил свои вещи, и старик понял, что он надолго.

– Амын етти! – приветствовал его Токо. – Снова к нам?

– Работу надо закончить, – деловито ответил Тутриль. – Будем записывать сказки и легенды.

– Хорошее дело, – заметил старик.

Эйвээмнэу уже успела согреть чайник и натолкла в каменной ступе нерпичьей печёнки, на которую сразу же накинулся проголодавшийся Тутриль.

Маленький полог, предназначенный для гостя, уже был снят и свёрнут, и это царапнуло его сердце. Едва уловимое, но вместе с тем подчёркнутое желание старика и старухи показать, что всё остаётся по-прежнему, доказывало, что они догадались обо всём.

Надо бы уехать, но Тутриль уже не был властен над собой, и иная сила руководила его поступками.

Он оглядел ярангу и спросил:

– Менять покрывку в этом году будете?

– Нет, – после некоторого раздумья ответил Токо, – и нужды в этом большой не будет: намереваемся пожить в селе.

За поздним обедом и за вечерним чаепитием разговор всё шёл о весне и изменчивой погоде.

Ночью Тутриль проснулся, почувствовав рядом Айнану.

– Как хорошо, что вы снова приехали! – шептала она сквозь слёзы.

21

Иногда среди дня за стенами яранги слышался мягкий шорох, будто белый медведь проводил широкой лапой по насту, – это оседал подтаявший на весеннем солнце снег.

По вечерам, когда Тутриль закатывал рукава перед умыванием, он видел резкую границу между светлой кожей, защищённой одеждой, и почерневшей на солнце.

Несколько раз на вездеходе приезжал Коноп и привозил почту для Тутриля, газеты и журналы для обитателей одинокой яранги. Раз, передавая письма, он сказал Тутрилю:

– Твои, наверное, соскучились...

– Да вот закончу работу – вернусь, – торопливо, пряча глаза, ответил Тутриль.

Он понимал, что надо побыть с родителями, но всё откладывал, а тут Айнана собралась к отдалённым капканам, и Тутриль обещал пойти с ней.

Все письма от Лены были похожи: жалобы на одиночество. После этих писем Тутриля мучили угрызения совести. В дни прихода почты Айнана замыкалась в себе.

А весна брала своё: снег таял, на южных склонах холмов появились первые проталинки, и льдины казались облитыми глазурью. Весеннее настроение проникло повсюду, выветривая из яранги студёный воздух долгой тёмной зимы.

Каждый день над одинокой ярангой пролетал вертолёт. А за ним летели птицы, прокладывая путь на далёкие арктические острова, где их ждала пробуждающаяся родина, остывшие за зиму гнездовья.

В один из таких дней, когда был не просто ясный, солнечный, а какой-то восторженный день, вдаль показался вездеход. Услышав его шум, все обитатели одинокой яранги вышли встречать машину.

Первой, неуклюже цепляясь за железные скобы, вышла из кабины Кымынэ. Тутриль бросился помогать ей.

– Етти, – удивлённо поздоровался он с матерью. Следом вылез Онно, а потом показался малахай Гавриила Никандровича.

Коноп стоял чуть в стороне и выразительно посматривал на Тутриля.

– Кыкэ вай! Какие неожиданные и хорошие гости! Скорее идите в ярангу! – Из яранги с приветственными причитаниями выбежала Эйвээмнэу.

Онно, захватив довольно объёмистый мешок, последовал за хозяйкой.

Гавриил Никандрович и Коноп потащили картонный ящик.

– Сегодня у нашего сына день рождения, – объяснил свой неожиданный приезд Онно. – Не принято было в старину отмечать этот день, но нынче повелось так. Это хороший обычай.

– И верно! – поддакнул Токо, явно смущённый приездом Кымынэ и Онно.

Казавшаяся до этого просторной, яранга стала тесной. Из чоттагина изгнали собак, благо на улице было тепло и тихо. Токо принёс ворох оленьих шкур, настелил на земляной пол. Эйвээмнэу на помощь костру зажгла примус, принялась толочь мороженое мясо.

Коноп и Тутриль составили два столика, покрыли их старыми газетами, а поверх – яркой клеёнкой с изображением всяческих яств. Гавриил Никандрович принялся строгать мороженую нельму, Кымынэ открыла консервы, и вскоре на столе было такое изобилие, что перед ним померкли нарисованные на клеёнке арбузы и виноград.

– Что же ты мне не сказал, что у тебя сегодня день рождения? – упрекнула Айнана.

– Честное слово, забыл, – ответил растерявшийся Тутриль.

Он никогда, как, впрочем, и родители, не придавал этому дню большого значения. Но Онно, видимо, нужен был предлог, чтобы приехать сюда.

Отец держал себя ровно, спокойно, только почему-то очень пристально разглядывал внутренность яранги, будто попал в это жилище впервые.

Токо, пряча усмешку, наблюдал за ним.

– Ну как? – спросил он, когда Онно потянулся за горячей щепкой из костра, чтобы прикурить.

– Что – как?

– Яранга, – Токо взял из руки Онно щепку и раскурил свою трубку.

– Огнём поменялись, – вдруг улыбнулся Онно, вспомнив старый обычай.

Обменяться горящим огнём означало многое: забыть старые распри, установить мир, начать жить в согласии.

– Нынче все старые обычаи... – Токо неопределённо махнул рукой. – Бывает, идут по священному и даже не задумываются.

– А что священно? – спросил Онно. – Уж не это ли? Он сделал широкий жест рукой, как бы обнимая чоттагин.

Тутриль старался быть поближе к матери, всячески ей помогал, а она удивлённо и смущённо говорила:

– Да что ты, я сама...

Наконец все уселись за пиршественный стол.

По привычке Гавриил Никандрович первым поднял кружку с вином:

– Дорогие друзья! Мы сегодня отмечаем день рождения нашего земляка Ивана Онновича Тутриля. Мы решили торжественно отпраздновать этот день, потому что он пришёлся на время пребывания нашего друга на родине, в кругу его близких, родных, друзей...

– И ещё, – встрял Коноп, – это происходит в яранге, в жилище, в котором Тутриль появился на свет.

– Конечно, это тоже важно, но не в этом суть, – возразил Гавриил Никандрович, продолжая свой тост. – Появление всякого человека – это чудо и самое величественное событие не только в его собственной жизни. Ведь появляется не только новый человек, а возникает целый новый мир...

Когда было выпито вино и съедена закуска, мужчины вышли на улицу покурить.

Онно зашагал в сторону моря, сделав знак Тутрилю следовать за собой.

От огромного ледового простора ещё веяло зимней стужей, но под ногами уже чувствовалась галька.

Остановившись перед торосами, Онно пошарил в кармане и вынул конверт.

– Письмо? – спросил Тутриль.

– Не тебе, а нам письмо, – сказал Онно. – Лена нам написала. Вот тут для тебя вложена открытка с поздравлением ко дню рождения.

В открытке были обычные слова поздравления, пожелания здоровья...

– Ну и что же она вам пишет? – как можно спокойнее спросил Тутриль.

– Пишет, что скучает по тебе... Послушай, сын... – Я не хочу тебя ни в чём упрекать. Однако некоторые люди уже начинают посмеиваться, говорят: это что же за научный такой труд – сидеть возле молоденькой женщины?

Тутриль сделал протестующий жест, но Онно властно остановил его:

– Не оправдывайся и ничего не говори! Не позднее послезавтрашнего дня – в Нутэн!

– Но ведь я не закончил...

– Закончишь дома! – строго прервал отец. – Запомни, не позднее послезавтрашнего дня...

– Я люблю её...

– Любовь не должна причинять страдания другим, – ответил Онно. – Настоящий мужчина всегда должен об этом помнить.

– Подожди...

Онно остановился.

– Я люблю Айнану...

– А Лену?..

– И Лену люблю, – ответил Тутриль, помолчав.

– Значит, двоих любишь? – с усмешкой спросил Онно. – Впервые такое слышу.

– А разве так не бывает?

– Почему не бывает? Бывает. Только это называется по-другому, – жёстко сказал Онно. – Будет так, как я тебе сказал. Через два дня.

Тутриль ничего не ответил.

В чоттагине уже начинали пить чай.

Тутриль сел в сторонке и молча принялся за чай, ловя на себе испытующие взгляды Айнаны.

Она взглядом спрашивала Тутриля, но он ничего не мог сказать ей: рядом с ним сидела Кымынэ и что-то говорила и говорила. И Тутриль лишь улавливал обрывки её слов:

– Я для Лены сшила новые торбаса. Повезёшь ей... Пусть носит в Ленинграде. Я сделала высокие подошвы, можно и в сырую погоду их надевать... Ты всё-таки почаще пиши ей. Она тебя любит и беспокоится...

Покончив с чаем, гости засобирались.

Попрощавшись, они уехали в синие сумерки весеннего долгого вечера по окрепшему насту.

22

Тутриль и Айнана шли по весенней тундре, руша ногами подтаявшие сугробы, скользя по обнажениям ледового покрова речушек, а то и просто тундровых лужиц и бочажков, всю зиму покрытых толстым слоем льда и освобождающихся нынче под горячими лучами весеннего солнца.

Видно было далеко кругом, и с вершины холма просматривалась такая даль, что дух захватывало. В этой огромной чистоте и тишине само собой куда-то ушло всё неприятное, точившее душу, щемящее сердце. Словно всё внутри расправилось, разгладилось, и хотелось просто идти и идти, растворяясь в этой чистой тишине, в прозрачном свете.

Айнана напевала песенку, легко шагая впереди Тутриля:

*Высокое небо,
Чистое небо...
Ветер, идущий с тёплой страны.
Летите, птицы, вестники счастья,
Несите на крыльях любовь и весну!*

Птичьи стаи летели на север.

На проталинах сидели евражки и пристально смотрели идущим вслед.

Часа через два Айнана остановилась и весело сказала:

– Будем чаевать.

Тутриль вынул из нерпичьего заплечного мешка большой термос, кружки, галеты и сахар.

Расположились на пригретом солнцем сухом пригорке, обращённом на южную сторону.

Прихлёбывая ещё горячий чай, Айнана смотрела на тундровую сторону и мечтательно говорила:

– В такую погоду хочется идти, не останавливаясь, вперёд и вперёд. Иногда сама пугаюсь – что это? Но ноги сами идут, а сердце рвётся, торопит... Иногда даже бегу, спотыкаюсь, падаю, встаю и снова бегу... Наверное, это какая-нибудь весенняя болезнь? Да?

– Может быть, – осторожно согласился Тутриль, чувствуя, что сегодня и у него такое же настроение. Ему хотелось уйти как можно дальше от одинокой яранги, от Нутэна, от всего, что могло помешать ему быть вместе с Айнаной.

– Как хорошо здесь! – вздохнула Айнана. – Правда, лучше, чем в весеннем лесу или в поле? Тут так всё чисто, светло и высоко. Будто самого тебя нет, а есть только то, что вокруг... Как жаль, что не все люди знают настоящую красоту тундры. Показать бы им всё это...

– Тогда все приедут сюда, потопчут цветы, натаскают пустых бутылок, консервных банок, а может, даже и пожар устроят... – с горькой усмешкой сказал Тутриль. – Ты не представляешь, что делается вокруг больших городов. Вот, кажется, ты попал в девственный лес, и вдруг что-то звякнуло под ногами – а это пустая бутылка из-под водки. Однажды я шёл по лесу недалеко от Зеленогорска, под Ленинградом. Зашёл далеко, даже испугался, что могу заблудиться, а вышел на поляну, гляжу – несколько машин «скорой помощи» стоят. Сначала подумал: несчастье какое. А потом спросил у шофёра – оказалось, работники «скорой помощи» выехали за грибами...

Айнана улыбнулась в ответ.

– Это что, – сказала она. – Вот в Анадыре я сама видела, как под видом санитарного рейса летали охотиться на гусей... Да и сейчас, наверное, в Канчаланской тундре гремят выстрелы. Мне один та-

мошный пастух рассказывал, что там делается во время гусяного перелёта. Десанты на парашютах спускают! Вездеходы, вертолёты, самолёты. Прямо как военные манёвры. И так каждый год! Несмотря на запреты, ограничения, постановления...

– Так что скоро и до этих мест доберутся, – заключил Тутриль.

– Неужели ничего нельзя сделать? Но как может человек уничтожать такую красоту? Он же сюда должен входить с трепетом души, с чистым сердцем... Наверное, так входят в храмы, да?

– Не знаю, как входят в храмы, – с сомнением покачал головой Тутриль.

– Но в Ленинграде же есть действующие церкви?

– Есть, но я там никогда не бывал, – сам удивляясь этому, ответил Тутриль.

– Странно, – задумчиво произнесла Айнана. – А я бы пошла, хоть и комсомолка. Это так интересно. Ведь не все верят в бога. Большинство, наверное, хотели просто поразмышлять, подумать... А я где-то читала про природу: как храм... Наверное, это хорошо...

Напившись чаю и налюбовавшись на пробуждающуюся природу, Тутриль и Айнана отправились дальше.

– Успеем вернуться к вечеру? – спросил Тутриль.

– Мы дойдём до последних капканов только к закату, – сказала Айнана. – Оттуда – в охотничью избушку, там переночуем, а завтра поутру двинемся обратно. Так хорошо, давайте не будем торопиться.

– Хорошо, не будем, – весело согласился Тутриль, радуясь возможности подольше побыть наедине с Айнаной.

По подтаявшему склону они спустились в долину реки Вээм. Синий, набухший водой лёд обнажался, и уже кое-где поверх бежала талая снежная вода.

Во всей этой весенней ясности и чистоте было только одно маленькое облачко, омрачившее настроение Тутриля: приказ отца не позже завтрашнего дня возвратиться в Нутэн. Конечно, можно взбунтоваться и пренебречь отцовским приказом – человек он взрослый и самостоятельный, полностью отвечающий за свои поступки. Но вчера, когда отец тихим и твёрдым голосом сказал: не позже послезавтрашнего дня, – Тутриль вспомнил себя маленьким мальчишкой. Онно не был многословен и, по обычаю чукотских родителей, не баловал своего единственного сына. Скорее он держал его в строгости и довольно жестоко воспитывал. Поутру Тутриль часто просыпался от удара пучка засохших оленьих жил по мягкому месту. Не успев открыть глаза, он выскакивал в чоттагин и, не разбирая дороги, наступая на спящих собак, скользя по льдинкам псиной мочи, выбегал наружу, чтобы обозреть горизонт, запомнить облачность, направление ветра, блеск звёзд. Тело охватывал мороз, словно клещами, ноги жгло, и, чтобы согреть их, Тутриль

старался попадать тёплой струёй на ступни. По часам это было что-то около пяти утра. После скудного завтрака Онно отправлялся в ледовое море, но Тутрилю уже не полагалось ложиться спать. В эти тихие утренние часы под еле слышимую материнскую песню он готовил уроки, читал книги.

Чаще всего отец возвращался уже в зимних сумерках, под отблеском звёзд и полярного сияния. К этому времени Тутриль привозил лёд с речки, готовил корм для собак, убирал снег вокруг яранги. Всё это время не полагалось входить в полог, и было только два места, где можно было согреться, – школа или полярная станция.

Онно почти не интересовался школьными успехами сына, но Тутриль заметил, как он втайне гордился, слыша от учителей похвальные слова о нём.

Тутриль никогда не сомневался в том, что отец хоть и строг, но справедлив к нему. Но теперь... Может быть, это тот случай, когда Тутриль сам разберётся, без посторонней помощи?

– Я давно не проверяла дальние капканы, – призналась Айнана, – с тех пор, как вы приехали. Боялась почему-то далеко уезжать... Наверное, их там позанесло снегом.

– А если добыча?

– Добычу волки и росوماхи давно поели, – усмехнулась Айнана.

Голос Айнаны заглушал собственные тягостные размышления, и он, оглядевшись вокруг слегка прищуренными от солнечного блеска глазами, вернулся к состоянию удивительной лёгкости, к ощущению свободы.

Несколько раз путники останавливались передохнуть. После полудня устроили большой привал и даже разожгли костёр, набрав сухих щепок на обнажившейся из-под снега галечной косе. В основном это были просоленные куски древесной коры. Они горели слабым синим пламенем, и дым от них был горький, возвращающий в детство, в яранги, весеннюю оттепель, когда через косу летят утки.

– А ведь скоро утки должны полететь, – сказал Тутриль.

– Около двадцатого мая, – отозвалась Айнана. Она резала острым охотничьим ножом кусок варёного нерпичьего мяса.

– Чаю бы попить...

Айнана посмотрела на Тутриля.

– В избушке почаюем.

Она встала, прошла к снежной низине, потоптала ногами и из ямки набрала чистой холодной снеговой воды.

Тутриль пил студёную до ломоты в зубах воду и через край кружки смотрел на Айнану, чувствуя, как снова растёт у него в душе мягкое, большое облако нежности.

Далеко позади осталось место привала. Тихо скрипел под ногами подтаявший снег.

Взобравшись на пригорок, Айнана перекинула бинокль вперёд и достала его из футляра.

Пока она обозревала окрестности, Тутриль сидел на снегу. Хотелось пить, но он знал, что есть снег – только разжигать огонь и усиливать сухость во рту. Он с вожделием смотрел на низину, где под голубоватым от отражённого неба снегом угадывалась талая, холодная вода.

– Что-то там есть, – сказала Айнана, отнимая от глаз бинокль. – Кто-то копошится. Похоже, росомаха.

Она ходко пошла вперёд, и Тутриль едва поспевал за ней, стараясь не отставать.

Теперь и Тутрилю было хорошо видно, как росомаха возилась у капканов.

Он напряг силы и поравнялся с Айнаной.

– По-моему, она попала в капкан, – торопливо сказал Тутриль. В его голосе чувствовалось волнение азарта. – Вот тебе и подарок будет от меня. Ты знаешь, если уж говорить о ценности меха, то самый лучший – это росомахи. Тёплый, прочный, на морозе не индевет... Сошьёшь зимнюю шапку, и ещё на воротник останется.

Однако росомаха, увидев приблизившихся людей, отбежала от капкана и обглоданного тюленьего костяка – приманки.

– Ах ты подлая! – выругался Тутриль и торопливо вытащил из чехла мелкокалиберную винтовку.

Он встал на одно колено, прицелился и выстрелил. Росомаха отбежала ещё на несколько шагов и остановилась, как бы дразня людей.

Тутриль погрозил в её сторону кулаком. В одном капкане лежал почти целый песец, а в другом виднелись только клочья шерсти.

Айнана вытащила капканы, очистила их от снега.

Исследовав остатки песца, она коротко сказала:

– Пригодится.

Росомаха стояла на дальнем торосе, на морской стороне, и продолжала следить за людьми.

По морскому торосистому льду было идти гораздо труднее, чем по тундровому снегу. То и дело преследователи проваливались в мягкий, подтаявший снег, под которым хлюпала вода. Быстро намокли торбаса, набухли влагой.

Тутриль несколько раз останавливался и стрелял в зверя, но росомаха стояла далеко, а прерывистое дыхание не позволяло хорошо прицелиться.

Пока перебирались через гряду торосов, потеряли зверя из виду, и Айнана устало сказала:

– Ну её, росомаху! Обойдусь без шапки и воротника!

Тутриль поднял на неё разгорячённое, блестевшее от пота лицо и удивлённо произнёс:

– Как же так? Да мы её запросто догоним! Вон её следы. Пойдём по ним. Она от нас далеко не уйдёт.

Тутриль это сказал так, что у Айнаны не осталось никаких сомнений: он будет преследовать зверя до конца.

Она уныло поплелась за Тутрилем. Улучив минутку, напилась досыта снежной воды, припав разгорячёнными губами к лужице.

– Зря ты это делаешь, – сказал Тутриль. – Так будет труднее идти.

Он оказался прав. Уже через несколько минут Айнана почувствовала, что задыхается. Вода булькала и переливалась в пустом желудке, и она с раздражением слышала её шум.

Тутриль шёл не останавливаясь, изредка отрывая взгляд от следа и обозревая возвышающиеся торосы.

– Росомаха дойдёт до воды и повернёт обратно, – со знанием дела сказал Тутриль.

– Тогда, может быть, не будем торопиться? – предложила Айнана. – Раз она всё равно повернёт?

– А может, она другим путём будет возвращаться? – возразил Тутриль. – Главное – не упустить след.

Айнана поняла, что спорить с охваченным азартом Тутрилем нет смысла, и, стиснув зубы, собрав силы, побежала следом за ним, карабкаясь через торосы, хлюпая мокрыми торбасами по сырому подтаявшему снегу.

Она мысленно ругала росомаху и кляла себя за то, что не решается прекратить погоню: это значило бы уронить себя в глазах Тутриля.

Айнана задыхалась, ловила широко открытым ртом воздух. Сердце колотилось под самым подбородком, словно желало выскочить наружу, на вольный воздух.

Тутриль нёсся легко, будто для него не существовало неровностей морского льда. Айнане порой казалось, что он перелетает через торосы и ропаки.

Перебираясь через высокий, сглаженный солнечными лучами край тороса, Айнана поскользнулась и упала к его подножию, оцарапав лицо острыми кристаллами фирнового снега.

Она очнулась, почувствовав, как что-то сладкое и холодное лётся ей в рот. Она открыла глаза и увидела близко над собой глаза Тутриля – широко раскрытые, встревоженные, полные ласки; он поил её чаем из термоса.

– Что с тобой? Тебе плохо?

– Нет, теперь мне хорошо, – прошептала Айнана и снова закрыла глаза.

Понемногу сознание прояснилось, возвратились силы, и через

несколько минут, к великой радости Тутриля, Айнана уже могла поднять голову, сесть и внятно говорить.

– Ну, где росомаха? – со слабой улыбкой спросила она.

– Ушла, – сокрушённо вздохнул Тутриль. – Так мне хотелось тебе сделать подарок. Чтобы ты помнила меня...

– Я и так буду вас помнить, – сказала Айнана. – Всю жизнь...

Она сняла оленьи рукавицы и тёплыми ладонями потёрла щёки Тутриля.

– Всегда буду вас помнить, – шептала она. – Наверное, так и должно было случиться в моей жизни... Ведь правда? Пусть что угодно думают и говорят другие, а я знаю: больше такого счастья у меня никогда не будет. У человека в жизни, наверное, должна быть такая вершина: поднялся на неё и всё увидел. Потом уже ничего не страшно... Я точно знаю – такого больше не будет. Так бывает только один раз.

23

Токо медленно строгал на верстаке заготовку для полоза. Тонкая стружка с лёгким шелестом падала к его ногам и словно оживала, шевелясь под усиливающимся ветром. Солнце уже давно перешло береговую черту и висело над морскими льдами, медленно, словно нехотя, снижаясь над горизонтом. По часам приближалась полночь, но ни Айнаны, ни Тутриля ещё не было. Тревожиться, в общем-то, нечего – Айнана в тундре не растеряется, да ещё в такую погоду... И Тутриль не мальчишка. Когда хорошо вдвоём, спешить некуда.

Токо вздохнул и перестал строгать.

Он взял бинокль и принялся обозревать горизонт. Сильно подтаяла тундра. Однако, глядя на морскую сторону, не скажешь, что уже весна, если не приглядишься и не заметишь посиневший и отяжелевший снег, пропитанный талой водой.

Нехороший этот ветерок. Он дует с юга и может превратиться в неистовый весенний ураган, который отрывает береговой припай и открывает свободную воду.

В яранге возилась Эйвээмнэу, давая знать мужу, что не ложится спать и ждёт. Она гремела посудой, почему-то ходила за водой к береговой снежнице, усердно выбивала постели на снегу.

Токо ещё раз глянул на солнце, осмотрел в бинокль окрестности и, убрав инструмент, вошёл в ярангу.

На часах было уже около одиннадцати.

– Не вернулись? – сказала Эйвээмнэу.

– Не успели, – ответил Токо. – Дорога плохая, снег мокрый, идти трудно.

– На собаках бы поехали...

Токо посмотрел на жену и терпеливо объяснил:

– Полозья менять надо на нарте, деревянные на железные...

Будто она не знает, почему Айнана не поехала на собаках. Лишь бы поговорить.

Токо медленно разделся и улёгся в постель, высунув, по обыкновению, голову в чоттагин. Он курил и думал, что именно чоттагина ему и не хватает, когда он живёт в домике. Как хорошо перед сном выкурить последнюю трубку на студёном свежем воздухе, освежить усталую голову и заснуть просветлённым и отдохнувшим.

Порыв ветра рванул моржовую покрывку яранги, и Токо лицом ощутил снежинки.

– Пурга! – испуганно произнёс он.

Торопливо одевшись, Токо выскочил наружу. Ветер нёс густую, казалось, непроницаемую стену тяжёлого мокрого снега. Он больно хлестал по лицу, пригибал к земле. Токо торопливо снимал с вешал песцовые и нерпичьи шкурки. Побросав всё это в чоттагин, он кинулся убирать распяленную на снегу лахтачью кожу. Его чуть не унесло ветром вместе с кожей, которая, как парус, тянула в море.

Токо уже подумывал выпустить из рук гремящую кожу, как вдруг почувствовал облегчение и увидел рядом Эйвээмнэу.

Вдвоём всё, что могло быть унесено ветром, они убрали в чоттагин, втащили собак и тщательно закрыли дверь. Прислушиваясь к шуму ветра, он обозрел кожаную покрывку и, заметив почти невидимые дырочки, заделал их специальными тонкими палочками.

Забравшись в полог, он высунул голову в чоттагин и закурил.

– Как там Тутриль и Айнана? – тревожно спросила Эйвээмнэу.

– Сидят в избушке, радуются...

– Чему радоваться в такую непогоду?

– Что одни остались.

Токо отвечал жене, а в сердце заползала тревога: а если они не успели добраться до избушки? Весенняя пурга коварная, она налетает неожиданно и может застигнуть вдали от жилища. Правда, можно схорониться в снежной норе. Но это день-два: без пищи и питья трудно.

Токо ворочался, кряхтел, чувствовал, что и жена не спит, однако не показывает виду.

Токо мысленно проходил путь, по которому пошли Айнана и Тутриль. Сначала вдоль берега моря. Потом надо пересечь лагуну и снова выйти на берег, где была положена выброшенная осенними штормами приманка – протухшая туша лахтака. Недалеко оттуда, в четырёх часах хода, – охотничья избушка. От избушки ближе к Нутэну, чем к одинокой яранге. А вдруг они решили пойти в село? Сидят там в домике и чай пьют, а тут волнуйся за них...

Кряхтя, Токо осторожно вылез из полога.

– Ты куда? – насторожилась Эйвээмнэу.

– Спи, спи, – успокоил её старик. – Рацию надо включить.

– Ты что? – Эйвээнэу пристально поглядела на старика. – На ночь-то зачем тебе радио?

– Может, они к Нутэну пошли, – раздражённо ответил Токо. – А потом, ты знаешь, в пургу полагается держать радио включённым – мало ли что...

Токо поставил радио у изголовья, так, чтобы можно было легко дотянуться до телефонной трубки, вполз обратно в полог и неожиданно для себя быстро и крепко заснул.

24

В тот же день, перед вечером, в Нутэн пришёл вертолёт.

Никто не ожидал гостей, приезда районного начальства не намечалось, и поэтому на вертолётную площадку отправился, таща за собой пустую нарту, только начальник сельской почты Ранау.

Выждав, пока лопасти останвятся, он поближе подтащил нарту к дверце, чтобы сподручней было грузить мешки с почтой, и был страшно удивлён, увидев перед собой молодую женщину со смущённой и растерянной улыбкой.

– Здравствуйте! – приветливо произнесла женщина и спрыгнула на снег.

– Етти! – ответил Ранау.

Женщина поздоровалась и заметила:

– А я знаю, что такое – етти!

Из вертолётного чрева появился лётчик и объяснил Ранау:

– Елена Петровна, жена Тутриля...

Ранау снова уставился на женщину, потом вдруг круто повернулся и побежал, размахивая руками и крича:

– Онно! Кымынэ! К вам гость!

Лётчик крикнул вслед почтарю:

– Эй, Ранау! А почту кто получит? Нам ведь обратно улетать, погода портится.

Ранау остановился, вернулся и виновато сказал Елене Петровне:

– Хотел обрадовать стариков. Но ничего, всё равно я первым принесу им новость...

– Почему стариков? А где Тутриль?

– Тутриль в яранге, – ответил Ранау.

– В какой яранге?

– Фольклор собирает, – с трудом выговорив слово, сообщил Ранау. – Да вы не беспокойтесь, это совсем близко отсюда. На вездеходе часа полтора.

Лётчики вместе с почтой вынесли чемоданчик Елены Петровны и положили на нарту.

Лена попрощалась с лётчиками, поблагодарила их.

Ранау впрягся в нарту и оттащил её от вертолётa, который уже раскручивал лопасти.

Искоса поглядывая на спутницу, Ранау отмечал про себя, что Тутриль выбрал себе хорошую, можно даже с уверенностью сказать – красивую жену.

Лена шла рядом с Ранау, жадными глазами вглядываясь в утонувшие в снегу домики. Подальше стояло несколько двухэтажных зданий.

Ветер, неожиданно холодный, заставлял отворачивать лицо, и Ранау заметил:

– Однако пурга будет...

– Пурга? – отозвалась Лена. – Вот интересно! Я много читала и слышала про чукотскую пургу... А тут летела – везде отличная погода. Вы представляете – от Москвы до Нутэна я летела всего четырнадцать часов! Говорят, что это рекорд.

– Почему рекорд? – заметил Ранау. – Нынче быстро стали летать. По почте заметно. Иногда мы «Правду» получаем на следующий день, а бывало, месяцами не видели свежих газет.

Возле домика, стоящего на отшибе, Ранау остановился и сказал:

– Тут живут Онно.

Он постучал в дверь и торжественно сказал выглянувшей Кымынэ:

– Вот твоя невестка приехала. Жена Тутриля.

Кымынэ не могла поверить глазам. Но это была она, правда немного не такая, как на фотографии, но точно она – Лена Тутриль.

– Кыкэ! – тихо воскликнула по-чукотски Кымынэ и добавила по-русски: – Ой! Да что вы стоите, заходите!

Лена видела, как растерялась Кымынэ, и, стараясь не смущать её, весело сказала:

– Да вы не беспокойтесь!

– Как же так? – причитала Кымынэ, вводя за руку Лену в домик. – Ни Тутриля нет, нет и Онно...

– Я уже знаю, Тутриль в яранге работает, – сказала Лена. – Да вы не беспокойтесь!

– Сейчас чайник поставлю... Наверное, вы устали? Мой русский язык плохой...

– Ничего не надо. – Лена сняла пальто, села на стул, с любопытством оглядывая просто обставленную комнату. На полу она заметила лоскутки шерсти, острый ножик, нитки и иголки.

Заметив её взгляд, Кымынэ собрала своё шитьё и виновато произнесла:

– Не успела прибраться...

Кымынэ суетилась, бралась то за одно, то за другое. Кое-как ей всё же удалось собрать на стол, помочь Лене умыться. Перед чае-

питием невестка открыла чемодан и достала большую красивую коробку с конфетами.

– Это вам.

– Ой, большое спасибо, – засмушалась Кымынэ.

Она налила чай, уселась напротив и принялась разглядывать Лену.

Мимо дома прогрохотал вездеход, и Кымынэ вскочила со стула, бросив гостье:

– Подождите!

Вездеход умчался к гаражу, поднимая снежную пургу за собой. Кымынэ вернулась в дом и взялась за телефон.

– О, у вас даже телефон есть! – с удивлением заметила Лена.

– Есть, – почему-то тихо ответила Кымынэ и набрала номер гаража.

Услышав голос Конопа, Кымынэ торопливо заговорила по-чукотски:

– Алло! Слушай, что случилось! Нет, никакого несчастья нет, наоборот даже: приехала жена Тутриля... Она самая. Сидит у меня и чай пьёт. Но нет ни Тутриля, ни Онно. Не знаю, как быть. Пришли, пожалуйста, Долину Андреевну, пусть поможет...

– Интересно, а в Ленинград можно позвонить отсюда? – спросила Лена.

– Наверное, можно... В четыре можно вызвать ярангу и поговорить с Тутрилем, – сказала Кымынэ.

– Правда? – обрадованно спросила Лена.

– А что тут такого – каждый день разговариваем.

Лена попросила налить ещё и сказала:

– А мне тут нравится...

Кымынэ опять засмушалась:

– Да у нас ничего такого... Мебель хорошую не везут... А вообще снабжение хорошее. Раз по ошибке завезли автомобиль «москвич». Предлагали Онно, как лучшему охотнику и ветерану, но мы подумали и отказались – куда поедешь на нём...

Припорошённые снегом, в комнату вошли Коноп и Долина Андреевна.

– Вот какая жена у Тутриля! – удовлетворённо заметил Коноп и получил толчок в бок от Долины Андреевны. – Приветствуем на родине вашего мужа, так сказать... Вот пурга началась, а многие охотники не вернулись...

– Это опасно? – встревоженно спросила Лена.

– Ерунда! – махнул рукой Коноп. – Ничего страшного, унесёт в море – и дело с концом!

– Что ты говоришь, Коноп! – Долина Андреевна поторопилась успокоить гостью. – Это он шутит...

– Да вы садитесь, – пригласила всех за стол Кымынэ. – А ты, Ко-

ноп, сбегал бы в магазин, попросил бы ради такого случая бутылку шампанского...

– Да у меня есть! – обрадованно сказала Лена. – Бутылка сухого вина. Давайте откроем!

– Давайте! – с готовностью отозвался Коноп. – Где она?

Лена достала бутылку из чемодана и подала Конопу. Тот поглядел на этикетку и заметил:

– Двенадцать градусов всего...

Долина Андреевна, всегда такая самоуверенная и громкоголосая, на этот раз держалась как-то странно тихо и робко. Коноп не узнавал её и потихоньку радовался тому, что она не делает замечаний и не учит всех, как и что надо делать.

Зазвонил телефон. Кымынэ взяла трубку, послушала и с сияющим лицом сообщила:

– Гавриил Никандрович звонил. Возвращаются охотники. Видели Онно уже под скалами. Двух нерп тащит, поэтому медленно движется.

Лена старалась держаться непринуждённо, но это не получалось у неё. Может быть, потому, что чувствовала настороженное к себе отношение. Пока один лишь Коноп был ясен и понятен. Он разговаривал с Леной безо всякой хитрости, расспрашивал её о Ленинграде, шутил и пил вино.

– Мы ведь с Тутрилем в одном классе учились. За одной партией сидели. Скажу честно, особенной учёности он не проявлял. Иногда списывал у меня...

– Коноп!

Коноп даже не обернулся на возглас Долины Андреевны и продолжал как ни в чём не бывало:

– Списывал. Задачи по арифметике ему трудно давались... А я у него русский списывал. Взаимопомощь у нас с детства была налажена, как у настоящих друзей.

Кымынэ взяла старенький жестяной ковшик, зачерпнула из ведра воды со льдинкой, приладила руками волосы и виновато сказала:

– Выйду встречать охотника.

– А можно мне? – спросила Лена.

Секунду поколебавшись, Кымынэ ответила:

– Конечно, можно... Вы ведь член нашей семьи...

Охотник подтащил убитых нерп к самому порогу, молча, исподлобья глянул на Лену, и что-то мелькнуло в его лице. Лена понимала, что она сейчас должна стоять тихо и ничего не говорить. Тутриль часто вспоминал этот обряд, и теперь он совершался на её глазах.

Кымынэ подождала, пока Онно снял с себя упряжь, потом облила водой нерпичьи морды, а остаток вместе со звеневшей льдин-

кой подала мужу. Охотник медленно, со вкусом выпил воды, а льдинку сильным взмахом выплеснул в сторону скрытого пургой моря.

– Ну, а теперь здравствуй, – сказал Онно Лене, будто знал, что она приедет, и ждал её.

Нерп втащили в домик и положили на разостланную клеёнку оттаивать.

Онно выбил снег из одежды и вошёл в комнату.

– Какомэй, сколько гостей! – удивился он.

– Иди садись за стол, – позвал его Коноп, – я тут оставил тебе немного вина. Сухое называется, но пить можно... На материке все умные люди перешли на него.

– С чего бы это? – спросил Онно.

– Вот Лена говорит, беседовать под это вино хорошо, и пользу организму приносит.

Онно отпил вина из стакана, поморщился:

– Ничего. На квас похоже.

Разговор за столом почему-то не клеился. Необычно молчаливая Долина Андреевна вдруг заторопилась домой, но в это время пришёл Гавриил Никандрович. Он тепло поздоровался с Леной и сказал:

– Я только что звонил в ярангу...

– Ну и что? Тутриль вернулся?

– Не вернулись они, – ответил Гавриил Никандрович. – В дальнюю охотничью избушку ушли. Видно, там будут пережидать пургу.

Он оглядел комнату и позвал Онно в кухню:

– Куда же вы её положите?

– На диван, куда же ещё?

– В одной комнате с вами?

– Не на кухню же.

– Не знаю, не знаю... Понравится ли ей?

– Уж если она вышла замуж за моего сына, нравится или не нравится ей у нас, пусть терпит, сама выбирала! – сердито ответил Онно.

Он, как и Кымынэ, тоже чувствовал неловкость, стеснённость, и это его раздражало. Чёрт знает, как надо держать себя при тангитанской невестке? Куда проще было бы, если бы женой сына была чукчанка.

– Может, поместить в дом приезжих? – осторожно предложил Гавриил Никандрович.

– Да ты что? От живых родственников? Нет, так дело не пойдёт! – сердито ответил Онно.

Когда мужчины вернулись в комнату, Долина Андреевна по-прежнему молчала и сердито посматривала на Конопа, который, несмотря на слабость вина, был очень оживлён и красен.

– Товарищ Коноп, – неожиданно томным и слабым голосом попросила она, – не проводите ли меня домой?

Коноп на полуслове оборвал разговор с Леной, удивлённо поглядел на свою тайную подругу и послушно встал, произнеся со вздохом:

– Ну что же, пошли...

После их ухода Кымынэ засуетилась, готовясь к разделке добычи.

– Давайте я вам помогу, – предложила Лена.

– Да что вы, – махнула рукой Кымынэ, – запачкаетесь...

– Ну и что? – весело ответила Лена. – Мне так хочется всё попробовать – и нерпу разделать тоже... Мне Тутриль много рассказывал, и сейчас у меня такое чувство, будто я вернулась домой после долгого отсутствия, будто я уже тут давным-давно жила...

Онно внимательно и настороженно слушал эти слова, и на душе у него становилось легче.

Женщины ушли на кухню.

– Завтра, если пурга не усилится, можно послать Конопа к дальней избушке, – сказал Гавриил Никандрович.

– Не надо, – строго произнёс Онно. – Завтра Тутриль сам придёт. Он мне обещал.

– В такую пургу? – усомнился Гавриил Никандрович.

– Должен прийти, – уже с оттенком сомнения произнёс Онно.

25

Давно был потерян след росوماхи, и Айнана с Тутрилем брели наугад, стараясь держаться направления на берег. Обоих тревожила одна и та же мысль: лишь бы не оторвало лёд. И ещё – мокрые торбаса. Несмотря на талый снег, хлюпающую воду, торбаса почему-то смерзались, сжимая ноги в тесные, будто железные колодки. Идти становилось всё мучительнее.

Тутриль остановился под защитой большого тороса и сказал спутнице:

– Посушим торбаса.

– Как? – удивилась Айнана, втайне радуясь, что удастся передохнуть.

– Как в детстве меня учил дядя Токо, – сказал Тутриль и сел прямо на снег. Он, видно, тоже устал и некоторое время сидел закрыл глаза. Снег таял на его лице, стекал по щекам, по подбородку, и было такое впечатление, что он плачет. Айнана испугалась и крикнула:

– Тутриль!

Он открыл глаза и улыбнулся ободряющей улыбкой:

– Ничего, сейчас будет всё в порядке. Разувайся.

Пока Айнана негнуцимся, замерзающими пальцами пыталась развязать разбухшие, сырые завязки, покрывшиеся к тому же льдом, Тутриль сгребал снег. Потом сам снял торбаса и чижи. Он изо всех сил колотил обувь по снегу. Наконец Айнана стянула и свои торбаса и последовала примеру Тутриля.

– Если бы мороз был покрепче! – сквозь ветер прокричал Тутриль. – Снег мокрый, плохо сушит мех.

И всё же после того как чижи и торбаса были обработаны снегом, они, к удивлению Айнаны, оказались гораздо суше. Во всяком случае, они не были такими мокрыми, хотя и чувствовалась сырость.

– Ну, а теперь пошли, – решительно сказал Тутриль.

– Посидим немножко, – умоляюще произнесла Айнана.

– На берегу отдохнём, – обещал Тутриль. – Оторвёт на льдине, что будем делать?

– Спасут, – уверенно ответила Айнана. – На вертолёте снимут, а потом в газетах напечатают.

– Нет уж, этого не надо – ни вертолёта, ни газет, – серьёзно сказал Тутриль. – Пошли!

Айнана с едва сдерживаемым стоном поднялась на ноги и поплелась следом за Тутрилем, который, низко пригнувшись, прокладывал путь сквозь пургу.

Айнана смотрела на его согнутую спину, скрытую белой камлейкой, видела, как он едва удерживается на ногах, борясь с порывами ветра, и стыд разгорался в ней. Она догнала Тутриля.

– Теперь я пойду вперёд!

– Ты же дороги не знаешь.

– А будто вы знаете?

– Нет уж, идём, как шли.

Айнана только дивилась, откуда у её спутника такие силы, и едва попевала за ним. Самое неприятное было то, что приходилось идти против ветра. Летящий снег больно хлестал по лицу, выжимал слёзы и не давал возможности как следует разглядывать дорогу. Путники часто падали, спотыкаясь о мелкие льдинки, обломки торосов.

Внезапно Тутриль заметил трещину прямо перед собой. Сначала он не понял, что это такое, но тут его сзади схватила Айнана и закричала:

– Вода!

Трещина была ещё неширокая. Видимо, лёд только что оторвался. Зелёная тёмная вода была удивительно спокойна и действовала как-то завораживающе.

– Скорее! Скорее прыгайте! – кричала Айнана.

Повинуясь её крику, Тутриль перемахнул через расширяющуюся на глазах трещину и оказался на другом ледовом берегу.

– А ты что стоишь? – крикнул он Айнане.

Через секунду Айнана была рядом.

– Я хотела, чтобы вы первым прыгнули, – объяснила она свою медлительность. – Пошли скорее. Может быть, это не последняя трещина.

И снова – в путь через пургу, через хлещущий ветер.

Эту грядку торосов преодолевали особенно долго. Она отняла последние силы, и, перекатившись на другую сторону, Тутриль в бессилии повалился на снег. Рядом упала Айнана. Она тяжело дышала, и лицо её горело от ударов тысяч сырых, острых снежинок.

– Сколько же времени мы идём? – переведя дыхание, спросила она.

Тутриль зацепил рукавицей край рукава, посмотрел на часы.

– Половина пятого утра... Берег уже должен быть близко. Пойдём.

– Давайте немного отдохнём? – взмолилась Айнана.

– А если опять трещина?

Айнана ничего не ответила. Как мучительно подняться на ноги и сделать шаг!

Теперь Тутриль и Айнана шли рядом, поддерживая друг друга. Они ложились грудью на упругий ветер, отвоёвывая пространство у пурги.

Вдруг Айнана схватила Тутриля сзади и закричала:

– Вода!

Трещина была такая же примерно, как и первая. Но она, видно, только что возникла и увеличивалась прямо на глазах.

Тутриль, не задумываясь, перемахнул через неё и оглянулся. На другой стороне стояла Айнана и с ужасом смотрела на расширяющуюся трещину.

– Скорее! Скорее прыгай! – закричал ей Тутриль.

Но трещина уже была такая, что Айнане её ни за что не перепрыгнуть. Правда, она отошла назад, разбежалась, но остановилась у самой воды.

– Скорее! Прыгай! – в отчаянии кричал Тутриль.

Ветер трепал матерчатую камлейку Айнаны, ворошил меховую опушку капюшона, а она стояла неподвижная, словно застыв от мороза. Она неотрывно смотрела, словно заколдованная, на чёрную, тяжёлую, холодную воду.

Он отошёл назад, чтобы взять разбег.

– Не надо! Не прыгайте! – услышал он крик Айнаны.

Но было уже поздно. Он упал в воду у края трещины, но успел схватиться руками за лёд. Айнана подбежала и начала вытаскивать его. Ей трудно было тащить намокшее тяжёлое тело. Она кричала, плакала, что-то говорила, а Тутриль молча, обдирая пальцы в кровь, подтягивался всё выше и выше, пока не вылез окончательно из густой, ледяной воды.

Дверь чуть не вырвало у него из рук – такой силы был ветер, но Токо всё-таки выбрался из яранги, прополз вокруг и увидел над собой небо – пурга была низовая, именно такая, какая бывает весной. Снегу уже почти не было – один ветер бесновался, рыская повсюду в поисках остатков снежного покрова.

Судя по цвету неба над морем, припай оторвало и открытая вода вплотную подступила к берегу. Кончится пурга – надо будет собираться в Нутэн, сворачивать ярангу, паковать вещи. Летом начинается совместная охота: одному не добыть моржа, не загарпунить кита. Да и, честно говоря, устал он от зимней жизни в яранге. Отвык, что ли? Он с затаённым удовольствием думал, как будет сидеть у окна в просторной комнате и смотреть на море. Если перейти к другому окну – видна лагуна и утиные стаи, пересекающие косу, на которой расположился Нутэн. Нет ничего приятнее, как ожидание возвращающихся вельботов тихим летним вечером. Белые суда показываются из-за мыса и медленно приближаются к селению. На берег спускаются встречающие, все охвачены волнением и радостным ожиданием.

Прижимаясь к земле и кое-где ползком, Токо обошёл ярангу и возвратился в чоттагин, довольный осмотром жилища.

Эйвээмнэу разожгла костёр, но пламя было тревожное и металось под закопчённым дном чайника.

– Плохо, – отдышавшись, сказал Токо. – Ветер сильный.

– Каково там нашим ребятам в избушке, – вздохнула Эйвээмнэу.

– В избушке хорошо, – ответил Токо. – Продукты есть, угля хватит.

После утреннего чаепития Токо услышал гудение зуммера и взял трубку.

Он услышал знакомый голос Гавриила Никандровича. Директор совхоза поинтересовался самочувствием.

– У меня всё хорошо! – бодро ответил Токо. – Все системы работают нормально.

– У нас тоже всё в порядке, – сказал Гавриил Никандрович. – Есть намерение вездеходом добраться до вас, а оттуда к охотничьей избушке. Снегу сейчас не так много, думаю, что Коноп не заблудится...

– А куда спешить? – возразил Токо. – Ребята сидят в избушке. Продуктов и топлива у них на две недели хватит. Зачем зря гонять вездеход, да ещё в такую погоду?

– Понимаете, тут такое дело, – Гавриил Никандрович несколько раз кашлянул в трубку, – жена Тутриля приехала.

Токо отнял от уха чёрную телефонную трубку, поглядел на неё, скова приложил и спросил:

– Как же она ухитрилась из такой дали, из Ленинграда, да ещё в пургу?

– Вчера последним вертолётom прибыла.

– Раз такое дело – пусть Коноп едет к избушке.

– Ну добре, тогда ждите гостей.

Токо положил телефонную трубку и сказал старухе:

– Тутриля жена прилетела из Ленинграда.

– Кыкэ вынэ! – всплеснула руками Эйвээмнэу. – Что же теперь будет?

– На вездеходе Коноп поедет в избушку, – тихим голосом сообщил Токо. – Готовь одежду, поеду с ними проводником.

Вездеход прибыл к одинокой яранге после полудня. Рядом с водителем сидела одетая в камлейку светлая женщина. Эйвээмнэу узнала камлейку Кымынэ и догадалась, что это и есть жена Тутриля.

Ещё издали в проблесках пурги Лена увидела ярангу, и странное, щемящее чувство охватило её. В этом древнем жилище, стоящем одиноко в огромном открытом просторе, было что-то беззащитное, слабое и жалкое. Ей, привыкшей к большим городам, к бесконечным рядам огромных каменных зданий, было странно представить себе людей, находивших убежище в этом хрупком на вид сооружении из звериных шкур и тонких деревянных жердей.

Лена вспомнила рассказы Тутриля о детстве, в которых сквозила тоска по яранге, по меховому пологу...

Люди вошли в чоттагин, и, по неизменному чукотскому обычаю, Эйвээмнэу предложила им чай.

Мужчины принялись обсуждать предстоящий путь к охотничьей избушке. Они о чём-то горячо спорили по-чукотски, а Эйвээмнэу молча и ласково улыбалась непривычной гостье. Сначала Лена подумала, что старушка по-русски не говорит, но вдруг услышала ласковое, тихое:

– Кушайте, кушайте.

– Спасибо, – ответила Лена и ещё раз оглядела древнее чукотское жилище.

Так вот в какой обстановке родился и вырос её муж. Значит, не зря в нём было что-то не до конца понятное, словно скрытое под толстым слоем снега. За стенами свистал и бесновался ветер, и Лена удивлялась, как не уносит ярангу в море. Она чувствовала усилия, с которыми яранга сопротивлялась буре, и тут поняла, почему чукотский человек так крепко связан с ярангой: она для него не только жилище, а существенная часть его самого.

Гавриил Никандрович обратился к Лене:

– Для вас лучше будет, если вы останетесь в яранге и здесь подождёте. Дорога трудная, тряская, душу из вас вымотает.

Откровенно говоря, езда в вездеходе Лене не понравилась: её укачало, и она с радостью согласилась обождать в яранге.

– Вы не беспокойтесь, – добавил Онно, как всегда сдержанный и немногословный, – тут вам будет хорошо. Эйвээмнэу – хорошая хозяйка, она о вас позаботится.

– Да вы обо мне не тревожьтесь! – заверила его Лена. – Мне тут очень нравится!

Онно ревнивым взглядом окинул ярангу, но вслух ничего не сказал и вышел вслед за другими.

Эйвээмнэу плотно закрыла дверь, заткнула пучком травы щель, чтобы в чоттагин не летел снег, и вернулась к пологу, где у низкого столика сидела Лена.

Какое-то время сквозь пургу было слышно урчание вездехода, но потом оно постепенно растворилось в удивительно однообразном и усыпляющем грохоте бури.

Эйвээмнэу прислушалась, улыбнулась Лене и сказала:

– Уехали.

– А долго они пробудут в дороге?

– Не знаю, – просто и спокойно ответила Эйвээмнэу.

Она вползла в полог и вернулась оттуда с приёмником. Включила его, поймала какую-то душещипательную мелодию и поставила приёмник на длинное изголовье, представляющее собой обыкновенное обтёсанное бревно.

– Японская музыка, – сказала Эйвээмнэу.

Музыка лилась тихо и чисто, словно станция была рядом. Лена подумала, что оно так и есть – отсюда до Японии в несколько раз ближе, чем до Москвы и до Ленинграда. В стремительном полёте, протекавшем без всяких приключений, она и не почувствовала этих десяти с лишним тысяч километров, которые отделяли Чукотку от Ленинграда.

– Вечером послушаем утренние московские известия, – сказала Эйвээмнэу, прибирая в чоттагине.

Она вполголоса ругала сонных, развалившихся в ленивой истоме собак, отпихивала их ногами и пучком утиных крылышек сметала сор.

Эйвээмнэу была одета в традиционный кэркэр – женский меховой комбинезон. Один рукав болтался сбоку, и правая рука была обнажена до плеча.

Она изредка поглядывала на гостью и соображала, чем же её покормить в обед. Придётся варить русский суп, за который она давно не бралась. Хорошо, есть свежая оленина, бульон будет вкусный. А на второе можно поджарить нерпичью печёнку, благо скородка есть. Третьим блюдом будет персиковый компот...

– Если вы хотите отдохнуть, можете раздеться и лечь в пологе. Есть книги и журналы – можно почитать, – предложила Эйвээмнэу.

Сонливость напомнила о десятичасовой разнице во времени, и Лена с благодарностью приняла предложение Эйвээмнэу. А кроме

того, ей любопытно было побывать в пологе, о котором она так много слышала от мужа.

– Хотите – в большой полог можете лечь, а то вот сюда – здесь Тутриль спал.

– Можно туда, где Тутриль спал? – спросила Лена.

– Можно, – закивала Эйвээмнэу, – тут его вещи остались, магнитофон и разные бумаги.

С некоторым волнением Лена вползла в полог. Внутри было темно. Эйвээмнэу чиркнула спичкой и зажгла свечу. Пламя осветило меховую внутренность помещения величиной с половину вагонного купе. В углу лежал магнитофон и аккуратно сложенная стопка полевых дневников.

Лена взяла блокнот и стала читать. Слова были чукотские, непонятные, но почерк был знакомый, словно затаивший чуть глуховатый, с едва заметным акцентом голос Тутриля. Лежали журналы и газеты... Это было какое-то удивительное сочетание седой древности и современности. В научном журнале Лена читала о яранге как о жилище человека позднего неолита... И вот теперь она находилась в том давно пережитом цивилизованным человечеством окружении, словно возвращённая фантастической машиной времени в прошлое...

Она сняла с себя верхнюю одежду и осталась в спортивном костюме. Улёгшись на оленью постель, Лена высунула голову в чоттагин.

– Хорошо? – спросила Эйвээмнэу.

– Очень хорошо.

– И Тутрилю нравится тут, – сказала Эйвээмнэу. – Как приехал в Нутэн, так сразу сюда перебрался жить. Говорит, надоело в танги-танском жилище, хочется в своём исконном.

– А вы тоже по этой причине живёте здесь? – спросила Лена.

– И по этой тоже, – кивнула Эйвээмнэу. – Когда надоест в яранге, переберёмся в Нутэн. Там у нас свой дом есть, рядом с вашим...

– А что тут делал Тутриль? – спросила Лена.

– Много писал, записывал легенды и всякую мудрость, – охотно принялась рассказывать старуха. – Очень нам понравился магнитофон. Я раньше слышала о нём, но когда мой голос отделился и сам по себе зажил – жутко стало...

Лена улыбнулась в ответ.

Несмотря на несмолкаемый грохот бури, удивительное чувство умиротворённости охватило её. Да и сам шум пурги был такой однообразный и монотонный, что со временем она перестала обращать на него внимание.

Незаметно для себя она уснула.

Эйвээмнэу заметила это и осторожно закрыла полог.

Снежный потолок был так низко, да и вообще нора эта была такая тесная, что каждый раз, когда Тутриль шевелился, отовсюду на лицо, за ворот, на все открытые части тела падала противная сырая снежная пыль, от которой становилось ещё холоднее. Поначалу Тутриль стеснялся дрожи и усилением воли старался её унять, но, заметив, как дрожь бьёт и Айнану, перестал сдерживаться.

Айнана с Тутрилем старались прижаться друг к другу плотнее. Так было теплее.

Часы у Тутриля стали, и невозможно было установить, сколько же в действительности прошло времени с тех пор, как они остановились возле снежного надува и Тутриль убедил Айнану вырыть здесь нору и переждать бурю.

– Нам больше не найти такого сугроба, – убеждал её Тутриль. – На льду снега всё меньше и меньше. Куда идти – не знаем, силы на исходе. А если упадём под ветром на открытом льду? Тогда пропадём...

В первые же минуты, как только они забрались в снежную нору, вместе с промозглым холодом они ощутили голод.

– Как хочется есть! – мрачно сказала Айнана.

– У нас есть недоеденный росوماхой песец, – напомнил Тутриль.

– Опять росумаха! – Айнану даже передёрнуло. – Всё из-за неё.

– Не надо сердиться, – спокойно сказал Тутриль, – она всё же оставила нам большую половину тушки.

– Я не буду есть, – заявила Айнана и отвернулась. Она слышала, как Тутриль хрустел тонкими песцовыми косточками, и рот её наполнялся горькой слюной.

Не выдержав, она повернулась и попросила:

– Дайте кусочек!

Мясо было как мясо, ничего особенного, если бы она не знала, что этот песец – тот самый, которого глодала росумаха, чьи следы завели в эту снежную нору.

Еда немного согрела и вызвала дремоту.

Но Тутриль не дал Айнанае уснуть, пока она не разулась. Она пыталась возразить, но Тутриль терпеливо объяснил, что и он тоже разуется и свои озябшие ноги спрячет ей под кухлянку, а она свои – под его. Айнана могла только подивиться его сообразительности.

Но холод не уходил. Он тряс их, забирался под одежду, шарил холодными костяными пальцами по самым укромным местам.

Чтобы не видеть белого снега, ввергающего его в ещё большую дрожь своим неумолимо холодным светом, Тутриль держал глаза закрытыми, стараясь обратить свои мысли к воспоминаниям, начинающимся тёплым пологом в одинокой яранге с меховой оленьей постелью и пыжиковым одеялом... Он мысленно видел пол-

ный горячего, обжигающего губы чая закопчённый чайник над костром в чоттагине, свёрнутых калачиком собак, их тёплое, сонное дыхание под вой пурги... Потом он вспоминал отцовский домик в Нутэне, аккуратную комнату, кровать под голубым покрывалом, чистую постель. Баня на окраине селения, над ручьём, запах горячего дерева, пропитанного паром... Другая баня, под Ленинградом. Когда-то, ещё до войны, в Елизаветине Ленины родственники снимали дачу. Хозяйева помнили девочку и сдали Тутрилям на лето светлую комнату с большими, затянутыми чистой марлей окнами. Банька хозяев стояла у пруда, и топили её по-черному. Конечно, копоть на стенах была, но полки чистые и белые, и, главное, дух в баньке был отличный от той, что топилась по-белому. Лена хлестала веником распластанного на полке мужа, и так хотелось побыстрее выскочить из обжигающего пара и окунуться в прохладные, мягкие воды деревенского пруда... Очутиться бы в этой баньке и лежать, и лежать на горячих чистых досках, вбирая в себя тепло...

– Не спи, проснись, – растолкал он Айнану.

– Да не сплю я...

– Слышу: перестала дрожать, испугался – не уснула?

Тутриль услышал громкие рыдания, приподнялся на локте и удивлённо спросил:

– Ты что, Айнана? Не надо плакать... Лучше прижмись ко мне покрепче, и тебе будет тепло.

Айнана послушно придвинулась к Тутрилю, спрятала заплаканное лицо на его груди и затихла.

– Вот кончится пурга, и мы вернёмся в Нутэн, – продолжал утешать Айнану Тутриль.

– А я уже придумала, что вам подарить, – сказала Айнана, отнимая лицо от груди Тутриля. Я вам подарю тот клык, где изображён новый и старый Нутэн. Там, где нарисована ваша старая яранга и маленький мальчишка возле неё... Только я ещё нарисую в сегодняшнем Нутэне собачью упряжку на окраине, между вертолётной площадкой и первыми домами. И на карте двоих... Вы догадываетесь, кто это будет?

– Догадываюсь, – с улыбкой ответил Тутриль.

Некоторое время Тутриль и Айнана молчали.

– Только не спи, – снова попросил её Тутриль.

– А я не сплю, думаю...

– А ты думай вслух, не стесняйся.

– А вы расскажите о чём-нибудь, – попросила Айнана, – о городе расскажите...

– Да что о городе рассказывать? Ты тоже бывала в городах – в Анадыре, в Магадане...

– Тогда о деревне, – сказала Айнана. – Я думаю: наверное, нет ничего прекраснее русской деревни... Я так представляю: стоят

дома с красивыми, обрамлѐнными резными наличниками окнами, такие же красивые ворота, деревянная церковь, как в Кижях. За домами поле, за полем – лес, а на опушке девушки в разноцветных ситцевых платьях водят хоровод... Ну ещё речка, берѐзка и калина красная... Так в русской деревне?

– Примерно так, – сквозь дремоту ответил Тутриль.

– Не спите! Не спите! – принялась тормошить его Айнана. – Не надо спать...

– Да я и не сплю, – непослушными губами пытался ответить Тутриль, не в силах сопротивляться мягкому, тёплому облаку, которое ласково обволакивало его, оберегая от холода, от пурги, от снежного студѐного окружения.

А покорная ветру льдина всё дальше уходила от берега в открытое море.

28

Проснувшись, Лена сначала не могла сообразить, где она. Ей снился Ленинград, распахнутое окно в квартире, в которое врвался уличный шум. Она открыла глаза, но не увидела света в окне, хотя шум оставался.

Понемногу она вспомнила, где находится. Нащупав край меховой занавеси, она высунула голову в чоттагин, наполненный тёплым лёгким дымом и запахами приготовленной еды.

– Проснулась? – услышала она ласковый голос и увидела перед собой лицо Эйвээннэу.

– Как хорошо в пологе! – потягиваясь, произнесла Лена. – Давно так спокойно не спала.

– А теперь будем обедать, – сказала Эйвээннэу.

Лена ела и похваливала стряпню Эйвээннэу, заставляя краснеть от гордости и удовольствия хозяйку. О том, что еда и вправду понравилась госте, свидетельствовала просьба ещё налить супу.

Эйвээннэу хотелось как следует рассмотреть эту русскую женщину, вышедшую замуж за чукчу, но как-то неловко было, поэтому она старалась занять Лену разговором, исподволь изучая её.

– Не скучает в Ленинграде Тутриль?

– Некогда ему скучать, – улыбнувшись, ответила Лена. – Много у него работы. Сейчас он заканчивает сборник сказок и легенд Чукотки.

– Про это он нам рассказывал, – кивнула Эйвээннэу.

– Это будет самое полное собрание за всю историю существования чукотского языка, – с оттенком гордости сообщила Лена.

– Там будут и наши легенды, – сказала Эйвээннэу. – Мы ему наговорили на магнитофон. Все говорили – и я, и Токо, и Айнана.

– А сколько лет вашей внучке? – спросила Лена.

– Двадцать лет.

– Так она совсем ещё девочка!

– Ии, – кивнула Эйвээмнэу.

– Наверно, трудно быть охотником такой молоденькой, – заметила Лена.

– В жизни всё трудно, – вздохнула Эйвээмнэу.

После чаепития Эйвээмнэу принялась за работу. С молчаливым изумлением Лена смотрела, как женщина сучила нитки из оленьих жил – так ловко и быстро, что, казалось, нить самостоятельно растёт из её ловких, сильных бугристых пальцев.

Затем старуха взяла размягчённую кожу и принялась зубами формировать подошву будущего торбаса. Лена как-то не поверила мужу, когда на присланных его матерью тапочках он показал ямочки и сказал, что это следы зубов. Но это было так, и кусок кожи постепенно превращался в «лодочку», к которой пришивались голенища.

– Мы все просим, чтобы нам прислали гранёные иголки, – рассказывала Эйвээмнэу. – Когда такой иголкой протыкаешь кожу, получается треугольная дырочка, а не круглая. Она потом хорошо и плотно прижимается к жильной нитке и не пропускает воду... И чего нам шлют круглые иголки?

Лена слушала неторопливый говорок Эйвээмнэу и ловила себя на мысли, что происходящее вокруг порой кажется каким-то сном. Может, это оттого, что многое узнавалось по описаниям Тутриля. В его рассказах о родине каждая мелочь была дорогой и милой сердцу. Даже просто костёр, вот этот очаг, обложенный поседевшими от пепла камнями, железная прокопчённая цепь, деревянные жерди, поддерживающие свод из моржовых кож, полог, обыкновенное деревянное бревно-изголовье... Она ещё и ещё раз оглядывала жилище, и в её ушах звучал голос Тутриля, низкий, глуховатый, вспоминающий ярангу...

– Кажется, вездеход движется, – насторожилась Эйвээмнэу и бросилась раздувать угасающий огонь в костре.

Лена прислушивалась, но, кроме привычного грохота пурги за стенами яранги, нельзя было уловить ничего.

Но вот распахнулась дверь, и вместе с ветром и снегом в ярангу вошли люди. Лена стояла посередине чоттагина, пытаясь узнать среди запорошённых снегом людей мужа. Но Тутриля не было. Она вопросительно смотрела то на одного, то на другого, пока Токо не сказал:

– В избушке их не оказалось...

– Так где же они? – встревоженно спросила Лена.

По лицам мужчин, по их глазам, которые они прятали, она чувствовала что-то неладное.

– Мы проехали до самых дальних капканов, – сказал Гавриил Никандрович.

– Что же это такое? – сердце у Лены упало.

– Да вы не беспокойтесь, – успокоил её Гавриил Никандрович. – Где-нибудь сидят и пережидают пургу. Народ они опытный, не пропадут. Они проверили дальние капканы, значит, были на пути домой. В самом худшем случае сидят где-нибудь в снежной норе.

– Так ведь там холодно, в этой норе!

Онно подошёл, уселся напротив и заговорил:

– Лена, мы тоже немножко обеспокоены, но повода для большой тревоги нет. Кончится пурга – они появятся. Придётся потерпеть... Собирайтесь, мы сейчас поедem в Нутэн...

Лена растерянно огляделась, потом спросила:

– А когда кончится эта пурга?

Онно пожал плечами.

– Они сюда должны вернуться?

– Да, – ответил Токо.

– Тогда я остаюсь ждать здесь, – решительно сказала Лена.

– Елена Петровна, – принялся уговаривать её Гавриил Никандрович. – Вам там будет удобнее, здесь же всё-таки яранга, неудобства всякие...

– Но ведь люди-то здесь живут, – возразила Лена, – и Тутриль здесь жил...

– И ему очень нравится здесь, – вставила своё слово Эйвээннэу.

– Я уже тут поспала в пологе, так что первое представление у меня есть... Разрешите мне остаться здесь? – обратилась она к Онно.

Поколебавшись, Онно сказал:

– Ну что же. Может быть, так лучше... Только просьба: как только они появятся – сразу же сообщите нам по телефону.

– Это мы сделаем обязательно, – обещал Токо.

Путники наскоро попили чаю, и вездеход умчался в ветер и пургу, взяв направление в селение Нутэн.

29

В испуге Тутриль открыл глаза. Ему показалось, что он остался один в снежной пещере, превратившейся в могилу. Он протянул руку и нащупал тёплое, вздрагивающее от холода тело Айнаны.

В далёком детстве Тутриль однажды видел, как хоронили русского, милиционера Савина, убитого в тундре кулаками-оленоводами. Тело милиционера, завёрнутое в рэтэм, лежало на нарте возле домика райотдела, пока мастер на все руки Гэматтын сколачивал гроб. Тутриль не впервые видел умершего, но его сородичей всегда клали на землю, а тут покойного не только собирались за-

переть в ящик, но ещё рыли для него в вечной мерзлоте глубокую яму.

На холме гремели взрывы, и мёрзлая земля летела далеко.

Тутриль был вместе с теми, кто поднялся на холм. Он слышал, как трещали доски под тяжестью наваленных на гроб камней, вздрагивал от громкого залпа множества ружей – прощального салюта над могилой, разглядывал фанерный обелиск с жестяной звёздочкой, вырезанной из консервной банки, и думал, каково весёлому молодому милиционеру лежать под тяжёлой толщей мёрзлой земли и камней... Потом Тутрилю иногда снилось, что его закапывают в землю, и каждый раз после такого сна он просыпался в холодном поту...

Сколько же может продлиться пурга? Как далеко унесёт их от берега?

А если ещё день-два? Ведь сил уже мало, и вполне может случиться так, что к наступлению хорошей погоды у них не будет сил подняться на ноги.

Он растолкал Айнану.

– Послушай, может быть, нам лучше пойти?

– Куда? – слабым голосом отозвалась Айнана.

– К берегу, – ответил Тутриль. – Идти всё же лучше, чем вот так ожидать в бездействии. Никто не знает, сколько продлится пурга, а льдина может подойти к берегу.

– Как же мы пойдём? – с сомнением произнесла Айнана. – Мы такие слабые – ветер унесёт нас.

– Не унесёт, – уверенно сказал Тутриль. – Надо бороться изо всех сил, а не лежать вот так в ожидании неизвестно чего.

– А вы знаете, куда надо идти? – спросила Айнана.

– Ветер южный, можем и по ветру ориентироваться.

– Легко сказать – по ветру.

– Но согласись, что нельзя добровольно ложиться в могилу.

– В какую могилу? – испуганно спросила Айнана.

– Вот в эту снежную могилу, – ожесточённо произнёс Тутриль. – Мы уже не можем бороться со сном. Если бы мне не приснилось страшное, мы бы так и остались здесь. Идём, Айнана... Это единственное наше спасение.

– Дед меня учил: в пургу лучше всего оставаться в снежной норе – только так можно остаться в живых. Потому что в пургу, даже зная направление, можно запутаться, закружиться и в конце концов обессилеть.

– Послушать дедов – так можно просидеть на месте до смерти.

Айнана дотронулась пальцем до впалой щеки Тутриля и тихо попросила:

– Не надо говорить о смерти.

– Но сейчас мы в таком положении, когда смерть нам угрожает. Давай не будем терять времени.

Он пошевелился, задевая телом стенки снежной норы. Снег сыпался отовсюду на лицо, за шиворот, таял на теле, но дрожь больше не появлялась, просто больше не было сил на неё.

– Идём, – решительно сказал Тутриль и принялся пробиваться наружу. Наверху намело порядочно снегу, и пришлось долго трудиться, чтобы пробить отверстие. В пещеру ворвался ветер со снегом, выбивая дыхание. Тутриль закашлялся, отпрянув назад.

– Вот видите, – сказала Айнана, залепляя отверстие снегом.

Работа отняла последние силы Тутриля, и он некоторое время лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша.

– Я пойду вместе с вами даже на верную гибель, – тихо сказала Айнана. – Но послушайте меня внимательно: идти сейчас в пургу – это безумие. Я это знаю...

Ей ещё хотелось сказать, что Тутриль за время долгой жизни в Ленинграде забыл, что такое пурга в тундре, и не подозревает, на что идёт...

Но Айнана сдержалась...

Сквозь полузакрытые веки Тутриль чувствовал, как на него всё ниже и ниже опускается снежный потолок. Вот он касается груди, прижимает её своей тяжестью, ограничивая дыхание, снег лезет в рот, в глаза, в уши... Тутриль рывком приподнялся и стукнулся головой.

– Идём!

Собрав последние силы, он пробил снег. Ветер подхватил его и понёс, не дав опомниться. Тутриль упал на колени, потом распластался на снегу и только тогда остановился. Он кричал, звал Айнану, но ветер уносил в сторону крик. На секунду мелькнула мысль, что Айнана, пожалуй, была права... Но какое это теперь имело значение? Куда идти? Где Айнана? Где оставленная снежная нора? Прижимаясь к снегу, Тутриль лихорадочно думал... Что же делать? Ветер южный. Значит, надо ползти против ветра. Царапая лицо о снежный покров, Тутриль двинулся. Он теперь не обращал внимания на снег, забивающий рот, ветер, останавливающий дыхание.

Ему послышался слабый крик. Это Айнана! Тутриль приподнялся и крикнул:

– Я здесь! Я здесь!

Что-то мелькнуло в белёсой мгле, и, протянув руки, Тутриль вцепился в развевающуюся на ветру камлейку Айнаны...

– О-о-о! – простонала со слезами Айнана. – Я думала, что не найду вас... Милый мой, хороший... Живой...

– Живой я, живой, – радостно повторял Тутриль, целуя Айнану. – Идём обратно, к пещере. Ты права.

Пойдя против ветра, они поняли, что промахнулись, прошли мимо снежного надува, где была вырыта нора.

Повернули обратно, часто останавливаясь, тщательно осматривая всё вокруг.

– Может, выроем другую нору? – предложил Тутриль.

– Где? – возразила в бессилии Айнана. – Смотрите!

Она ковырнула носком торбаса снег – слой был всего сантиметров в четыре-пять.

– Найти бы тот сугроб, – с надеждой в голосе проговорила она.

– А может, нам его не искать, а пойти все же вперёд? – нерешительно предложил Тутриль. – Попадётся по дороге снежный надув, там и остановимся.

Шли молча, с трудом преодолевая напор ветра. Тутриль догадывался, что ветер относит влево, но молчал, только каждый шаг старался делать так, чтобы хоть немного забирать вправо.

Айнана часто останавливалась, чтобы перевести дыхание, садилась на снег. Потом стала ложиться и закрывать глаза. Тутриль пристраивался рядом, но уже через минуту-две поднимался и тормозил её.

– Надо идти, не надо останавливаться.

– Я знаю, – с раздражением отвечала Айнана. – Вот наберусь сил и пойду.

– Не закрывай глаза! Не спи!

– С чего вы взяли, что я засыпаю? – шептала Айнана. – Снег в лицо, вот и закрываю глаза.

А веки такие тяжёлые, словно потолстевшие, опухшие и налитые свинцом. Держать их открытыми – мука.

Тутриль тормозил её, пытался поднять, и Айнана вставала, утешаясь мыслью, что через несколько шагов она снова упадёт и полежит хоть несколько мгновений.

Но всюду, куда они шли, была вода. Открытая океанская вода, кипевшая под ураганным ветром.

Тутриль обследовал окрестности и позвал Айнану:

– Иди сюда! Здесь почти нет ветра и можно подольше отдохнуть!

Айнана поползла на зов и вправду оказалась в защищённом от ветра укрытии, образованном стоявшей стоймя льдиной.

Она привалилась спиной к ней и тотчас закрыла глаза.

– Только не спи, я прошу тебя!

– Не буду спать, – распухшими губами произнесла Айнана.

– Тогда говори, говори, – просил Тутриль.

– Хорошо... Слушай... Ты хотел дослушать до конца легенду о росомахе. Эмэн... Влюбился юноша в Дочь Солнца, а она не может жить в тени ночной земли. Холод тьмы губителен для неё... Только росомаший мех мог её защитить. Длинный и тёплый, он не боится

мороза, на нём не бывает инея... И пошёл юноша по следу росомачи, чтобы добыть её, чтобы любимая всегда была с ним... Идёт он, идёт...

Тутриль то впадал в забытьё, то вдруг отчётливо слышал голос Айнаны. Иногда ему казалось, что её нет рядом и всё лишь воображение, игра затуманенного сознания.

Он видел себя то на берегу моря, тёплого, ласкового, то вдруг вместо затухающего голоса Айнаны слышал Лену...

И где-то вдали, у морского горизонта, звучала песня:

*Высокое небо,
Чистое небо...
Ветер, идущий с тёплой страны.
Летите, птицы, вестники счастья,
Несите на крыльях любовь и весну!*

30

К утру пурга стала утихать, хотя ветер ещё был силён. Но уже открылись дальние горы, и было ясно, что буря идёт на убыль.

Лена высунулась в чоттагин, окунувшись в уютный дым от костра, смешанный с запахом свежих лепёшек на нерпичьем жиру.

Эйвээмнэу возилась у костра.

– Доброе утро! – весело сказала Лена.

– Кыкэ – доброе утро! – отозвалась Эйвээмнэу. – Токо запрягает собак, сейчас поедет.

Пока Лена умывалась с помощью Эйвээмнэу, вошёл Токо и принялся налаживать рацию.

Лена с интересом смотрела на него. По всему видать, старик хорошо разбирался в этой технике, движения у него были уверенные и точные.

– Я вижу, вы хорошо разбираетесь в технике, – заметила Лена.

– Да тут ничего хитрого. Только никак не пойму, почему эта радиостанция называется «Недра». Наверное, для шахтёров предназначалась...

– А может быть, для геологов? – предположила Лена.

– У них станция получше нашей, – сказал Токо.

– Вы меня не возьмёте? – с надеждой спросила Лена.

Токо помолчал.

– Можно бы взять, однако собачки будут ехать медленно... А потом, если кто обессилел – Тутриль или Айнана, – вам тогда пешочком придётся идти... В другой раз покатаетесь на собаках. Айнана сvezёт вас в Нутэн, если хотите.

Токо взял в руки телефонную трубку, и сразу же выражение его

лица переменялось, будто он оказался там, где находился его невидимый собеседник.

– Алло! Алло! – произнёс он несколько раз.

Лена прислушивалась к его разговору.

– У нас пока нет новостей, – отвечал Токо. – Сейчас выезжаю на собаках в сторону дальней охотничьей избушки. А вы – в другую сторону. Пока не надо... Чего зря людей тревожить да машину гонять.

Токо положил трубку и поймал взгляд Лены.

– Из района звонили: как стихнет, вертолёт поднимется. Онно уже выехал на собаках.

– А что так? – встревожилась Лена.

– Вот я им сказал: нечего панику поднимать, – сердито произнёс Токо и принялся за чаепитие.

Но уж таков закон Севера. Ещё Токо пил чай, а от конторы Нутэнского совхоза уже отъехал вездеход.

На маленькой посадочной площадке районного центра разогревали моторы небольшой одномоторный самолёт «Ан-2» и вертолёт. Они ждали, когда стихнет ветер, чтобы подняться в воздух.

Онно уже давно находился в пути, ведя свою упряжку по береговой, ещё покрытой снегом полосе.

По телефону, по радиотелефону от Нутэна до Анадыря неслась тревожная весть: двое не вернулись, и неизвестно их местонахождение.

Токо вышел из яранги. Следом за ним женщины – Эйвээнэу и Лена. Запряжённые собаки возбуждённо перебирали лапами и нервно повизгивали. Ветер почти стих, но иногда вдруг с прежней силой налетал порывами, поднимая шерсть на собаках.

Токо выдернул из снега остол, тихо чмокнул и тронул нарту. Собаки рванули, и каюр на ходу плюхнулся на тонкие доски сиденья, заставив скрипнуть тугие ремённые крепления.

Лена и Эйвээнэу стояли возле яранги, пока нарта не скрылась из виду.

Токо сидел бочком, поставив подошву правого торбаса на пол, и думал о своём.

Об Айнане, о Тутриле и Лене... В его молодости всё было не так. Она, эта любовь, может, и была на самом деле, но не занимала большого места в жизни. Они с Эйвээнэу об этом и не задумывались. Может быть, только в самом начале, когда были молодые... Может быть, просто времени на это не было? Тяжкая работа и зимой, и летом. Надо было строить свою ярангу, кормиться и растить детей. Было два сына и дочь. Один умер в младенчестве, второй утонул на охоте. Осталась дочка. Росла, училась в школе, пионеркой была, потом комсомолкой. Весёлая, красивая. Всё мечтала о больших городах. Рано родила, не стала учиться дальше. А потом встретилась

с тем моряком, за которого и вышла замуж, оставив деду и бабке Айнану.

Эх, Айнана, Айнана... Каково тебе будет сейчас? Острая жалость шевельнулась в сердце Токо, даже слёзы навернулись на глаза. Да ведь иначе и не может быть – вернётся Тутриль к своей жене, она небось тоже страдает... Грустно и холодно будет на сердце Айнаны, хоть рядом дед и бабка. Но, видно, отстали они от внучки своей, у которой свои понятия о жизни. Почему так? Или это от воли, от этой огромной свободы, которая дарована этому поколению? В самом деле: Токо, может, и сам бы хотел быть таким вольным, но жизнь цепко держала его на одном месте и мысли направляла только по одному руслу: добыть зверя, чтобы жизнь не угасла в жилище. А потом, когда строили новый Нутэн, сносили яранги, мечтали о светлой жизни – а эту мечту надо было своими руками строить... А Тутриль да Айнана уже в новое время входили в жизнь. Учились в школе, жили в интернатах, почти и не заглядывая в ярангу, а некоторые их сверстники стеснялись и яранги, и то, басоз, и даже своего родного чукотского языка... Да, были и такие! Правда, они до того были смешны, что сами потом поняли это.

Токо, чтобы отвлечься, тряхнул головой и огляделся. Вожак упряжки посмотрел, как бы спрашивая – так ли он идёт, как надо. Токо тихо произнёс:

– Поть-поть.

Нарта чуть изменила направление.

В тишине смолкнувшей бури послышался рокот мотора, и, напрыгнув зрение, Токо увидел на горизонте тёмную точку, быстро превратившуюся в летящий самолёт.

Лётчик заметил упряжку и покругил низко над каюром. Значит, они всё же пустились на поиски. Токо подумал об этом с досадой, сотому что Айнана будет переживать и это тоже – сколько людей потревожили, оторвали от работы...

Токо прикрикнул на собак, и они прибавили шагу. Токо держал путь на дальние капканы.

За время пурги снег подсох и подмёрз, и парта хорошо катилась. Токо доехал до места, где были поставлены дальние капканы, но, кроме обглоданного остова лахтака, ничего не обнаружил, – капканы были сняты. Значит, Айнана побывала здесь. Отсюда они должны были направиться либо обратно в ярангу, либо к дальней избушке, либо в Нутэн.

Токо решил сделать круг.

Через некоторое время вожак шумно потянул носом и оглянулся на каюра.

Токо увидел след росомахи. Зверь прошёл давно, и пурга почти совсем замела его след. Но вожак учуял его. Он почти не поднимал голову от следа, сильно натягивая средний ремень, к которому

были пристёгнуты все собаки.

Нарта мчалась всё быстрее и быстрее прямо к синеющей вдали открытой воде.

В это же время с другой стороны в этом же направлении ехала из Нутэна другая упряжка, и каюрил на ней Онно.

У самой воды цепочка следов оборвалась.

Нарта остановилась, Токо сошёл с нарты и подошёл к воде. Он долго смотрел вдаль, на плавающие льдины. Где-то там льдина, на которой Айнана и Тутриль.

Услышав скрип снега за спиной, Токо обернулся и увидел Онно.

– Они пошли по следу росомахи, – тихо произнёс Токо.

Старики медленно побрели к нарте и сели рядом.

Долго они сидели молча, устремив глаза в пространство.

Кругом стояла тишина. Только где-то далеко рокотал вертолёт и тархтел мотор вездехода.

И в мёртвой звенящей тишине в памяти стариков уходящим воспоминанием звучал голос Айнаны:

*Высокое небо,
Высокое солнце...
Ветер, идущий с тёплой страны...
Летние птицы, вестники счастья,
Несите на крыльях любовь и весну...*

1981

ПОД СЕНЬЮ ВОЛШЕБНОЙ ГОРЫ

Путешествия и размышления

ДАЛЁКАЯ РУССКАЯ ПЕСНЯ

Первым человеком в Уэлене, переселившимся ещё в дореволюционное время в деревянный домик, был Гэмауге. Соседям его это показалось необычным и даже ненужным. Свои странности старик сохранил до наших дней; он по-прежнему пытлив и немногословен, считается человеком себе на уме и осторожным. При этом Гэмауге – талантливый косторез, автор многочисленных удивительных композиций, которые строгие критики не всегда принимают, считая их скорее моделями, нежели художественными произведениями. Долгое время Гэмауге был единственным, кто изготавливал модели парусных судов из моржовой кости. Корабли с наполненными ветром костяными парусами один за другим сходили с его «стапеля». Причём это были не какие-то абстрактные суда, а вполне реальные: «Мод» Амундсена, «Нанук» знаменитого торговца Аляски Свенсона, «Жанетта» Отто Свердрупа – корабли, которые заходили в Уэлен или даже проходили мимо.

Возле домика Гэмауге стоял крепко врытый в землю столб с корабельным «вороньим гнездом». Стоило только показаться на горизонте кораблю, как Гэмауге поднимался на свой наблюдательный пост и долго рассматривал в мощный бинокль судно, запоминая его очертания, особенности его парусного вооружения, оснастки. Проходило какое-то время, и корабль, уже стёршийся в памяти уэленцев, возникал заново в моржовой кости.

Домик свой Гэмауге купил на сбережения, отказываясь от многих удовольствий, которые предлагали американские торговцы. Несмотря на то, что стены домика казались тонюсенькими, новое жилище Гэмауге было на редкость добротным и сохранилось до наших дней, пережив здания более поздней постройки. Сейчас в этом домике помещается контора Уэленской торгово-заготовительной базы, а сам Гэмауге вместе с дочерью Майей и двумя внучками живёт в другом, более просторном доме. Старик давно на пенсии, но продолжает работать на дому и недавно принёс директору косторезной мастерской, на суд художественного совета, своё новое произведение – композицию, выполненную на чёрном обрезке китового уса. С удивительной точностью мастер воспроизвёл сцену охоты на гренландского кита – так, как это делалось даже не в годы его молодости, а ещё в далёком его детстве. Время на Чукотке имеет другое измерение, потому что путь, пройденный народами северо-востока, людьми Арктики, поразителен: они за

десятки лет пережили то, на что другим народам требовались тысячелетия. Поэтому охота на кита с байдары с помощью ручного гарпуна и копий – это способ добычи тысячелетней давности, но увиденный нашим современником. Все детали исполнены с такой скрупулёзностью, что по этим образцам можно изготавливать ныне уже позабытые орудия. Глядя на это произведение Гэмауге, я подумал: а не попробовать ли сегодня вот таким способом загарпунить кита? Не много найдётся смельчаков для такой охоты, как, в общем-то, не всем можно было плыть на плоту «Кон-Тики» или на папирусной «Ра». Ведь и плот, и лодка были построены благодаря тому, что безвестные Гэмауге имели привычку рисовать, мастерить, используя подручные материалы – тростник, дерево, слоновьи бивни и моржовые клыки, – привычку воссоздавать жизнь.

Папирусная лодка «Ра», по свидетельству Тура Хейердала, построена по рисункам, сохранившимся в гробнице Тутанхамона. Я видел эти росписи, целые повествования о путешествиях древних африканцев по чужим странам, начертанные в картинках по принципу покадрового монтажа, что было присуще и тем чукотским художникам, которые поныне расписывают моржовые клыки, и в их числе дочь Гэмауге – Майя.

Ещё в годы молодости Гэмауге часто приобретал у заморских торговцев вещи, которые поначалу казались совершенно бесполезными в устоявшемся быту морских охотников. Имелись довольно надёжные, испытанные многими поколениями шаманов способы предсказания погоды, а Гэмауге купил барометр. Впервые в Уэлене в домике Гэмауге появился граммофон – красивый ящик из красного дерева, с широкой трубой и картинкой с кудлатой собакой в кругу. Пластинки имели то же происхождение, что и граммофон, и в тихие вечера над уэленскими ярангами разносились хриплые голоса негритянских певцов, и звуки неведомых музыкальных инструментов удивляли сходством с человеческим голосом.

Но практичных уэленцев больше волновали не сами песни, не слова, которые были совершенно непонятны, а каким образом возникает человеческий голос в этом ящике.

В результате через некоторое время граммофон оказался разобраным на части. И проделал это сын Гэмауге Тэнмав.

Тэнмав был просто одержим желанием докопаться до всего, особенно если это касалось каких-нибудь механизмов. Он быстро научился чинить часы – сначала простые ходики, а потом даже и наручные, которые в Уэлене были только у доктора.

Смышлёного паренька заметили работники полярной станции и взяли к себе на работу.

Полярная станция стояла на окраине Уэлена. Она была для нас будущим, наглядной демонстрацией благ, которые ожидали

уэленцев. На полярной станции стояли добротные деревянные дома, казавшиеся сказочными дворцами рядом с ярангами. Дома отапливались кирпичными печками, пожирающими каменный уголь, под потолками горели электрические лампочки, которые вспыхивали и гасли без прикосновения рук человека.

Работники полярной станции подготовили для поступления в лётную школу уэленских парней – Тимошу Елкова, Диму Тымнэтангина.

Когда я был школьником, Дима Тымнэтагин прилетал на своём самолёте в Уэлен в гости к отцу, морскому охотнику Кагье. В одном классе со мной учился брат лётчика – Тымнэвакат.

В один из своих прилётов Тымнэтагин привёз в отчую ярангу патефон. К тому времени граммофон Гэмауге истощил свой голос, остался один трудно различимый хрип, и только те, у кого была хорошая музыкальная память, помнили мелодии негритянских спиричуэле, томных танго, когда-то разносившихся над Уэленом.

Патефон стоял в просторном чоттагине довольно большой яранги Кагье на чайном столике и сиял в отблеске костра голубой краской. Особенно блестела диковинно изогнутая металлическая шея. В ней, несмотря на блеск, было что-то живое, выразительное. Она была самой привлекательной частью музыкального инструмента, потому что всё-таки ящик был ящиком, как бы красиво он ни был окрашен.

Патефон заводил сам Кагье. Он делал это торжественно и основательно, словно перед ним был по крайней мере подвесной мотор. Охотник медленно заводил пружину, прислушиваясь к утробному поскрипыванию упругого металла, толкал рычажок, отпускающий диск, и осторожно опускал головку мембраны на вращающуюся пластинку.

После короткого шипения слышался хор. Мужской хор пел какую-то неведомую песню. Я только различил слово «ухнем», а все остальное мне было совершенно непонятно. Даже само это слово «ухнем», хоть и было понятно какой-то приглашающей интонацией, а что оно значило на самом деле – никто из слушателей не знал.

И всё же в этой песне было что-то волнующее, далёкое и в то же время трогательное чувства. Не зря в яранге Кагье было тихо, пока пластинка не кончилась и Кулил не выдохнул слова: «Да, эти поют сердцем, а не желудком». Послушали другие пластинки, среди которых мне запомнилась одна – «Ноченька». Это слово мне уже было хорошо знакомо, потому что его часто произносили в зимнюю тёмную пору русские, живущие в Уэлене.

Прислушав в молчании все пять пластинок, снова вернулись к первой и послали за Наумом Дунаевским, который преподавал в нашей школе русский язык и литературу.

Наум вошёл в чоттагин, покосился на ярко горящий костёр и

уселся на придвинутый китовый позвонок. Наум Соломонович немного говорил по-чукотски, и этим объяснялся выбор приглашённого.

Науму подали тщательно вымытую чашку с чаем и завели ту первую пластинку, в которой пел мужской хор. Наум Соломонович внимательно выслушал песню, поставил чашку рядом с патефоном и сказал:

– Это песня трудящихся.

Все озадаченно переглянулись между собой. Песни трудящихся в общем-то были знакомы нам. Их пели школьники на праздничных вечерах: «Москва майская», «Наш паровоз», «Если завтра война».

Увидев недоумение на лицах слушателей, Наум Соломонович попросил вторую чашку и обстоятельно начал.

– Это старинная песня русских людей, которых запрягали тащить гружёные баржи по великой русской реке Волге...

– Заместо собак, что ли? – спросил Кулил.

– Вот именно! – Наум Соломонович поднял обкуренный палец. – Эти люди назывались бурлаками. Они тащили баржи и пели...

– Да как можно тащить лодку да ещё при этом и петь? – недоуменно спросил Кагье.

– А разве, когда вы вытаскиваете вельбот или тащите моржа на берег, не поёте? – возразил Дунаевский.

– Какая песня? – отозвался Кулил. – Мы кричим, чтобы легче было.

– Вот и песня родилась из первоначального крика, – веско объявил Дунаевский. – Этот самый «эй, ухнем» и есть переведённый на русский язык чукотский «то-гок»!

– Интересно, – вежливо сказал Кагье, явно не удовлетворённый объяснениями учителя.

В той песне, которую Дунаевский назвал «песней трудящихся», было нечто большее, чем первоначальный крик. Я видел по лицам своих земляков, что и они тоже почувствовали что-то особенное, доходящее до самых глубин души. Мелодия «Дубинушки» была глубже, содержательнее простых слов, что, в общем-то, является свойством большинства русских песен. В мелодии выражалось то, что нельзя было сказать словами. Музыка служила не для организации слов, не стержнем, на который нанизывался поэтический текст, а сама несла ту нагрузку, которая и оказывала влияние на слушателей или на поющего.

С этого тихого вечера, запомнившегося звуками русской песни в яранге Кагье, у меня началось особое отношение к русской музыке. Я дружил с Тымнэвакатом, мы даже сидели за одной партой, и это обстоятельство облегчило мне доступ к заветному патефо-

ну. Единственное затруднение было в том, что не было иголок, и, прежде чем ставить пластинку на диск, нам приходилось подолгу точить крохотные иголки на древнем точильном камне, на котором правил свой охотничий нож, китовый гарпун и жало копья сам Кагье.

Единственный патефон служил недолго. Сначала что-то случилось с пружиной. Заводная ручка с грохотом разворачивалась в обратную сторону, нещадно колотя нас по рукам. Мы подкладывали кусок камня, продолжая слушать пластинки. Потом голоса захрипели и стали до того неузнаваемы, что только наша память помогала нам восстанавливать первоначальное звучание русских песен.

Но полярная станция существовала рядом. Я теперь знал, что мне там надо. Я старался приходиться в то время, когда полярники садились возле чёрного ящика, который раньше пугал меня аккуратным, безысходным порядком чередования белых и чёрных кльков. Когда я впервые тайком открыл пианино, мне показалось, что я заглянул в пасть неведомому хищному зверю.

Долгое время пианино молчало. Лишь изредка кто-то из полярников пытался одним пальцем подобрать мелодию, да наши уэленские ребятишки, обнаружив, что в кают-компании никого нет, тайком открывали зубастую пасть и осторожно трогали клавиши, дивясь богатству звуков.

Но вот приехала на полярную станцию девушка. Она заведовала самым дальним павильоном, где помещались магнитные приборы, а весь домик привлекал наше внимание большим количеством позеленевших шляпок медных гвоздей. Мы знали, что подходить к этому домику не следует, поэтому новую сотрудницу, которую звали Леной, мы видели только издали, пока однажды не случилось событие, которое навсегда соединило образ русской песни с этой девушкой, фамилию которой, к сожалению, я так и не догадался узнать.

Впервые я услышал её голос летней светлой ночью. Она взяла байдару у охотника Каляча и выехала на лагуну. Она пела никогда не слышанные нами песни. Открылись двери в ярангах, люди вышли на улицу, уселись на камни.

В полярный день в Уэлене тихо и ясно. Солнце уходит далеко за Инчоунский скалистый массив, выходит на морской простор и медленно приближается к тому месту, откуда ему надлежит снова подниматься.

Для нас, ребятишек, в эту пору не существовало ночей. Мы укладывались спать лишь тогда, когда усталость валила нас с ног. Сон продолжался недолго, потому что кругом было светло. Мы снова поднимались, чтобы отправиться на охоту в море, помочь родителям разделать и перенести в мясные ямы добычу, порыбачить,

поставив с помощью длинного шеста сеть, а то и просто побродить по окрестным холмам, по берегу моря в поисках съедобных водорослей, обломков моржового клыка, зачернённых временем и морской водой, что особенно ценилось косторезами и приезжавшими в те годы американскими эскимосами.

Солнце не заходило. Оно оставалось в небе и в ночное время, но всё же что-то менялось вокруг, словно бы наступала какая-то душевная тишина и человек как бы становился особенно восприимчивым. Именно поэтому в такие тихие солнечные ночи в Уэлене устраивались празднества, посвящаемые добыче кита, а люди, на минуту заглушив бубны, могли услышать тихое, но мощное дыхание природы.

В такую ночь мы услышали впервые настоящую русскую песню в живом исполнении. Ока доносилась с одинокой маленькой байдарки, тихо плывущей под редкими ударами двухлопастного весла по глади уэленской лагуны – места, где морские охотники проходили школу дружбы с водой. Сейчас я не могу вспомнить, какие песни пела Лена. Но это были очень сердечные, светлые и трогательные песни. Большинство уэленцев тогда не могло разобрать слов, и всё же почти все вышли из яранг и сидели на камнях, поддерживающих крыши, вслушиваясь в звуки русской песни.

Иной раз можно услышать утверждение, что люди, живущие в трудных, суровых условиях, лишённые возможности слушать настоящую музыку, видеть многие красоты – и природные, и созданные человеком, – очень заняты заботами о пище насущной, несколько туговаты в восприятии красивого и трогательного. Мне кажется, что это совсем не так. Я бы даже взял на себя смелость сказать, что именно такие люди особенно чутки к восприятию звуковых, зрительных образов, обращённых к сердцу человека.

Лилась над уэленской лагуной песня, и каждый, кто слушал её, как бы заглядывал внутрь собственного «я», видел то, что долгое время лишь смутно напоминало о себе. Люди ощущали красоту и понимали, что прекрасны многие и многие люди вокруг, в других стойбищах, в далёких русских селениях среди полей и лесов.

Слушали и радовались тому, как хорошо, когда прекрасное так велико, так огромно и всеобъемлюще, как небо, как море, как широкая тундра, уходящая за горизонт зелёными холмами, синими с белыми прожилками горами. Когда оно является ощутимой частью человеческого существа, всех людей на земле и объединяет человечество.

Лена пела не только на берегу лагуны, но и в нашем тесном клубе, в те годы размещавшемся в круглом, наподобие яранги, домике. Эти домики привозили в разобранном виде, и поставить их можно было за каких-нибудь полдня. Причём для такого монтажа не обязательно было быть строителем высокой квалификации. Другое

дело, что эти домики делались из плохих конструкций и часто утеплителем между стен была обыкновенная бумага, которая мокла и падала, оставляя пустое пространство. Эту пустоту потом надо было заполнять шлаком, а сами стены приходилось обкладывать дёрном. После всех этих «доработок» домик окончательно обретал вид настоящей яранги. Только идущие по окружности окна напоминали о том, что это жилище двадцатого века.

Вот в таком клубе пела русские песни Лена.

Она знала их множество.

Я до сих пор открываю, слушая многие профессиональные русские хоры, что Лена дала мне знание самых распевных и распространённых русских песен. Тогда я, разумеется, не знал, как они назывались, но их мелодии остались в памяти, и стоит мне услышать их на концерте или по радио, как мне на память приходит девичья фигурка на берегу Ледовитого океана.

В Уэлен каждую весну, как только южными ветрами ломало ледовый припай, первым приходило гидрографическое судно «Темп». Это была старая парусно-моторная шхуна с неглубокой осадкой, позволявшей ей пробираться между льдинами по мелководьям северного побережья Чукотки до устья Колымы.

Даже нам, ребяташкам, было заметно, что Лена ждёт корабль с большим нетерпением, чем все другие. Там был человек, для которого Лена пела, даже когда нам казалось, что она поёт для нас.

И вот случилось несчастье.

«Темп» почему-то пришёл раньше времени, когда припайного льда ещё было порядочно. Корабль закрепился якорем за неподвижный лёд.

Первыми прибежали к кораблю мы, мальчишки, но почему-то на этот раз гостеприимные моряки довольно резко отогнали нас от борта.

С берега пришла собачья упряжка, которую вёл милиционер. Это было совсем странно. Обычно на этой упряжке катались арестованные работники торгово-заготовительной базы, и слово «преступник» для нас связывалось всегда с чем-то недозволенным в области торговли и заготовок пушнины. Мы стояли поодаль и наблюдали, что будет дальше. С борта осторожно спустили что-то длинное, закутанное в белое.

На нас повеяло ужасным, и мы молча двинулись в селение вслед за упряжкой, за которой шли, низко опустив головы, моряки с гидрографического судна «Темп».

В селении упряжка свернула к больнице и там остановилась у крыльца.

Здесь мы узнали из приглушённого разговора взрослых, что умер тот, для которого пела свои песни Лена. Умер неожиданно,

и поэтому требовалось свидетельство врача и присутствие милиции. Мы все стояли не расходясь, прислушиваясь к тишине трагедии.

Издали, с полярной станции, бежала Лена. Она мчалась с развевающимися волосами, ветер рвал с плеч косынку, такой я запомнил её...

Я не выдержал и убежал в свою ярангу.

Издали я наблюдал, как на гору Лилиннэй, куда свозили жителей Уэлена, отправившихся в дальний путь сквозь облака, шла необычная похоронная процессия. За гробом, с головой, покрытой чёрным платком, шла русская девушка Лена, поддерживаемая под обе руки моряками.

Это случилось в пору светлых ночей, когда солнце касалось краем диска холодной воды и снова взмывало в небо, поднимаясь в белёсое от долгого света небо.

Что-то заставило меня выйти из яранги.

На горе Лилиннэй виднелась чёрная фигурка возле маленького фанерного обелиска, и мне почему-то казалось, что она становится всё меньше и меньше.

Я шёл медленно.

Разум требовал, чтобы я вернулся обратно, но что-то сильное, большое, большее, чем разум, тащило меня на гору Лилиннэй. Я побрёл вдоль ручья, мимо холма, пересёк болотистую ложбинку и поднялся наверх. Ноги мои обходили подушечки голубоватых мелких цветов нэет, которые так вкусны с нерпичьим жиром.

Потом стали попадаться аккуратные четырёхугольники из камней, которыми обкладывали тела захороненных моих сородичей. Кое-где виднелись белые кости, черепа.

Я остановился в нескольких шагах от убитой горем девушки. И услышал её голос. Она пела!

И тут меня охватило смятение. Как же так? Ведь она только что похоронила любимого, и вдруг – песня! Такого не может быть! Я сделал ещё несколько шагов и снова услышал пение. Оно было тихое, еле слышное. Порой можно было принять его за шум ветра, но это был голос Лены, голос русской песни.

Лена не слышала, как я подходил к ней. Лицо её было обращено к холму земли, перемешанной с обломками камней, к фанерному обелиску, высоко торчащему над незаметными могилами чукчей и эскимосов.

И всё-таки она пела. Я остановился и прислушался. Это было что-то новое, такое, что мне никогда не приходилось слышать. Это была песня-плач. То есть песня, грустная песня, которую не раз пела Лена, про какую-то далёкую дорогу, про деревья, про травы зелёные и тихое течение реки, про землю, которую никогда не увидит тот человек, для которого она пела.

Я постоял, послушал песню и тихо повернул обратно. Я шёл очень медленно, прислуживаясь к тихому голосу за спиной. Сначала песня смешалась с печальным тихим шумом ветра над могильным холмом Лилиннэй, потом совсем затихла. Но в эту минуту она зазвучала у меня в душе, заполнила всего меня, и я ощутил, как по моим щекам текут слёзы...

Не знаю, как другие, но я очень хорошо помню ощущение какого-то настороженного отношения к русским, вообще людям иного, приезжего племени. Это не относилось к эскимосам, живущим в соседнем селении Наукан. Люди эти были понятны и близки, потому что занимались испокон веков тем же, чем и уэленские жители. Многие уэленцы были женаты на эскимосках, в том числе и мой дядя, у которого я воспитывался. Даже поговаривали, что мой неизвестный отец – также эскимос. Словом, это были свои люди, хотя и говорили на другом языке.

Но вот русские...

Те были совсем другие. И обликом, и занятиями своими, и происхождением. Языком тоже. Они ели другую пищу, одевались по-иному и жилища имели особенные, оборудованные предметами иногда малопонятного назначения. Это был совершенно иной мир.

Русские долго не могли приспособиться к нашему жилищу, к нашему быту – к тому, что было понятным, привычным и необходимым. От этого было к ним отношение отнюдь не подобострастное, а скорее снисходительное: они мало понимали настоящую жизнь.

Немаловажную роль в установлении такого отношения к русским играло и самоназвание «чукчи», что значило «люди в истинном значении», а предметы бытового обихода, язык – словом, все, что относилось к чукчам, все это соответственно называлось, в отличие от чужого: истинная обувь – торбаса, истинное жилище – яранга, истинный разговор – чукотский язык, и даже чукотская женщина, в отличие от всякой другой, звалась «лыгинэвыскэт» – истинная женщина. Такое самоназвание таило опасность противопоставления, и, надо сказать, среди моих земляков в ту пору находились большие оригиналы, пытавшиеся на этом основании доказать второсортность пришлых людей. К счастью, это не вызвало поддержки у большинства уэленцев, которые хорошо разбирались в людях, особенно если человек был такой, как, скажем, пекарь Павлов или учитель Пётр Скорик, уехавший из Уэлена давно, задолго до моего рождения, но оставшийся в памяти уэленцев. Моя мать, которую звали Туар – Невысказанное Слово, – часто вспоминала первого учителя, его рассказы, рисующие далёкую русскую землю, тогда ещё загадочную, полную тайн и удивительных обычаев. Пётр Скорик первым делом научился чукотскому языку, удивив всех, ибо большинство приезжих до него предпочитали объясняться на языке жестов или же с помощью двух-трёх десятков

причудливых выражений, понятных всем северянам от Камчатки до Колымы. Моя мать иногда напевала полузабытые песни, выученные ею в пору школьной жизни, и с гордостью говорила, что это «скориковские песни».

Русская песня с её задушевностью, с открытой, как бы обнажённой интонацией выражала простые человеческие чувства, общие для всех людей. Она как бы призывала подать друг другу руки, помнить, что племя человеческое едино во всех землях, далёких и близких, холодных и жарких.

Холодным зимним вечером я пробирался в дядину ярангу. На небе дрожали крупные звёзды, и следы полярного сияния запорошили серебристым инеем небо над Инчоунским массивом. Всё селение было погружено в темноту. Жёлтыми тёплыми пятнами светились окна немногочисленных в ту пору деревянных домов Уэлена. Был какой-то праздник, и я задержался на полярной станции, смотрел кинофильм. Фильмы в предвоенные годы шли немые, и отдохнувший в однообразном стрекоте аппарата слух чутко ловил дальние звуки, доносившиеся из-за плотно завёрнутых моржовых кож, покрывавших жилища, из-за деревянных, обложенных дёрном стен.

Недалеко от дома, в котором жили приехавшие прошедшим летом работники торгово-заготовительной базы, я увидел фигуру притаившегося человека. Это был тот самый Кулил, который так дотошно выпытывал у учителя Дунаевского значение песни «Дубинушка».

– Ты только послушай! – с затаённым восхищением произнёс Кулил и поманил меня поближе.

Он пристроился под крохотным окошком, затянутым толстым слоем льда. Кулил слегка отодвинулся, и я примостился рядом. Сейчас я не могу без улыбки представить ту картину: старый да малый под чужим окном.

Сначала ничего особенного я не услышал: обычный, приглушённый стенами разговор, звяканье посуды и отдельные энергичные выкрики, которые лишь впоследствии приобрели и для меня смысл, – русские, собравшиеся на вечеринку, произносили тосты.

Потом они запели.

Кулил повернул ко мне взволнованное лицо и прошептал:

– Вот эта самая и есть песня.

Это была очень протяжная и долгая песня. Она явно не помещалась в тесной комнатке домика и рвалась на волю. Да, это была песня широких просторов, больших, сильных чувств, удали.

Мы слушали с Кулилом, не замечая того, как мороз пробирается к нам под кухлянки. После этой песни русские пели другие, но они ещё раз вернулись к первой, и она прочно застряла в моей памяти.

Через много лет я побывал на Байкале и подивился тому, как точно выразила эта песня Подлеморье, как называют осевшие здесь русские это прекрасное место. Мы плыли на катере мимо поросших густым лесом берегов, огибали мысы и косы, носящие чудные названия, высаживались на белые песчаные берега, разговаривали с людьми, о которых пелось в тех песнях. И всю эту поездку у меня в ушах приглушённо звучала песня о Байкале теми голосами, какие я услышал в морозную ночь под окном деревянного домика в Уэлене.

Потом Кулил повёл меня греться в пекарню, где он работал хранителем огня, а попросту – топил углем огромную печь, в которой Николай Павлов пёк хлеб.

Самого пекаря не было. Ровно гудело пламя в печи.

Кулил принёс мне кусок ещё тёплого белого хлеба и нацедил в кружку кислого квасу.

Я ел и смотрел на раскалённые чугунные дверцы печи. В гудении жаркого пламени слышалось то, что пели русские в тесной комнатке круглого, похожего на ярангу домика.

Кулил подбросил угля, заглянул в нутро печи, где в ряд стояли формы с тестом.

Справившись с работой, Кулил уселся рядом со мной.

– Так вот про ту песню, которую пели в круглом домике, – сказал Кулил. – Похожую песню слышал я от дяди Коли. Говорится в ней о человеке, который был сослан, наверное, как революционер, на остров. Так вот с этого острова он убежал. Может, на байдаре чужой, может, по льду перебрался – неизвестно. Спрашивал я дядю Колю, и он не знает. Только, говорит, бежал этот человек по следу зверя, узенькой тропинкой. Тяжело ему было в пути. Кругом лес, большие деревья вставали на его пути, разные звери преследовали. А знаешь, лес не тундра, там всякой живности полно. Жутко. Думает он о близких, о тех, кого оставил... И помер он, не дошёл. Да...

В пекарню вошёл дядя Коля. Он был заметно навеселе. Он громко поздоровался со мной, скинул шубу, надел холщовый халат и принялся вытаскивать поспевший хлеб из печи. По большой комнате поплыл душистый, сытный, уютный запах хорошо испечённого хлеба.

Дядя Коля выколачивал из жестяных форм румяные буханки и громко пел.

Впоследствии я всегда ожидал от певца внешности нашего пекаря дяди Коли, который всю жизнь прожил на Чукотке. Он пёк хлеб и учил месить тесто уэленцев, потом уреликовских жителей, последние годы работал в селении Янракиннот. Несколько раз он уезжал насовсем, но, прожив год-два на материке, возвращался на Чукотку, потому что только здесь, по его признанию, он чувствовал себя по-настоящему хорошо.

Детство моё и первые школьные годы прозвучали для меня русскими песнями.

При этом я любил и всем сердцем понимал и воспринимал наши песни, которые пели, когда из тундры приезжал певец Рентыгыргин. Мало кто сейчас помнит его, а именно он был наставником Атыка и многих других певцов, которые прославились на всю Чукотку.

Рентыгыргин привозил песни и напевал своим родичам, а потом эти песни разносились по всему селению, уходили в соседние стойбища и даже переносились через льды Берингова пролива.

В военные годы в Уэлен пришли суровые и нежные песни военных лет.

Я уже понимал русский язык, и мне открылась прелесть соединения простых слов с музыкой так, что иначе эти слева произносить было кощунственно.

В годы союзных отношений с Соединёнными Штатами Америки в наше селение приезжали аляскинские и островные эскимосы, и наши охотники несколько раз отправлялись гостить к своим дальним родичам. До революции отношения между жителями обоих берегов Берингова пролива были довольно тесными. Люди не только гостевали друг у друга, но и роднились семьями, пуская корни сразу на двух материках.

Американцы приехали на двух больших байдарах, которые против уэленских были раза в три больше. На каждом судне помещалось десятка два человек. Для нас, школьников, американские эскимосы были представителями иного мира, капиталистической Америки, которая хоть и была союзником в общей борьбе против Гитлера, но всё же оставалась страной, где угнетался трудовой человек.

Байдараы причалили к берегу, и мы увидели, что на каждой по два подвесных мотора. Гости поразили нас пестротой одежды, а может быть, специально нарядились в поездку. Некоторые носили куртки с застёжками-молниями, яркие резиновые сапоги на высокой шнуровке, на голове – яркие кепки. Из задних карманов джинсов торчали шерстяные перчатки, связанные замысловатыми яркими узорами. Американцы попыхивали трубками, выпуская в лица встречающим струи ароматного дыма.

Уэленцы встречали гостей с достоинством.

Никто не попросил даже щепотки табаку, женщины не выказали никакого любопытства к нарядам.

– Наша страна воюет, – сказал Атык своему брату по дружбе Мылыгроку. – Живём мы трудно.

– Мы понимаем, – кивнул Мылыгрок Атыку.

Они давно не виделись. Наверное, лет пятнадцать. У них был один отец. Он погиб во льдах, когда мальчикам было лет по семь-во-

семь. А матери разные. Одна – в Уэлене, на азиатском берегу, а другая в Инэтлине, в Америке. Когда-то отец Атыка и Мылыгрока приехал в Инэтлин, и тот, кто назывался потом отцом Мылыгрока, в порыве дружеского расположения пустил гостя на супружеское ложе. Такие случаи были большой редкостью, хотя разговоров вокруг этого обычая много. В этом обычае переплелись смутные религиозные мотивы, отголоски давнего родового строя и просто желание бездетных супругов иметь ребёнка.

Соединённые древним обычаем братья шли рядом. Они поднимались в школу, отведённую для временного проживания гостей.

Из всех яранг, домов несли угощение, постели.

Парни в куртках и удивительных головных уборах с длинными козырьками, закрепив байдары, тоже направились в школу.

К вечеру и уэленцы потянулись в школу. Атык нёс большой бубен. С бубнами шли Памья, Рыпэль, Анос и другие мои земляки, искусные в пении и исполнении древних танцев.

Казавшиеся нам просторными классные комнаты едва вместили всех любопытных. Пришли работники полярной станции. Из соседнего Наукана приплыл вельбот с нашими эскимосами.

В тот вечер на сцене уэленской школы Атык и Мылыгрок вспомнили всё, что было создано лучшего на обоих берегах Берингова пролива. Они не состязались, ведь они братья.

По случаю приезда союзников где-то даже раздобыли спиртное. Немного, но всё же достаточно для того, чтобы снять отчуждённость между приезжими и хозяевами.

Солнце поднималось над морем, но не затихали бубны в старом школьном здании. Я выходил на улицу, возвращался, успел немного поспать дома, снова вернулся в школу, а гром бубнов продолжался.

В школьной кухне уэленские женщины без конца кипятили воду и заваривали чай. Меня погнали за водой. Над ручьём звенело утреннее птичье щебетанье, поток сверкал в лучах поднимающегося солнца. Я шёл, и ведро звенело в такт моим шагам. В голове пело, шумело от всего услышанного. Голос Мылыгрока, повествовавший о том, как бьют кита за мысом Барроу и долго тащат тяжёлую тушу к берегу, где ждут дети и женщины, голос Нутетеина, науканского эскимоса, который пел гневную песню о зверствах фашистов. Эта песня вызвала замешательство среди гостей – песни, в общем-то, были общие, ведь люди занимались одним делом, жили на одинаковой земле, но, оказывается, есть нечто значительное, что уже разделило жителей этой части планеты, несмотря на то, что они обличьем оставались похожими друг на друга и даже были родственниками. Война, которая шла за десятки тысяч километров отсюда, была войной советского народа, значит, и войной тех, кто жил на самой дальней окраине Страны Советов.

Я наполнил ведро прозрачной холодной водой, напился сам и потащил ведро мимо яранги нашего первого и бессменного до самой своей смерти почтаря Ранау, мимо пустого жилища Памья, потому что он со всей семьёй находился с гостями. Приблизившись к школьному зданию, я вдруг услышал такое, что меня остановило: кто-то пел по-русски. Незнакомый голос, я такого не слышал в Уэлене.

Кто же это мог быть?

Я занёс ведро на кухню, быстро пробрался в комнату, где собралась все. Голос был звонкий, похожий на мальчишеский:

*Играй, мой баян, и скажи всем друзьям,
Отважным и смелым в бою,
Что больше жизни
Мы родину любим свою...*

Я протолкался в зал и увидел на сцене эскимосского паренька Тагроя. В прошлые зимние каникулы науканские школьники приезжали к нам в гости, жили в интернате, и тогда я познакомился с ним. Голос у Тагроя был звонкий, как первый ледок. Самым удивительным для меня было то, что он пел русскую песню всерьёз. Ведь даже школьное пение для нас было скорее обязанностью, учебным процессом, а тут было такое, что я наблюдал только у Лены, – словно песня сама рождалась в горле Тагроя, в его груди, закрытой чисто выстиранной, но уже полинялой камлейкой, сшитой из десятифунтового мешка из-под американской муки. Глаза Тагроя были полузакрыты, и песня лилась из широко раскрытого горла без напряжения, свободно, вольно.

Почему-то именно это исполнение запало мне в душу.

Естественное исполнение Тагроем русской песни вдруг натолкнуло меня на мысль, что и говорить можно по-русски так же свободно, как поёт Тагрой. Ведь эта песня и другие, которые он потом пел по просьбе американских гостей, словно лились у него сами по себе, и он не напрягался, не запинаясь, как я напрягался и запинаясь, когда пробовал говорить по-русски.

Всё чаще я встречался с русской песней. Пели наши девушки в педагогическом училище в холодные вечера, когда не было ни света, ни угля; пела Лидия Русланова по судовой трансляции, когда поздней осенью 1948 года мы плыли на учёбу на материк из бухты Провидения. То ли корабельный радист был ярим её поклонником, то ли у него не было других пластинок, но так вот получилось, что русская песня звенела над моей головой в Беринговом море, потом в Охотском, а затем уже и в Японском, на подходе к Владивостоку.

Студентом университета я впервые побывал в Большом зале Ленинградской филармонии, в этом удивительном доме музыки. Честно сказать, я долго собирался, всё боялся, что приду и ничего не пойму.

Итак, первый концерт.

Мы пошли туда с Александром Никитиным, анадырским жителем, наполовину чукчей, наполовину русским.

Александр отговаривал меня, тащил в кино, но я всё же упрямился и составил мне компанию в этом трудном деле.

Белый зал не произвёл на меня такого впечатления, какое производит теперь, когда я иной раз после долгого отсутствия прихожу сюда.

Первые же звуки музыки напомнили мне мой родной Уэлен и давно позабытый концерт на берегу моря, на разостланных парусах. Да, действительно было так, когда в конце тридцатых годов по полярным станциям, по прибрежным селениям Ледовитого океана давал концерты симфонический оркестр, плывший на ледоколе по Северному морскому пути. И тогда, как и теперь, исполнялась Первая симфония Чайковского «Зимние грёзы».

И случилось то, что русская музыка напомнила мне мою родину, древний Уэлен, тихие летние вечера на берегу холодного океана, моих земляков, собирающихся на вельботе на морской промысел. Мне виделась гряда облаков, которые гнал ураганный ветер через косу, грезился вой ветра в антеннах полярной радиостанции, виделась залетающие в ярангу снежинки пурги, вспоминались звуки, запахи, картины земли, которая была колыбелью моего народа.

Я тогда стоял в первом ряду слушателей. На мне была тщательно выстиранная камлейка, почти новые торбаса, а лицо умыто настоящим туалетным мылом, которое мама доставала только по большим праздникам. И все мои земляки были нарядные, удивительно серьёзные и значительные. Недалеко от меня стоял певец Атык, к тому времени широко известный на берегах Берингова пролива. Он вслушивался в голоса скрипок, разговор деревянных духовых инструментов, наклонял голову в сторону двух больших барабанов, совсем не похожих на чукотские яраны, но тем не менее звуком схожих с ними.

А в зале Ленинградской филармонии мне казалось, что я слышу какие-то отзвуки песен Атыка, мелодий Рентыгыргына, привезённых из далёкой тундры. И это тем более было удивительно, что исполнялось серьёзное произведение – симфония...

Русская песня, русская музыка учат добрым чувствам, состраданию даже в своих так называемых «разбойничьих» песнях, каторжном и тюремном фольклоре, который, к сожалению, так и остался неизученным, неисследованным.

Мне приходится много ездить по нашей стране. И как бывает приятно, как волнуется сердце, когда где-нибудь в глубине России услышишь настоящую русскую песню, русскую музыку.

Одним из самых незабываемых и волнующих событий в моей жизни была встреча с Первой симфонией Калинникова.

Это случилось летом сорок девятого года. Я учился в университете и однажды увидел во дворе филфака машину, на которую грузились официантки нашей студенческой столовой. Я спросил, куда они направляются, и услышал в ответ шутливое приглашение ехать вместе с ними на уборку урожая в деревню. Побывать в настоящей русской деревне, да ещё в ту пору, о которой написано так много в русской литературе, в сезон уборки, – об этом я мог только мечтать. До начала занятий оставалось ещё недели три, и я решил поехать.

После войны прошло всего лишь четыре года. Места, куда мы направились, недавно были оккупированы немцами. На пути порой нам попадались следы сожжённых деревень: торчащие среди пожелтевших полей трубы очагов. Виденное мной ранее на плакатах и фотографиях воочию представало передо мной и вызывало смешанное чувство возмущения и удивления бессмысленностью и жестокостью разрушений. Ведь даже самое страшное стихийное бедствие – землетрясение – куда милосерднее, нежели разрушительные действия так называемого человека.

Весть о войне пришла к нам в Уэлен в ясный солнечный день. Райком осаждали русские и чукчи, просившие отправить их на фронт. Помню, с каким огорчением была принята весть о том, что по решению правительства чукчей и эскимосов не будут брать на войну. Тогда это нам казалось чудовищной несправедливостью, а на самом деле было выражением заботы о маленьких народах, которые только начинали оправляться от болезней и вымирания. Советское государство, уверенное в своей победе, смотрело вперёд.

В те годы я открывал для себя Уэллса, и его «Борьба миров» казалась мне книгой очень современной: марсиане в моем сознании ассоциировались с фашистскими оккупантами.

Деревня, куда мы приехали, называлась Тресковицы и находилась недалеко от железнодорожной станции Вруда.

Всё для меня было внове: и косить, и снопы вязать, молотить. Впервые в жизни я учился запрягать лошадь, возить на ней солому и снопы. У меня всегда было настороженное и недоверчивое отношение к коровам и лошадям. Всё-таки они не собаки. Но я вызвался помогать и старался делать работу так, чтобы на меня не обижались.

В этой деревне я надеялся услышать настоящие, старинные, не запятнанные никакими влияниями русские песни.

Но в те годы в деревнях пели мало.

Трудно было и голодно.

Невольно вспоминался Уэлен в тяжёлое время.

В сорок четвёртом году в нашем селении началась небывалая эпидемия вирусного гриппа. Все лежали в своих ярангах. Некому было ходить на охоту, некому было даже открыть магазин и склады. Да и не на что было купить продукты в магазине. Мы уже ели варёные ремни, куски моржовой покрышки. И вдруг по ярангам разнеслась невероятная весть – каждый может пойти в магазин и взять себе продуктов, сколько он хочет и какие ему нужно. Совершенно бесплатно. Сначала никто не поверил этому, хотя кое-кто пошёл проверить. Пошёл и я. Всё оказалось правдой: каждый брал столько продуктов, сколько хотел. Таково было распоряжение правительства. До сих пор не могу вспомнить об этом без волнения: комок подкатывает к горлу. Оценка таких явлений со временем повышается, как растут в цене настоящие, переходящие из века в век ценности. И когда я воскрешаю в памяти те дни, невольно спрашиваю себя: а где ещё могло быть такое? Страна воевала, Ленинград, осаждённый врагом, голодал, на жёстком пайке сидели и москвичи, и вдруг – открытый настешь магазин в Уэлене!

Мы брали в пустом, без продавца, торговом зале хлеб, выпеченный русским пекарем дядей Колей. А я мечтал о том, что когда-нибудь мне доведётся побывать на настоящем русском поле, засеянном хлебом, увидеть это чудесное растение, которое, словно морж для приморского жителя, словно олень для тундрового кочевника, стало символом жизни русского земледельца, того далёкого человека, который, сам страдая от военных невзгод, теряя своих близких и друзей, протягивал руку помощи на другой край своей большой страны народу, который затерялся в пустых и холодных пространствах планеты.

И когда болезнь стала убывать, унося с собой слабых и малых, когда мой дядя со вздохом облегчения поведал мне о том, что эти «рэккэны», маленькие человечки на нартах, в которые запряжены собачки величиной со вшей, наконец-то вышли на окраину Уэлена и, похоже, собираются совсем уезжать, я не выдержал и сказал, что, по моему мнению, рэккэны рэккэнами, но главную роль сыграл бесплатный хлеб дяди Коли и настешь открытые двери уэленского магазина. Дядя молча кивнул, однако с сомнением произнёс: «Если мир так добр, то откуда тогда приходят болезни?».

И вот я смотрю на волнующееся жёлтое море поспевшего хлеба. Поле начинается сразу же за последним домом деревни, словно море у эскимосского селения Наукан – чуть ли не с порога. За полем тёмная зелёная полоса леса, но она далеко, чтобы до неё пройти, надо пересечь поле по невидимой тропинке, затерявшейся среди стеблей ржи.

Я иду, и меня обволакивает неясный шум, шелестение, лёгкие удары колосьев друг о друга. Иногда в этот спокойный, умиротворяющий звук врывается птичий звонкий оклик.

Как здесь хорошо, просторно и легко! И красиво. Где-то поют песню. Прислушиваюсь – нет, это мне показалось. А может, просто у меня на душе поёт радость от волнующего свидания с мечтой? Ведь всё это было в песнях: и широкое поле, и дальний лес, опушка, поросшая мягкой зелёной травой, птицы далеко в поднебесье, рожь, тропинка к реке и обильная утренняя роса, тяжёлая и студёная... В свободное от работы время я садился на берегу речки и слушал. Слушал песни, спетые на берегу Ледовитого океана Леной, вспоминал их и чувствовал тоску, непонятную, глухую... Почему-то мне хотелось очутиться у себя в Уэлене, на берегу лагуны, взойти на зелёные холмы, идущие чередой к Кэнискуну, увидеть далёкое море...

Я провёл две недели в деревне Тресковицы, всласть, до ломоты в костях, наработался и на току, и на поле, и на скотном дворе, научился запрягать и распрягать флегматичного, старого мерина по кличке Гоголь.

Возвращался я через районный центр Волосово. Поезд шёл только утром, и ночь пришлось коротать в тесном зале ожидания вокзала. Было ещё тепло, ночь была тихая, наполненная запахами близкого леса. Я долго лежал на жёсткой узкой скамейке и прислушивался к бормотанию радиорепродуктора, установленного на улице на высоком столбе.

Время приближалось к полуночи. В зале было душно, и я вышел на свежий воздух: ранее я заметил несколько скамеек, стоявших прямо среди кустов.

В темноте, ощупью, я нашёл скамейку, и с радостью убедился, что она свободна.

Бормотание репродуктора стало разборчивее. Передавали последние известия.

Я улёгся, прикрылся своим пальтишком и так лежал с открытыми глазами, тихо радуясь тому, что мне довелось побывать в настоящей деревне, увидеть наконец своими глазами, как растёт хлеб.

После чтения последних известий диктор объявил, что сейчас будет исполнена симфония Калинникова. Это имя ничего мне не говорило, и я со спокойным удовлетворением подумал, что мне будет хорошо спать под музыку.

Но в эту ночь я почти не сомкнул глаз. При первых же тактах я вскочил и уселся на скамейку, чутко прислушиваясь к звукам, стараясь не пропустить ни одной ноты этой удивительной музыки. Все мои чувства, все мои смятенные, неоформленные мысли – все они были ведомы человеку, который сочинил эту симфонию. Да и трудно сказать об этом произведении, что оно сочинено. Всё как

будто было знакомо, потому что звучало в слышанных мной песнях, многие мелодии угадывались. И в то же время это была совершенно новая вещь, доселе незнакомая, никогда не слышанная. В этом причудливом сочетании новизны и уже знакомого заключалась необычайная сила воздействия на слушателя. Композитор как бы собрал разрозненные цвета, расположил их в нужном порядке, и вот они заиграли новой оригинальной картиной, называемой симфонией.

Музыка Калининкова унесла меня обратно на берег Ледовитого океана. И я видел в этой темноте, сгущённой близким соседством леса, нагромождения торосов у косы, видел рыжую осеннюю тундру с тусклым блеском бесчисленных озёр, олени стада, вельботы, людей, сгрудившихся у прибойной черты в ожидании добычи, в ожидании морского урожая, который собирали мужчины – охотники.

Я увидел себя таким, каким был, когда впервые услышал русскую песню. В поношенной, залатанной кухлянке, в нерпичьих штанах, которые очень хороши, когда у тебя нет настоящих санок с полозьями из моржового бивня.

Недавно в Анадырском краеведческом музее директор его Елена Фадеевна Ольшевская, одна из первых русских учительниц на Чукотке, подарила мне старую фотографию, на которой мне лет пять-шесть. Я стою у стены нашей яранги: маленькие торбаса, маленькая кухлянка, какая-то вязаная шапочка на голове. Кругом – огромные валуны, которые держали нашу ярангу на земле, когда задувал ураганный южный ветер.

Здесь таких ураганов не бывает.

В этой музыке всё – даже птичьи оклики, которые преследовали меня, когда я пересекал жёлтое море ржи, подходя к кромке зелёного леса, новой, неведомой мне стихии, куда я долгое время остерегался углубляться.

Порой я отчётливо слышал шум утренней деревни, когда, разбуженный петушиным пением, я медленно брёл по мокрой от росы траве к окутанной утренним туманом реке. Следом за мной шли коровы, шумно и тяжело вздыхая по-людски, где-то далеко звенели вёдра – и всё это сливалось в музыку, которая потом действительно оказалась музыкой, способной создать неповторимое настроение.

Но самое главное, повторяю, в музыке Калининкова было то, что она оказалась сотканной из огромного богатства русской народной музыки, и в тесном соседстве все мелодии засверкали по-новому, отделились особой глубиной, зазвучали с проникающей в самое сердце силой.

Давно кончилась музыка. Из лесу пришла тишина и окутала привокзальную площадь, укрыла меня на жёсткой скамейке, но я всё ещё не мог уснуть.

Утром пришёл поезд, и я уехал в Ленинград продолжать учёбу в университете.

С той поры прошло почти четверть века.

Но та ночь осталась у меня на всю жизнь. Мне потом довелось увидеть многое, попутешествовать по дальним и близким землям, проехать по всей огромной России, но всюду, где бы я ни был, та ночь на станции Волосово была для меня всегда точкой отсчёта, местом, откуда я вдруг воочию увидел сияющие вершины той волшебной горы великой русской культуры, у подножия которой я уже давно бродил.

Под сенью этой волшебной горы нынче идёт вся моя жизнь, растёт культура моего народа, и я не вижу ничего в этом ни плохого, ни тем более унижительного, ибо это самое человеческое свойство – делиться всем лучшим, что у тебя есть, что есть у твоего народа.

Первая далёкая русская песня звучит в моём сердце, звучит в сердцах моих земляков, у всех советских людей, причастных и не причастных к искусству, ибо великая гора осеняет и их.

Первая русская песня зимней ночью в Уэлене и тёплая осенняя ночь под музыку Калининкова – это две вехи, между которыми пройдено много на пути к вершине волшебной горы.

РУССКОЕ СЛОВО

Человек не помнит того времени, когда он не говорил и не понимал языка окружающих. Ему кажется, что он так и родился со знанием родного языка, и способность через слово общаться со своими родителями, близкими, со своими одноплеменниками кажется ему естественной, само собой разумеющейся, как то, что у него две ноги, две руки, глаза, уши. Неспособность разговаривать, глухота и немота, приобретённые и врождённые, воспринимаются как крупные физические недостатки, обрекающие несчастного на муки.

Каким поразительно удручающим, отбросившим меня далеко назад было открытие, что я не понимаю разговора, ведущегося в чоттагине моей яранги, – на русском языке разговаривали мой отчим и гидролог Бориндо. Как я ни прислушивался, ни напрягал слух, кроме необычных звуков, начисто лишённых для меня всякого смысла, я ничего не мог уразуметь. Между мной и тем языком, на котором изъяснялись два нормальных человека, стояла глухая стена, а я по отношению к разговаривающим был лично с изъясном – непонимающим.

Я знал предмет будущего разговора ещё со вчерашнего дня. Гидролог собирался нанять отчима каюром для поездки по Ледовитому побережью до самого мыса Шмидта. Это поездка трудная, требующая почти месячного отсутствия, и она обсуждалась в на-

шей семье задолго до того, как товарищ Бориндо пришёл окончательно договариваться с отчимом и принёс аванс, который лежал на низком столике, завёрнутый в газету.

Но я ничего не понимал!

А отчим перекачивал во рту непривычные слова, выталкивал их наружу розовым языком сквозь прокуренные жёлтые зубы, улыбался, выражал озабоченность, что-то отвергал, принимал, советовал будущему своему спутнику.

Даже две собаки, встретившиеся на улице и молча помахивающие хвостами друг перед другом, понимают друг друга более, чем я двух людей, разговаривающих на нормальном человеческом языке. Причём один из них был даже мне родственником! Бориндо и отчим заполняли неведомыми словами холодный чоттагин, уставленный бочками с квашеным листом и тюленьим жиром.

Отчим уехал с гидрологом, а я с того дня стал чутко прислушиваться к русской речи. Раньше отношение к русскому разговору у меня было такое же безразличное, как к шуму ветра, к гулу прибоя, к хлопанью моржовых покрышек во время сильного ветра, к шелесту летящего по насту снега. Но теперь мне захотелось понять сокровенный смысл незнакомых слов, проникнуть за ту невидимую стену, которая отделяла меня и многих моих земляков от другого, нового мира, существующего рядом.

Некоторые отдельные слова я уже знал – такие, как «чай», «сахар», «хлеб», «купить», «деньги», «хорошо», «плохо», «давай». Но и эти знакомые слова в живой речи менялись, звучали каждый раз по-иному, становились иногда незнакомыми. Судить по отдельным словам о живой речи – всё равно что по капле пытаться представить себе океан.

С той поры каждый узленец, говорящий по-русски хоть чуточку, стал объектом моей жгучей зависти. До изучения русского языка в школе ещё было далеко, года два, а пока нам оставалось только «играть» в русский разговор.

Такие игры существуют у детей разных стран. Только в одних местах играют в земледельцев, пастухов, военных; может, где-нибудь дети богатых играют в банкиров, владельцев заводов, дети монархов воображают себя монархами же, а мы играли в охотников, в оленеводов, торговцев, милиционеров, а потом, несколько позже, под влиянием наших русских друзей, освоили игры в партизан, чапаевцев... Но задолго ещё до школы появилась у нас игра в «русских».

Где-нибудь в укромном месте, обычно на берегу лагуны, мы строили собственное «селение» из пучков сухой травы, ржавых консервных банок, обрезков кожи, камешков. Возводили «яранги», «деревянные домики», располагали «оленьи стада» поблизости, спускали на воду лагуны «вельботы», ловили мелких рыбё-

шек, изображающих у нас моржей. И начиналась жизнь, которая во всём повторяла основные события, происходящие в Уэлене. Постоянными моими партнёрами в этой увлекательной и довольно сложной игре были мои друзья – Сергей Эттекемен, ныне рабочий совхоза, морской охотник, Ачивантин – теперь заведует складом в Уэлене, другие ребята, раскиданные сейчас судьбой по всей Чукотке. В этой игре нужно было соблюдать сложившиеся отношения между жителями Уэлена, и до сих пор я удивляюсь, как нам это удавалось делать. Но мы досконально знали диалоги, которые происходили между, скажем, Сэйгутегином, отцом ныне знаменитого костореза Ивана Сэйгутегина, и приёмщиком пушнины Локэ, который аккуратным почерком заполнял листы квитанций, прежде чем выдать деньги за принятую пушнину или меховые изделия. Если у нас не хватало достоверных слов, этот недостаток мы восполняли воображением, но так, чтобы не выходить из образа.

Уэленская община жила в тесном соседстве с русскими, которые работали на полярной станции и в торгово-заготовительном пункте. В предвоенные годы Уэлен был центром Чукотского района, и в нашем селении находились учреждения, в которых работали русские. Ну, главное, конечно, школа.

Поскольку наши игры реалистически отражали уэленскую жизнь, мы не могли игнорировать присутствие русского населения, и нам приходилось вводить в наши игры русских, имитируя их речь произношением звуков, которые, на наш взгляд, были особенно присущи русской речи. В эту «речь» мы вводили десятка полтора русских слов, известных нам. Правда, эту «речь» нам потом приходилось «переводить» на чукотский, чтобы было понятно и собеседнику, и самому себе, но необходимый колорит достигался и игра была выдержана в реалистическом духе.

Трудно по прошествии более чем трёх десятков лет точно воспроизвести наши игры, но это примерно выглядело так.

Скажем, Ачивантин изображал оленевода, Эттекемен был охотником, а я олицетворял начальника полярной станции. Эттекемен приносил мне якобы нерпичью печёнку. Я гостеприимно встречал охотника на пороге полярной станции, приветствовал, произносил: «Траста». Эттекемен пожимал мою руку и дважды повторял: «Траста, траста». Дальше я нёс какую-нибудь звукоподражательную ахинею, которую Эттекемен внимательно выслушивал, поддакивая мне: так-так, так-так, хорошо. В заключение я произносил знакомые мне русские слова: «теньки», «купить» – и сделка по покупке нерпичьей печёнки заканчивалась к обоюдному согласию. Так как мне часто приходилось бывать на полярной станции, то такие сценки мне время от времени доводилось наблюдать. По утверждению моих друзей, моя «русская речь» звучала вполне естественно.

Пришло время идти в школу. В селении жили два русских мальчика нашего возраста – Владилен Леонтьев и Петя Павлов. Первый был сыном заведующего косторезной мастерской, а второй – сыном пекаря. Казалось, нам бы проще всего было научиться русскому языку у них, но, к нашему разочарованию, эти ребята довольно быстро освоили наш язык и даже между собой предпочитали объясняться на чукотском языке.

Нашим первым учителем был Иван Иванович Татро, уэленский житель, окончивший незадолго до этого краткосрочные курсы по ликвидации неграмотности.

Одетый в непривычный для нашего взгляда костюм, при галтуке, Татро невольно вызывал у нас улыбку. Мы привыкли видеть его в кухлянке, в камлейке, в меховых штанах и торбасах.

Татро положил перед нами две книги и сказал:

– Одна книга, та, которая на русском языке, называется «Родная речь», а вторая, которая на чукотском, – «Чычеткин вэтгав», что тоже значит «Родное слово». Так вот, с сегодняшнего дня и русский, и чукотский язык для вас – родная речь, которой вы должны овладеть.

Передо мной лежала русская книга, напечатанная русскими буквами. И у меня, наверное, так же как и у большинства моих сверстников, было жгучее нетерпение, страстное желание поскорее окунуться в эту речь, открыть для себя неведомый мир, скрытый за аккуратными, безмолвными стрелами, таящими великие слова великих истин.

Так качалось моё знакомство с русским языком.

Слово за словом копилось в моей памяти богатство. Когда я узнавал какое-нибудь слово, оно для меня было будто живое существо, словно новый друг со своей внешностью, со своим характером, со своим голосом.

Первое русское слово, которое я узнал и стал сам употреблять, было «хорошо». Мне оно представлялось круглым, тёплым, похожим на свежеиспечённую, только что вынутую пекарем Павловым из печи буханку хлеба. Возможно, что это слово я впервые услышал от него в тот момент, когда пекарь, довольный своей работой, вынул тёплый хлеб и протяжно, со вкусом произнёс:

– Хо-ро-шо!

Оглядываясь назад, я и сам удивляюсь, как мне удалось овладеть этим великолепным явлением жизни – русским языком! Этот великий язык подобен по сложности самой жизни, и он требует, как и сама жизнь, вечного изучения, постижения его глубинных законов, разгадок тайн. Язык, как и сама жизнь, развивается, идёт вперёд, и надо поспевать за ним, не отставать. Но как прекрасно чувствовать себя свободно в этой вольной стихии, в океане великолепных, выразительных слов!

Однако на пути к современному знанию русского языка стояли великие трудности и, казалось бы, неодолимые препятствия. Прежде всего – русская фонетика.

Любой незнакомый язык на первый взгляд всегда кажется скопищем незнакомых, хаотических звуков. Ты не улавливаешь деления на слова и отдельные предложения, перед тобой незнакомый поток, словно в темноте ты наткнулся на него и не знаешь – глубоко ли тут, широко ли. На первое время нужны какие-то ориентиры, которые, как вехи, указывали бы тебе на границы смысловых отрезков. Такими вехами в моём познании русского языка и были слова типа «хорошо».

Но эти вехи часто терялись не только в лавине незнакомых звуков, но и в тех созвучиях, которые были чужды нашему языку. Так, в чукотском языке нет звонких согласных: д, б, г, ж, з – и они встали на нашем пути, подобно гряде торосов, закрывая нам горизонт познания... Одолеть её стоило нам больших трудов. Нынешние ребята в чукотских селениях с детства учатся русскому языку, в их речь слова со звонкими согласными входят вместе с первыми чукотскими словами. Но нам было неизмеримо труднее. Некоторое время в нашей русской речи мы попросту обходились без звонких согласных.

Многие грамматические категории казались нам ненужными и дикими, как, например, грамматический род, который нами понимался слишком буквально. Почему, например, парта была женщиной, а стол, за которым сидел учитель, был мужчиной? Или, скажем, сам дом был мужского рода, а крыша – женского? Мы изо всех сил старались найти какое-нибудь логическое объяснение такому разделению, подозревали что-то мистическое, таинственное, искали внешние признаки рода в предметах, но все эти поиски не приводили ни к чему определённом, лишь запутывали нас и повергали в уныние. Порой казалось, что если нам не удастся открыть секрета грамматического рода, то нам так и придётся смириться с куцым знанием русского языка, утаившего от нас важную загадку.

Иные вершины торосов, попадавшие нам на пути, мы обходили стороной, и они оставались позади немым укором нашему бессилию. Оставались позади и некоторые слова, которые я в те годы не понимал или понимал неправильно.

Уже в зрелом возрасте я открывал истинное значение многих оставленных в детстве слов, и эти открытия нисколько не печалили меня своим запоздалым приходом, а наоборот, ещё раз подтверждали моё глубокое убеждение в неисчерпаемости языковых богатств русской речи.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Те слова, которые я адресуя русскому языку, отнюдь не означают, что я недооцениваю свой

родной чукотский язык. Но это факт, что именно путём изучения и постижения русского языка пришло новое понимание родного языка, его роли в жизни народа, в развитии культуры.

Мы начали понимать, какая это великая сила – родной язык, какие чудеса можно творить, пользуясь его богатствами, сбережёнными людьми на протяжении веков. Нам стала ясна истина, что языки являются важной частью национальной самобытности, их утрата неизбежно отрицательно отражается на всём облике личности. Я говорю о русском языке с позиции человека, который гордится тем, что в наше, советское время чукотский язык получает развитие не только как язык общения, обиходного контакта между людьми чукотской национальности, но и как язык письменный, язык официальных государственных учреждений, язык новой литературы – литературы, ставшей известной широкому читателю.

Возвращаясь к разговору о русском языке, я не могу не вспомнить своих учителей, которые обладали невероятным терпением, прививая знания, которые служат нам всю жизнь.

Не могу не вспомнить Екатерину Ивановну Покровскую, которая преподавала русский язык и литературу.

Урок литературного чтения строился так. Мы читали вслух тексты, и учительница исправляла наше произношение, ставила правильные ударения. До сих пор, перечитывая произведения, входившие в школьную хрестоматию тех лет, я как бы заново слышу голос учительницы и невольно стараюсь подражать её интонации.

Школа наша была, пожалуй, одной из самых отдалённых в стране. Во время войны и речи не могло быть о том, чтобы обновлялся наш педагогический состав, поэтому если по какой-то причине выбывал один из учителей, то его замещал другой.

Так, мне на всю жизнь запомнились уроки литературы, которые вёл в нашей школе учитель математики и физики Григорий Максимович Недовесов. Отношение к предмету у него было очень строгое. Он требовал от нас точности в языке, и его любимым занятием было ставить нам ловушки, которые есть в русском языке для людей, несерьёзно относящихся к точному знанию языка.

После Григория Максимовича Недовесова литературу и русский язык нам преподавал военрук Иван Андреевич Глотов. Он запомнился тем, что увлекался сочинениями и изложениями. А пометки свои в наших тетрадях любил ставить красными чернилами. Ошибок мы делали множество, и страницы наших тетрадей выглядели порой страшно. До сих пор считаю изложение труднейшим из школьных упражнений. С одной стороны, надо суметь настолько приблизиться к оригиналу, чтобы не было сомнения в том, чьё это сочинение, с другой – пересказать произведение своими словами. Изложение можно сравнить с художественным переводом, только

на тот же самый язык. Но для овладения языком изложение является полезнейшим упражнением, особенно для обретения свободы обращения со словом, с грамматическими формами изучаемого языка.

Так мы шли к овладению русским языком – через правила, исключения, спряжения и склонения, которые порой казались нам непроходимым лесом, настоящими джунглями. И только надежда, что за этими трудностями нас ждёт сокровищница, прибавляла нам силы.

Я уже мог разговаривать по-русски, отвечать уроки на русском языке, но до внутренней свободы обращения с русским словом ещё было далеко. Чувствовалась скованность, ощущение чужеродности, даже какого-то насилия над самим собой. Говорить по-русски между собой, между теми, кто недостаточно хорошо знал язык, ещё можно было безо всякого стеснения. Потруднее было разговаривать с самими русскими. Язык окончательно отнимался, если рядом находился чукча, достаточно хорошо владеющий русским разговором и являющийся как бы твоим соперником.

Тогда же я открыл, что путь к свободному разговору, к свободному владению языком лежит через чтение русских книг, через погружение в самый океан языка, в его сокровенные глубины. Честно говоря, толстые книги на полках школьной библиотеки, на полках учительских квартир внушали страх не меньший, чем океанские глубины. Но всё же эти тома, тесно прижавшиеся корешками, звали неизведанными глубинами мысли, новыми чувствами, новой жизнью.

Изучая другой язык, другую культуру, человек не просто обогащается новыми знаниями, не только прибавляет к своему характеру новые черты, но как бы обретает объёмность, широту, способность понимать других людей не только в прямом смысле, но и в смысле проникновения в их душу и ум.

Переkreщивание и сплетение путей литературно-художественного общения – одно из самых ярких и действенных доказательств общности людей, их единства.

В загадке происхождения языка кроется интереснейшая проблема, которая тесно связана с человеческой способностью осмысливать мир и сообщать другому человеку о своих ощущениях, открытиях.

И по мере овладения русским языком во мне росло прекрасное чувство не только соприкосновения с великим языком, но чувство гораздо большее – как бы ощущение собственного продолжения в том неизведанном, что становилось понятным с каждым узнаваемым русским словом.

Советского человека за рубежом часто называют русским.

Со мной такое довольно часто случалось. Это было в далёких

африканских странах, в Канаде, в университетских городках Западной Европы, в жарком Вьетнаме.

По дороге с юга в Ханой мы остановились возле деревушки, привлечённые необычным сборищем. Слышалась музыка, реяли флаги. Возле бамбуковых хижин были раскинута военные палатки, а под навесом стоял покрытый кумачом стол. Праздновали новый урожай риса. Одновременно демонстрировали боевую готовность народного военного ополчения. Мы вошли в одну из палаток, где девушки готовились к выступлению – разучивали хоровые песни. Едва только они услышали русскую речь, как сразу всё внимание тут же переключилось на нас. «Льен-со! Льен-со!» – слышалось вокруг. Так называют во Вьетнаме советских людей, русских людей. И первое, что нам пришлось сделать в этой военной палатке, заполненной до отказа юными девушками в военной форме, – это спеть русскую песню и прочитать русские стихи.

Сколько я видел во время путешествий склонённых над русской книгой разных голов – покрытых русыми волосами, чёрными прямыми, чёрными курчавыми, и седыми, и даже лысых, – люди изучали русский язык!

Интерес к великому языку за последние годы стал таким сильным, что приходится посылать преподавателей русского языка даже в такие далёкие дали, как Эфиопия.

Русский язык звучит на самых далёких окраинах планеты – по радио, по телевидению, над полями, над лесами, над океанскими просторами, в джунглях тропиков и в космическом пространстве.

Как-то мы побывали на курсах русского языка при советской постоянной выставке в Аддис-Абебе. Аудиторию заполняли в основном молодые юноши и девушки. Они старательно выводили в своих тетрадях русские слова, буквы, произносили незнакомые звуки. Глядя на них, я вспоминал своё далёкое детство, затерянный в снегах Уэлен. Вспоминал себя, своих товарищей, склонившихся над тетрадями и книгами, наше жгучее, казавшееся тогда неисполнимым желание овладеть русским языком.

Я подошёл к одному из парней, заглянул через плечо в его тетрадку и прочитал знакомое слово. Парень посмотрел на меня, улыбнулся и произнёс:

– Хорошо!

Наверное, так же много-много лет назад я произнёс это прекрасное русское слово, соединив его с русским хлебом, с круглой, тёплой румяной буханкой, выпеченной русским пекарем Николаем Павловым, который, вынимая из печи формы с испечённым хлебом, произносил вкусно, округло:

– Хо-ро-шо!

СТИХИ

Когда я пошёл в первый класс, моя тётя уже заканчивала семилетнюю школу, и, на мой взгляд, её образованность была для меня недостижимо высокой. На пути к высотам науки лежали разные препятствия, которые мне казались куда более трудными, чем сам гранит науки. И среди них – необходимость стричься. Мой дядя не умел обращаться с ножницами, и он попросту брил голову остро отточенным охотничьим ножом. Не то что стричься таким образом, но и смотреть на это было страшно. Волос падал к дядиным ногам с каким-то треском, как бы выстреливаясь из-под лезвия.

Прежде чем идти в школу, надо было пройти через эту экзекуцию.

Потом шли другие, менее страшные, но не менее трудные препятствия, вроде обязательного ежедневного умывания и чистки зубов.

Но впереди были соблазны, которые притягивали с такой силой, что я готов был подвергнуться любой пытке, чтобы только узнать, что это за ними, за картонными обложками, за этим профилем, тиснённым на матерчатой корке большого тома, что за этим коротким, похожим на лёгкий вздох словом – Пушкин.

Это имя впервые я услышал от своей тётки, спросив, что написано в этих одинаковых томиках или в этой большой книге с интересными картинками, заключающими в основном портреты далёких красавиц, портреты мужчин со смешными бородами, с волосами, растущими на щеках. Написаны были эти книги совершенно необычно, и я, воспитанный в бережливом отношении к любому клочку бумаги, аккуратно собиравший чайные обёртки и конфетные фантики, поражался расточительному использованию страницы, где строчки не шли от края до края листа, как в обычных книгах, а занимали лишь середину. Такое неэкономное расходование бумаги удивляло меня, но в то же время я смутно догадывался о том, что так и должно быть. Тётя уехала учиться в Анадырское педагогическое училище и не могла ответить на мои вопросы.

Поэтому я спросил об этом нашего учителя Ивана Ивановича Татро.

Недавно, побывав в Уэлене, я встретил своего первого учителя, уже сильно постаревшего, поседевшего. Татро шёл мне навстречу, опираясь на короткую палку. Мы с ним посидели на завалинке первого деревянного дома в Уэлене, где тогда помещалась школа.

Мы вспомнили наш разговор о Пушкине.

– После твоего вопроса, – признался мне Татро, – я только и стал по-настоящему читать и понимать этого великого русского поэта.

Поговорив с Татро, я вошёл в старое здание. Теперь здесь временно размещается сельский клуб. В этом доме я провёл семь долгих

счастливых лет и отлично помню расположение всех комнат, классов. Внутри наша старая школа почти не претерпела никаких изменений, только сняты некоторые перегородки. Я сразу же нашёл место, где стояла моя первая парта, а потом и все последующие.

Вроде бы потолок стал ниже, комнаты меньше.

Отсюда я уходил в будущее, здесь впервые услышал о том, что такое стихи.

На каком-то из уроков, когда было позволено задавать вопросы, я, ещё чувствуящий на голове страшный зуд от дядиного охотничьего ножа, поднял руку и спросил Татро, почему это в одних книгах строчки длинные, а в других – короткие.

– Потому что это стихи.

Последнее слово Татро произнёс на русском языке.

– А что такое стихи? – не отставал я от нашего учителя.

Татро замешкался, похоже, даже растерялся. Как он мог мне объяснить такое? Ведь он был наш первый учитель, человек, сам только начавший познавать эту волшебную гору, у подножия которой мы стояли оба – первый наш учитель и его ученик.

– Стихи писал Пушкин, – веско сказал Татро и уклонился от дальнейших объяснений.

Через несколько дней Татро принёс на урок знакомый мне том пушкинских сочинений и начал читать:

*У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том:
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...*

Это было совершенно не похоже на то, что я и мои сверстники раньше слышали! С одной стороны, мы понимали, что это русский разговор, но ведь все, кого мы знали – работники полярной станции, заготовитель пушнины, пекарь Николай Павлов и, наконец, наши товарищи по школе Петя и Владик, – не говорили так!

– Какой странный русский разговор! – не сдержавшись, сказал я.

И Татро снова произнёс это слово:

– Потому что стихи...

– А что такое стихи? – опять спросил я, вызвав у Татро взгляд неудовольствия.

– Я сейчас вам переведу эти слова, – сказал Татро и поведал нам удивительное: – У берега, очертание которого похоже на изгиб лука, стоит зелёное дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом дереве висит цепь. Цепь эта из денежного металла, в точности из такого, как два зуба у нашего директора школы. И днём, и ночью вокруг этого дерева ходит животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое. Это животное – учёное, говорящее...

Последнее обстоятельство было нам понятно, потому что нас с детства окружали говорящие вороны, лисы, россомахи, моржи, нерпы, касатки – разнородное, многочисленное население волшебных сказок, умевших делать всё, в том числе и говорить по-человечески.

С первых же звуков меня заворожила незнакомая доселе ритмика русской речи, необычное звучание, казалось бы, знакомых слов. Я смутно догадывался, что дело совсем не в том, что «стоит зелёное дерево, из которого делают копылья для нарт». Если бы это было главным, Пушкин не стал бы писать об этом стихами. Это что-то вроде песни. Музыка стихотворной речи стала для меня очевидной гораздо раньше, чем я понял её содержание, внутреннюю музыку, которая создаётся глубокой и оригинальной мыслью.

Я стал читать русские стихи, порой не понимая смысла слов, мне просто интересно и приятно было ощущать музыку слов, музыку самой речи. А потом, когда пришло понимание самих слов, многое прояснилось. Это могло сравниться только с наблюдением пробуждения нового дня, когда непосредственно перед тобой происходит великое чудо природы и мрак рассеивается сначала первыми робкими лучами, а потом уже ослепительной силой могучего светила.

Может быть, просто повезло мне и моим сверстникам. Не надо искать, наверное, в этом ни блага, ни чего-то другого. Но факт есть факт – мы воспринимали и первые стихи, и первые песни, и первые произведения такими чистыми и незамутнёнными сердцами, что порой теперь это мне кажется неправдоподобным. Всё ложилось на девственную память души и отпечатывалось навсегда, на всю жизнь. Потом трудно было расставаться даже с заведомо искажёнными, ложными представлениями.

Возвращаюсь к Пушкину.

Едва научившись читать, я проштудировал все тома его, находившиеся в уэленской школьной библиотеке. Мне всё было интересно – и необычная биография поэта, его трагическая смерть, его друзья, близкие. Тогда же я открыл, что жизнь поэта до мельчайших подробностей отражается в его творениях, а это и есть подлинная биография творца, ибо человек по-настоящему живёт, когда творит, когда работает.

Не могу здесь не вспомнить с улыбкой, как я был совершенно уверен, что в известных строчках:

*Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры –*

имеется опечатка, и весьма существенная. Просто в те годы я не знал такого редкого русского слова – «нега» и читал эту строчку, совершенно уверенный в том, что Пушкин именно так и написал: «Открой сомкнуты негром взоры навстречу северной Авроры». Таких собственных «опечаток» у меня на протяжении всей жизни было немало, и даже теперь я порой обнаруживаю их самым неожиданным образом.

Сказки Пушкина были первыми пушкинскими произведениями, глубоко вошедшими в обиход чукотского народа. Персонажи пушкинских сказок вдруг стали появляться в исконно чукотских легендах и сказаниях, мирно соседствуя с волшебными нерпами и моржами, с оленями и белыми медведями. Мёртвая царевна-красавица оказывалась в гроте застрявшего айсберга и покоилась не в хрустальном гробу, что было весьма непонятно, а в более понятном ледовом покоище.

Много лет спустя я переводил пушкинские сказки на чукотский язык, и вспоминал первое знакомство с великим русским поэтом, с которым и связано это слово – стихи.

Стихи и Пушкин для меня были так неразрывно связаны между собой, что, когда там же, в школе, я узнал, что такого рода произведения писали и другие поэты, мне стало как-то не по себе, и я даже почувствовал нечто вроде ревности – если уж стихи, то только Пушкин!

Но это было только первоначальное ощущение, которое довольно скоро сменилось чувством глубокого и беспредельного удивления перед несметным богатством, которое открывалось постепенно перед моим изумлённым взором. Одного Пушкина было бы достаточно, чтобы представить глубину художественного мышления народа, богатство его языка. Но, оказывается, Пушкин не был одинок! И до него, и после него шла блестящая плеяда великолепных стихотворцев, которые поражали моё воображение так, что даже появилось ощущение чего-то сверхчеловеческого.

Отношение к творческому акту как к акту высшей человеческой деятельности с годами укрепилось во мне, и я не считал бы ни позёрством, ни кокетством, если бы современный писатель на обычный вопрос: «Как вы стали писателем?» – отвечал: «Это было дано мне свыше». Я имею в виду не божественное происхождение творческих способностей, таланта, а лишь пытаюсь защитить творческий дух от рационализма, от попыток свести его к механическим, пусть очень умелым навыкам. Творческий акт, особенно акт художественного творчества, – проявление высших способностей человеческого мозга, его натуры, проявление чувственного опыта, накопленного на протяжении многих веков.

Стихи Лермонтова сливались у меня с пушкинскими стихами, и это несколько не умаляло в моих глазах поэта, который поразил меня своим «Демоном», где как бы сконцентрировались и выявились смутные чувствования моих близких, выражающихся не всегда поэтически.

Всё это, едва вмещавшееся в неокрепшем сердце маленького мальчика, происходило на фоне той жизни, в которой ещё не было прошлого, испытанного и нужного.

Своё детство я довольно подробно описал в книге «Время таяния снегов». Но я писал ту книгу, когда мне было двадцать семь лет. С тех пор прошло уже почти полтора десятка лет. Может быть, сегодня я бы написал «Время таяния снегов» по-другому, но, по моему глубокому убеждению, запоздалое исправление своих книг похоже на наивную попытку вторично, в исправленном варианте, прожить свою жизнь. Такого не бывает, и исправление книг (я не имею в виду стилистическую, художественную, фактологическую правку) похоже на подчистку документа.

В этой книге, возможно, встретятся эпизоды, уже описанные в трилогии «Время таяния снегов», но здесь они приводятся для решения задач именно этой книги.

В первые школьные годы мне пришлось жить у дяди. Весь уклад жизни в дядиной яранге был подчинён тяжёлому труду морского охотника. Зимой дядя Кмоль вставал буквально на заре. Я это прекрасно знаю, потому что на мне лежала неприятная обязанность каждое утро, за исключением явной непогоды, когда от ураганного ветра сотрясалась вся яранга, нагишом выбегать наружу и, переминаясь босыми ногами на снегу, выполнять две задачи – справиться малую нужду и оглядеть весь небесный свод, запомнить облачность, особенно у горизонта, направление и силу ветра. С этими сведениями, облегчённый, я с удовольствием вползал в полог и докладывал дяде, который после завтрака отправлялся на морской лёд.

До школы оставалось ещё несколько часов, да и после морозного воздуха спать уже не хотелось. В эти утренние часы я читал книги, которые понемногу поддавались мне.

Вечером, если охота бывала удачной, дядя Кмоль мазал жертвенной кровью идолов, разбрасывал куски мяса и жира на морскую сторону, проводил жирную черту густой тюленьей кровью по моему лбу, и с этой отметиной я склонялся над книгой.

Стихи Некрасова были совершенно не похожи на стихи, которые я до этого читал. Поначалу я даже встретил их с привычным ревнивым чувством – «не Пушкин».

Как раз в эти дни нашим очередным преподавателем литературы и русского языка был Наум Соломонович Дунаевский, по специ-

альности математик. Он ещё запомнился мне тем, что прекрасно играл в шахматы и курил вонючую трубку, которую сосал, даже когда она не горела. Наша постоянная преподавательница заболела, и её увезли в районный центр.

Наум Соломонович сильно картавил, и меня поначалу коробило его произношение, казавшееся мне кощунственным по отношению к русскому языку. Но проникновенность и задушевность, с которой Наум Соломонович читал стихи Некрасова, в первые же минуты затмили недостаток его речи. Наум Соломонович читал стихи совсем не так, как другие преподаватели. Он выговаривал их как простую речь, без нажима на рифмы и не соблюдая ритмики. И тут случилось чудо: оказалось, что за внешней музыкой стиха кроется внутренний смысл:

*В каком году – рассчитывай,
В какой земле – угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень...*

Дальше шло перечисление деревень, а перед моими глазами вдруг с удивительной отчётливостью встала картина: семеро мужиков, похожих на наших чукотских охотников из разных селений, раскиданных по берегу Ледовитого океана. Эти селения – Инчоун, Нешкан, Сешан – только что по-другому назывались, но жизнь в них в то время ещё была тяжела, голодна, и мечта о лучшей доле, о лучшей земле бродила из одной сказки в другую.

Эти мужички были первыми людьми из большой русской литературы, которые вызвали во мне родственное братское чувство. Это чувство было радостным, несмотря на то, что эти люди жили нашей жизнью. Но ведь и наша жизнь тоже была не райской, и только тяжкий, напряжённый труд позволял человеку на этом безрадостном клочке обширной земли высоко держать голову и сохранять незапятнанным звание человека.

Радостное чувство объяснялось тем, что я обнаружил далёких братьев и почувствовал к ним симпатию, несмотря на то, что они были от меня бесконечно далеко не только по расстоянию, но и по времени. И всё-таки, наверное, так почувствовал бы каждый житель Земли, если бы вдруг на другой планете обнаружились совершенно похожие на нас люди, наши братья и сёстры, похожие на нас не только внешними чертами, но более всего своим внутренним

миром, своими чувствами, своими чисто человеческими слабостями, которые более милы сердцу, нежели обретенные черты превосходства в физическом и умственном облике человека.

Жестокий ветер треплет нашу ярангу. Вот уже две недели ни один охотник Уэлена не может выйти на лёд. Кончаются запасы жира и мяса. Всё чаще на нашем общем блюде – кэмэны – появляются запасённые с осени квашеные листья, слегка приправленные пригорелым тюленьим жиром. В пологе для экономии горит только одна жировая лампа. При этом тусклом свете я читаю, вслушиваясь внутренним слухом в звучание слов.

*Заунывный ветер гонит
Стаи туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо плачет тёмный лес.*

Дядя сидит в стороне со стариками и пристально смотрит в рукав старого плаща из моржовых кишок. Другой конец рукава опущен в сосуд с морской водой. Идёт исследование погоды.

И, несмотря на голодный желудок, какую-то необыкновенную лёгкость головы, я со светлой грустью думаю, что и в лесном краю, где жили мужики, собравшиеся выяснять, «кому на Руси жить хорошо», тоже бывает ураганный ветер, и стаи туч, подобно чёрным птицам, сбиваются на горизонте, застилая морские просторы, зубчатую линию дальнего горного хребта.

Стихи долгое время казались мне чудом, которое невозможно воспроизвести на другом языке, а тем более на чукотском.

Это не значит, что чукотский язык не знал «словесной игры». Большинство пословиц, поговорок, дразнилок рифмовалось. Но чтобы большое поэтическое сказание было сложено в виде упорядоченных строк, то есть в виде стихов, такого не было. Слова в песнях располагались в зависимости от смысла и мелодии, и их было так мало, что не было никакой необходимости составлять упорядоченную строку.

Интересно, что способность к рифмовке я заметил ещё в детстве у старших, которые переиначивали русские песни, вставляя в них чукотские понятные выражения или же просто отдельные слова, которые придавали какой-нибудь непонятной песне, непонятному стиху смысл, нечто знакомое, близкое. Так, в то время ходила песенка времён гражданской войны со словами:

*Эй, комроты,
Даёшь пулеметы,
Даёшь батареи,
Чтоб было веселее...*

Уэленские острословы вставили свои слова, то есть попросту конкретные имена, и всё стало на свои места, тем более что слово «даёшь» было понятно почти каждому мало-мальски знающему русский язык. Песня эта звучала так:

*Эй, Омрырольтын,
Даёшь Пэлятагин,
Даёшь Пыткыванна,
Чтоб была Тынаваль...*

Омрырольтын был отцом Пэлятагина, у которого женой была Пыткыванна. У них была дочь Тынаваль. Причём эти имена были вставлены не просто потому, что первыми пришли в голову сочинителю, а по какому-то совершенно конкретному случаю, который мне не запомнился.

Но чтобы на чукотском языке было написано стихотворение или поэма – об этом я даже и не задумывался, совершенно уверенный в том, что такое невозможно ни на каком другом языке, кроме русского.

И когда я узнал, что стихи существуют и на других языках, только тогда начал задумываться о том, что, может быть, и наш язык способен на такое.

Тем временем продолжалось знакомство с русской поэзией. Зимними долгими ночами я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, знакомился с поэтическими произведениями других народов, но через русский язык.

Помню, как поразила меня великая грузинская поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Поначалу мне не очень понравилось название. Почему – в тигровой шкуре? Разве это так важно, во что одет герой? Но поэма меня так захватила, что я не мог оторваться от неё, пока не прочитал её целиком. Прочитав, я горячо рекомендовал её своим товарищам, пересказывая наизусть многие строки, а там, где память не сохранила дословно поэму, пересказывал своими словами.

Стихи Маяковского я заметил давно, может быть, даже до того, как научился читать по-русски. Ломаные строчки чем-то раздражали и в то же время возбуждали любопытство. Само имя Маяковского стало мне известно гораздо раньше, чем его стихотворения. В этом имени было слово «маяк». На высоком мысу над Уэленом только что поставили домик с башней, и острый луч в тёмные ночи уходил далеко в море, показывая проходящим кораблям путь. Это был маяк, обладавший такой силы лампой, что, говорили сведущие люди, летящая птица могла запросто сгореть в её луче.

Стихи Маяковского читал нам учитель Наум Соломонович. Несколько непривычно было слышать из его уст очень крепкие слова

стихотворения «О советском паспорте». Многие словосочетания были совершенно непонятны нам, хотя по отдельности каждое слово было нам знакомо. «Черти с матерями» как-то не укладывались для нас в какой-нибудь определённый смысл.

Бедного Наума Соломоновича Дунаевского засыпали вопросами.

Видимо, здесь играло роль предметное мышление, воспитанное и жизнью, и чукотской речью, в которой не так много абстрактных понятий.

При первом же чтении бюрократизм мне представился почему-то в виде бухгалтера торгово-заготовительной базы. Может быть, потому, что тот всегда был погружён в разные бумажки, и, проходя мимо конторы, редко можно было увидеть его лицо, так как голова бухгалтера всегда была низко наклонена. Так вот, этого бухгалтера глодал огромный серый волк, пугливо озирающийся кругом. Строка «к мандатам почтения нету» более или менее была понятна... Но вот «ко всем чертям с матерями катись...» – здесь моё воображение оказалось совершенно бессильным. Как-то смутно представлялся целый ряд чертей с безобразными рожами, а к ним по снежной целине, мимо волка, глодающего бедного бухгалтера, катились шары, которые при близком рассмотрении оказались тепло одетыми женщинами-матерями... Но ведь смысл стихотворения совсем не в этом!

Язык является отражением жизни народа. Это бесспорная истина. Жизнь чукотского охотника и оленевода не давала много материала для отвлечённых размышлений. Поэтому некоторых слов, понятий, вполне естественных в каком-нибудь другом языке, в чукотском не было.

Я хорошо помню, как, работая в газете «Советская Чукотка», переводя газетные статьи на чукотский язык, я часто вставал в тупик, не находя того или иного слова. Правда, потом я научился выходить из положения, используя богатейшую способность чукотского языка к новым словообразованиям. Но вот, скажем, когда мне пришлось перевести простое словосочетание «свободный народ», я остановился перед неодолимой стеной. Дело в том, что в чукотском языке нет общего понятия – свободный. Всегда должно быть конкретно указано – от чего свободный. В переводимом контексте значилось: «свободный от цепей эксплуатации». Было такое чукотское слово – «свободный от цепей», но оно относилось к собаке, и при переводе получалось буквально: «сорвавшийся с цепи народ», что совершенно меняло смысл, если не сказать хуже.

Образный строй стихов Маяковского требует очень точного знания языка, тонкого чувствования разных смысловых оттенков слов, и, конечно, прямое восприятие, скажем, таких строк:

«Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше»

– невозможно. Надо знать подспудное, скрытое значение слов, их сочетаний. А это даётся с большим трудом, лишь со временем.

Моё восприятие русской поэтической речи шло нелегко. В конце концов я написал несколько очень неважных, подражательных стихотворений на чукотском языке.

Случилось это уже в Ленинграде.

Этот дом любой, даже приехавший на один день в Ленинград, запомнит. Он стоит напротив Казанского собора, выделяясь необычной архитектурой и стеклянным шаром на угловой башне, который светится по ночам. Здесь помещается крупнейший книжный магазин, так называемый Дом книги, а с третьего этажа и выше идут помещения, занятые разными издательствами. На четвёртом помещается Ленинградское отделение издательства «Прогресс», носившее тогда другое название – «Учпедгиз», которое мне всегда почему-то напоминало чудовищно изогнутую железную кочергу.

В Учпедгизе печатаются книги для школ Севера на языках народностей, населяющих национальные округа и низовья Амура. Многие студенты-северяне принимали участие в составлении учебников, и в особенности в переводе текстов на свои родные языки.

Пришлось заниматься этим делом и мне. Я работал с Петром Яковлевичем Скориком, ныне доктором филологических наук, одним из первых русских учителей, приехавших в конце двадцатых годов на Чукотку.

Я переводил тексты для книги «Чычеткин взгав» – «Родное слово». Это была хрестоматия для чтения. Первый же текст, который мне надо было переложить на чукотский, оказался стихами. Я хорошо знал их, но как слова песни Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная». А тут лишённые музыки строки предстали передо мной словно раздетые, непривычные. И переводить их надо было именно как стихи.

Я отложил рукопись, твёрдо решив на следующий же день вернуть её Петру Яковлевичу и сказать ему, что я не готов для такой работы.

Всю ночь я ворочался без сна. Строки стихотворения перекатывались у меня в мозгу, сталкиваясь с чукотскими словами, идущими им навстречу. Что-то получалось любопытное и интересное, не похожее на то, что мне раньше попадалось.

Общежитие наше помещалось на Пятой линии Васильевского острова. На нашем этаже находилась большая комната, называемая рабочей, где можно было сидеть даже ночами. Я осторожно выскользнул из-под одеяла, наскоро оделся, взял рукопись и отправился по полутёмному коридору в рабочую комнату. Там горел свет, и какой-то студент в поношенном офицерском кителе, обхва-

тив голову руками, сидел над толстенной книгой. Это был сорок восьмой год, и большинство студентов университета были бывшими фронтовиками.

Я выбрал стол в углу и разложил бумаги.

Строки сами лились из-под пера, и передо мной на странице возникало первое произведение на чукотском языке, строки которого не доходили до конца страницы и которое можно было читать, ясно ощущая ритм, концевые рифмы, и, что самое главное, получалось, во всяком случае по звуковому письму, несколько не хуже, чем в оригинале!

Это было так неожиданно для меня, что я невольно огляделся, желая поделиться тут же радостью своего открытия. Но никого, за исключением погружённого в размышления над книгой отставного офицера, в комнате не было.

Тогда я стал вполголоса читать перевод стихотворения и даже напевать его.

Офицер недовольно поглядел в мою сторону.

Мне пришлось умолкнуть.

Я набело переписал стихотворение и постарался красиво написать его название: «Ныркывкэн гимнин Чычетнутэнут».

С этим листком я и вышел в промозглую, пасмурную ночь Ленинграда. Тускло светили фонари. С конца Малого проспекта, со стороны Невы, тянуло знакомым запахом льда. Я направился в ту сторону. В те годы Тучкова набережная, ещё не переименованная в набережную адмирала Макарова, имела довольно неприглядный вид. Здесь отстаивались зимой грязные буксиры-работяги, стояли какие-то плавучие общежития, а на берегу высились огромные штабеля дров.

Я пробрался между дровяными рядами и выбрался к реке. Здесь, уже никого не стесняясь, громко прочитал стихотворение Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная» на чукотском языке.

Переводческая работа меня захватила.

Я переводил стихи Пушкина, Некрасова, приступая не без робости к этому труду. Это было ни с чем не сравнимое счастье, когда слова великого поэта обретали новую жизнь на моём языке.

Честно говоря, именно тогда у меня зародилась мысль о том, что, несмотря на многообразие звуков языка, способов выражения слов, есть такие общечеловеческие понятия, которые близки каждому жителю Земли, независимо от его происхождения и образа жизни.

Я переводил в основном стихотворения о сменах времён года, описания примет зимы, лета, осени, весны. Это было интересно, увлекательно, любопытно.

Но и вёсны, и зимы, и осени, и лета относились к русской при-

роде. Там говорилось о лесах, полях, лугах, о снопах, волнующейся пшенице, запахе сена... Я это понимал, но моему маленькому земляку, впервые взявшему в руки книгу, как я помнил из своего недавнего опыта, многое было непонятно.

И тогда я решил попробовать написать о нашей, чукотской природе. Я вспоминал звонкий, синеватый при тусклом свете полярного дня сугроб, от которого откалывал куски и грузил на нарту, чтобы привезти домой и натаять воды, или дальние походы к замёрзшему водопаду. Прежде чем разрушить замёрзшие натёки, я часами сидел под ними и слушал тихий перезвон сухого снега, катящегося по льду. Вспоминались тихие летние вечера на берегу моря, спокойное, могучее дыхание океана, которое поднимало и опускало в прозрачной воде маленьких медуз. Или штормовые вечера, когда волны докатывались до нашей яранги, стоявшей на морской стороне. Водяная пыль замерзала на проводах радиоантенн, ледяные глыбы падали на крышу яранги, сотрясали жилища, и сердце сжималось от предчувствия беды.

Все эти воспоминания вылились у меня в несколько довольно слабеньких стихотворений, которые и были помещены в книге «Чычеткин вэтгав».

Обычно писатель удостаивается чести быть помещённым в хрестоматии, если его произведения могут быть названы образцовыми. А тут самые первые стихотворные опыты были помещены в книгу. И это отнюдь не было свидетельством их высокого качества, а произошло оттого, что другого тогда ничего не было, ещё не писали своих стихов ни Виктор Кеулькут, ни Антонина Кымытваль.

Когда книжка вышла, я, конечно, открыл её на той странице, где было помещено стихотворение Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная».

Я пожалел тогда, что нет рядом моего старого учителя, моего первого учителя Ивана Ивановича Татро, которому я показал бы эти строки и сказал бы:

– Смотрите, Иван Иванович, – это тоже стихи...

Несколько лет назад я путешествовал с покойным ныне чукотским поэтом Виктором Кеулькутом. Мы с ним побывали в бухте Провидения, ездили по Анадырскому району. Виктор читал стихи, и они воспринимались слушателями так, словно поэтическое творчество нашего народа имело давнюю историю и чтение стихов – совершенно обыкновенное явление в жизни чукотского охотника и оленевода.

Никаких сложных объяснений этому нет.

Всё довольно просто, хотя за этой простотой стоит великий подвиг русских учителей, первых чукотских учителей, которые,

будучи сами не очень грамотными, учили нас даже тому малому, что они сами знали.

В те годы не было сегодняшних льгот, да и бытовые условия были такими, о которых можно было сказать коротко – никаких условий. Часто учителя жили в мало приспособленных и для учения, и для жилья комнатках в домишках, брошенных сбежавшими торговцами.

Недавно я прочитал дневники учительницы Прасковьи Кузьминичны Беликовой.

Прасковья Кузьминична преподавала английский язык, русский язык и русскую литературу. Первые годы своего пребывания на Чукотке она провела в эскимосском селении на берегу Берингова пролива. Она описывает день за днём, и передо мной встаёт величественная картина подвига. Наукан расположен в таком месте, что тихий день там такая же редкость, как снегопад в Италии. Яранги располагались на крутом скальном уступе. Эскимосы выбрали это место, чтобы быть ближе к звериным тропам, путям моржей и китов. Сейчас это пустынное место и там находятся лишь полярная станция да пограничный пост. Эскимосы переселились в другое место, где можно строить хорошие, удобные дома. Это переселение потребовало от них настоящего самопожертвования, ибо нет человека, который бы не был крепко привязан к своей родной земле. Особенно эскимос или чукча. Они как бы вырастают в скалы, в галечные косы, в тундру, откуда их уже трудно сдвинуть.

И недаром первый эскимосский поэт, лётчик Юрий Анко, с пронзительным чувством восклицал:

*Пусть мы уедем далеко,
Пусть даже в небо залетим,
В родной Уназик всё равно
Мы возвратиться захотим!*

Юрий Анко тоже из тех, кто встал у подножия волшебной горы, под её сень, чтобы увидеть её вершину и проложить свою тропу.

Почему же получилось так, что всё – и стихи, и песни, и всё большое искусство большого русского народа – оказалось родным и близким тем, кто стоял только на пороге художественных открытий, у подножия волшебной горы?

ЧУДО РАСКРЫТОЙ КНИГИ

Три момента, три главные вехи в моей жизни не имеют точной даты, потому что они случились незаметно для меня. Первый – это время, когда я заговорил на своём языке, второй – когда русский

язык стал для меня вторым родным, и третий – когда процесс чтения перестал быть для меня тяжёлым трудом, а превратился в наслаждение и в настоящую необходимость.

В самом деле, в памяти чётко сохранились дни, когда я держал в руках самые примечательные книги моей жизни, чтение которых не только доставило ни с чем не сравнимое удовольствие, но и повлияло на меня так, что это влияние я ощущаю до сегодняшнего дня.

Но прежде чем я и мои сородичи раскрыли книгу и приобщились к этому чуду, надо было преодолеть большое историческое расстояние, выйти из состояния патриархально-родового строя. Этот нелёгкий путь был не прост. Многие жизненные, казалось бы, веками проверенные установления оказались ложными. С трудом принимались новые законы, новые обычаи, которые порой казались ненужными и даже смешными.

Народы Севера волей судьбы обитали в таких трудных природных условиях, что, не будь они способными быстро и без особого сожаления расставаться с тем, что мешало выжить, они бы попросту давно исчезли с лица планеты, увеличив число безвозвратно исчезнувших народов. А ведь дело шло к этому. Темп вымирания был настолько стремителен, что вчерашние предания, исторические сказания уже в следующем поколении казались преувеличениями, когда речь заходила о численности людей. Так было с юкагирами, мужественным племенем, пришедшим в своё будущее с числом около четырёхсот человек, тогда как их было столько, что, как повествовалось в сказаниях, от дыма их костров темнели крылья пролетающих птичьих стай. Исторические изыскания и археологические раскопки также свидетельствуют о том, что народы арктического Северо-востока были далеко не обломками больших этнических конгломератов, а отдельными большими народами.

И я никогда не устану повторять истину, ставшую очевидной, что народы Севера спасены Великой Октябрьской социалистической революцией. А ведь дело шло к печальному концу. За примерами ходить далеко не надо. По ту сторону Берингова пролива, на Аляске и в Северной Канаде, это уже происходит и произошло. Широко известна книга канадского писателя Фарли Моуэта «Отчаявшийся народ», в которой описано исчезновение племени ихальмятов, одного из племён великого арктического народа эскимосов. Это племя вымерло только потому, что встретилось с жестокой капиталистической эксплуатацией, с той действительностью, которая оказалась губительнее смертоносного дыхания арктического холода.

Гуманизм Великого Октября по отношению к малым народам ещё до конца не исследован и не оценен. А это тем более инте-

ресно, что издавна о народах Севера говорилось много добрых и сочувственных слов. Великий Нансен, Руал Амундсен, русские путешественники и мореплаватели – от Крашенинникова до Биллингса – предлагали разного рода меры, способные оградить арктические народы от влияния так называемой цивилизации. Да, именно оградить. Речи о другом и не было. Этот ограниченный гуманизм, который сродни современному респектабельному расизму, всё же в тех условиях был хоть и слабым, но всё же голосом в защиту северных народов. И этот голос не то что не был услышан, а на него вовсе не обратили никакого внимания.

Одно дело выражать сочувствие, и совсем другое – действительно помогать нуждающемуся. Потребовалось полное изменение существующего строя, создание качественно нового общества, основанного на подлинном гуманизме, чтобы народы Севера могли воспрянуть духом, подняться с колен и обрести новое историческое будущее.

Одной из главных причин подъёма национального самосознания малых народов Севера было то, что новый строй не только признал их полноправными гражданами нового, социалистического общества, но и создал им наилучшие, оптимальные, говоря научным языком, условия для общественного и культурного развития.

И среди многих благ, предоставленных революцией народам, обречённым на вымирание, была грамота, умение читать и писать на своих родных языках.

Известный эскимосский певец Нутетеин, основатель ныне широко известного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», признавался мне, что в далёкой своей молодости считал умение наносить на бумагу и различать следы человеческой речи природным даром белого человека.

И вдруг такое чудо становится доступным. Но за умением читать следовало другое великое открытие для нас – необозримо широкий простор, распахнувшийся в другой мир, мир удивительных книг русских писателей – людей, которые в своих произведениях отразили всё богатство человеческой души, её движений.

За освоением грамоты, за усвоением русского языка начиналось новое путешествие в прекрасное, путешествие в русскую культуру, которая ещё тогда, в детские годы, представлялась мне высоченной волшебной горой.

Почему именно горой? Может быть, оттого, что в юности, прежде чем нам доверяли гарпун и ружьё, нам надо было научиться легко и быстро взбираться на гору, которая высилась на юго-востоке от Уэлена. Причём не налегке, а неся на плечах тяжёлый железный лом. На вершине нас ждали старики, которые придиричиво осматривали нас, слушали дыхание. Тот, кто поднимался на эту

гору, сохранив свежесть и ровное дыхание, признавался годным к великому делу морского промысла.

Мы приобретали культуру, читая русские книги. Книги Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького. Наши умы впитывали идеи подлинного человеколюбия. Мы вслушивались в слова, обращённые к человеку труда, к главному, на наш взгляд, человеку, ибо его трудом кормятся все.

Я никогда не устану благодарить судьбу, что в период моего становления как человека, в период формирования духа моего рядом были великие русские, чьи идеи были созвучны моим смутным, ещё не оформившимся мыслям.

Интересно, что в те годы я даже не задумывался над тем, что воспринимаю богатства иного народа. Мне тогда казалось совершенно естественным и закономерным, что богатства одного народа принадлежат другим. Так повелось издавна в нашем народе – делиться тем, что есть у тебя, отдавать лучшее тому, кто имеет в этом нужду.

Поэтому как-то странно мне было уже в зрелом возрасте ознакомиться с некоторыми сочинениями, в которых утверждалось, что всякое приятие чужого – уже сам по себе акт, до некоторой степени унижающий человека.

Но в тех книгах, которые я тогда читал, содержался призыв к сохранению и сбережению собственного, исконного – того, что является бесценным богатством народа, каким бы малым по численности он ни был.

Великие русские книги, которые я читал, сами оказались воспитателями, оберегавшими нас от нигилистического отношения к собственной культуре точно так же, как это сделал великий русский язык по отношению к собственному нашему, чукотскому языку.

Я подразумеваю под словами «великие русские книги» именно те произведения, которые определяют славу и красоту удивительного явления в истории всей человеческой культуры – русской культуры!

Чем же пленили чукотского мальчика книги, читаемые в яранге, в тесном пологе при свете коптящего жирника, в брошенных на берегу вельботах, чьи днища пропахли моржовой кровью и ворванью? Почему на высоком мысу, откуда виднелись острова в Беринговом проливе и синие берега далёкой Америки, мечталось о раздольных русских полях, о городах, в которых действовали герои рассказов, романов, стихов и пьес?

Почему, отправляясь на охоту в море или в Кэнискун на морской припай, куда приплывали жирные нерпы и где пролетали, стелясь над водой, утиные стаи, я искал свободную минуту, чтобы раскрыть книгу и погрузиться в мир доброты и сердечности? По-

чему сразу стали мне близки герои романов Льва Толстого, Тургенева, Достоевского, рассказов Чехова? Почему Максим Горький стал близок мне не только своей судьбой, но более всего своими книгами?

Видимо, причина прежде всего та, что именно в русской культуре, в русской литературе с наиболее ясной силой обнаружилось то, что является всеобщим для человечества, именно здесь простой труженик нашёл наиболее полное и сочувственное изображение.

Русская душа, русский характер иногда изображаются как удивительные, неповторимые. Соглашаясь с этим утверждением, я бы подчеркнул, что при всей неповторимости и удивительности русская душа, русский характер отличаются ещё и широтой, и открытостью. И странно порой читать и слышать о поисках особых чётрочек исконной русской культуры, которые доказывали бы её чистоту, незамутнённость другими примесями. Но русская культура именно тем всегда была сильна, что она не отгораживалась от богатств, добытых и накопленных духовной деятельностью других народов. Она с готовностью воспринимала всё лучшее, перерабатывала и делала фактом своей национальной культуры, возвращая часто в улучшенном виде восхищённому человечеству какой-нибудь многократно использованный сюжет или образ.

Поиски чистопородности в человеческом обществе часто обращаются противопоставлением одних народов другим.

Каждый раз, открывая русскую книгу, я как бы раскрывал душу человека, заглядывал в его сердце.

Полог с тусклым жирником или холодный чоттагин, оккупированный собаками, – не лучшее место для чтения. Но долгие зимы не дают иного выбора, и многие впервые прочитанные книги связываются у меня либо с пологом, освещённым жёлтым мерцающим пламенем, или же с чоттагином – холодной частью яранги, куда свет проникает через дымовое отверстие. Ветер приносил на страницы книги снежную пыль и собачью шерсть, но я так был захвачен чтением «Записок охотника» Тургенева, что не видел и не замечал ничего кругом.

Нескончаемая вереница людей проходила перед моими глазами – помещики, крестьяне, городские жители неизвестных и неведомых мне профессий. Описания картин русской природы, развёрнутые перед моим удивлённым взором, поражали меня не столько собственной красотой – мне тоже приходилось видеть не менее поразительное, – а волшебной способностью слова живописать с такой убедительностью, что нарисованная картина стояла перед глазами как наяву. Может быть, именно Тургенев показал мне, что само по себе слово интересно, глубоко и сильно. Крестьянские дети, описанные Тургеневым, были моими сверстниками. Те, кто

коротал тёплые тихие ночи на Бежином лугу, ходили вместе со мной по подтаявшей лагуне, ездили на собаках в селение Кэникун на тихоокеанскую часть Чукотского полуострова.

Весной, когда мы отвозили промысловые суда на кромку льда, они как бы шли рядом со мной, держась за край деревянного вельбота, покрикивали на собак, а потом возвращались на облегчённых нартах, чтобы через несколько дней вернуться за моржовым мясом.

В те годы мне ещё было трудновато читать. Но жажда познания была настолько сильна, что сокрушала даже плотный строй незнакомых слов. Эти слова оставались позади, а я упорно шёл вперёд, одолевая книгу за книгой.

А книг было мало. Такие классические книги, как романы Жюль Верна, сказки Андерсена и «Робинзон Крузо», я прочитал уже будучи взрослым.

Я приходил в нашу скудную школьную библиотеку и в нерешительности становился перед полками. Шевеля губами, я про себя читал названия, через которые мне было трудно прорваться к смыслу напечатанного на сотнях страниц. Н. В. Гоголь, «Мёртвые души». Это было пугающе и непонятно. Что такое – души? Может быть, это родственники духов? Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг». Вовсе непонятно, хотя что-то смутно прорывается – Дюринг. Может, он сродни тому бухгалтеру Дерюгину, который олицетворял для меня «бюрократизм» из стихотворения Владимира Маяковского «О советском паспорте»? Горький... Почему – Горький? В тундре кочевал оленевод с таким же именем, правда, по-чукотски это звучало – «Чымйылын-Горький», на писателя он совершенно не походил. Это был дремучий тундровик, молчаливый, замкнутый. Макаренко, «Педагогическая поэма». Наверное, что-то скучное. Мелькали названия, разноцветные обложки, и трудно было на чём-то остановить свой выбор. А дело было летом, когда вельботы охотились в Беринговом проливе и дома работы было не очень много – принести воды, собрать плавник для летнего костра в чоттагине. Собаки сами кормились и отдыхали до первого снега.

Иногда я уходил из библиотеки с пустыми руками, отчаявшись что-нибудь выбрать.

Я шёл к старому вельботу, который одиноко лежал на берегу, забирался в него и ложился на пропахшее моржовым и китовым жиром днище.

Перед моими глазами было только небо с бегущими по нему облаками. Изредка пролетала быстрая стая уток, кулички с пронзительным криком мгновенно прочерчивали небо. А я лежал и думал: сколько же книг написано людьми? Видимо, есть какая-то конечная цифра. И кто такие эти люди – Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Маяковский, Макаренко, Энгельс и Горький-Чымйылын?

Логически рассуждая, они, в общем-то, наверное, тоже люди. Но люди, наделённые удивительным даром и волшебной способностью рассказывать на бумаге о том, что было. Это, конечно, волшебники, чудадеи, похожие на шаманов. Обыкновенному человеку не соткать такой словесной картины, как Тургеневу, не создать поэмы «Руслан и Людмила», как Пушкину.

Но чудо ещё не в том, что герои книг живут далёкой жизнью, с ними случаются такие приключения, которые ни за что не могут произойти с живущим на Чукотке, а чудо в том, что мысли, чувства – всё то, что составляет сущность человеческую, находятся в удивительной гармонии с тем, что чувствуется, что думается мне, очень далёкому человеку.

Я вставал и снова пробирался в школу, где шёл летний ремонт: парты стояли на улице, и Рыпэль вместе с Тэгрынкеу чинили их, красили. В классах было грязно и неудобно – перекладывали печи, перестилали полы, белили потолки. Летние учителя совсем не походили на наших строгих зимних наставников. Одетые в какую-то испачканную рвань, они мало отличались от того же Рыпэля или Тэгрынкеу.

Я попросил учительницу, которая заведовала нашей библиотекой, открыть шкаф с книгами.

После долгих колебаний, когда учительница начала проявлять признаки нетерпения и беспокойства, я показал на книгу с названием «Анти-Дюринг».

– Вот эту, – произнёс я как можно безразличнее.

И вдруг учительница звонко и громко расхохоталась.

Её смех раскатился по пустым классам и выплеснулся на улицу. Кто-то поспешно протопал по длинному коридору, заглянул в библиотеку.

– Григорий Максимович, – обратилась к нему учительница, – Рытхэу хочет читать Энгельса!

И она опять затряслась от смеха.

Я ничего не мог понять. Что смешного она нашла в том, что я хочу читать именно эту книгу? Или она такая смешная? Может быть, она тоже не годится для моего «переходного возраста», как выразилась учительница английского языка, отбирая у меня томик рассказов Мопассана.

Григорий Максимович взял у меня книгу Энгельса, полистал её и вернул библиотекарьше.

– Тебе ещё рано читать эту книгу, – сказал он мне.

– Как Мопассана? – спросил я.

Григорий Максимович улыбнулся и стал объяснять, почему мне ещё рано читать «Анти-Дюринг».

Но я плохо его слушал, с горечью думая о том, что худо, когда

у тебя нет свободного выбора, когда кто-то другой, а не ты сам, определяет, что тебе читать.

Понуриив голову, я уже собрался уходить из библиотеки, но Григорий Максимович остановил меня и спросил:

– А почему тебе не почитать Горького?

Я ещё раз поглядел на невзрачную обложку, медленно прочитал имя автора – Горький, напечатанное чёрными буквами, и перед моими глазами возник образ Чымйылына, тундрового оленевода.

– Не нравится, – вздохнул я.

– Не нравится? – удивился Григорий Максимович и спросил: – Горький тебе не нравится?

Я утвердительно кивнул.

– А что ты его читал?

– Ничего.

– Так почему же ты говоришь, что он тебе не нравится? – возмутился Григорий Максимович. – Ты же его просто не знаешь!

– Мне имя его не нравится, – пояснил я учителю.

– А знаешь ли ты, как произошло имя его – Горький?

Я отрицательно мотнул головой.

– Тогда слушай...

Григорий Максимович коротко рассказал мне биографию великого писателя. Это меня несколько заинтересовало и насторожило: писатель из простого народа. Разве может быть такое? Если это так, то ведь простого народа так много, что появление писателей из среды, окружавшей меня, дело вполне возможное.

Первая книжка Максима Горького содержала ранние романтические рассказы – «Старуху Изергиль», «Макара Чудру», «Челкаша». Я прочитал их с интересом, но большого удовольствия не получил. В мозгу у меня всё время сидела мысль: вот человек простого происхождения, а написал такое! Читая горьковские рассказы, я всё время оглядывался, как всегда это бывало, на моё ближайшее окружение. Я находил двойников и старухе Изергиль, и Челкашу, и многим другим героям рассказов Горького. Обыденность этих литературных героев, их явная близость к тем, кто окружал меня, снижали интерес к чтению. Возможно, что обнаружение в горьковских героях общих черт, общих чувств с моими, с чувствами и чертами характеров окружающих меня людей не было таким поразительным, таким удивительным, когда те же самые человеческие черты я находил среди представителей других классов, ведущих отнюдь не трудовой, не похожий на наш образ жизни.

Поэтому я отложил Горького и долгое время не брал его книг, обратившись к романам Вальтера Скотта.

Надвигалась зима, большие пурги и неожиданные тёплые ураганы, которые отрывали лёд от берега, обнажали непривычное для зимнего времени зеркало воды.

Пока не наступила зимняя темнота, я читал в чоттагине, где пахло псиной, нерпичьим и моржовым жиром из бочек, расставленных вдоль стены, увядающей травой в матах, навешанных для тепла на меховой полог.

А на страницах книг происходили великие битвы на далёкой английской земле. Благородные рыцари мечом оспаривали право на благосклонность прекрасных дам, клялись в верности своим королям, герцогам, графам, баронам... Далёкая жизнь, такая непохожая, но ведь тоже человеческая жизнь! И меня поражало до глубины души – до чего разнообразен в облике своём, в жизни своей и в выражении своих чувств человек! Хотя чувства сами по себе простые, но они скрыты под разнообразными словесными украшениями, причудливыми обычаями и привычками.

Однако мелькание разнообразных лиц, лошадиных морд, сверкание драгоценностей, кованых щитов, гербов, острых мечей, копий, лат, блеск дворцового паркета, тусклый цвет пудры, сочная зелень парков и лужаек, густая краснота благородной дворянской крови, звучание изысканной речи, пересыпанной громкими титулами, высокими званиями, не уводили меня от реальной жизни, не заслоняли её.

Утром дядя уходил на охоту. Перед его отправлением на лёд я исполнял свою обычную обязанность – проверял погоду, а днём, после школьных занятий, занимался хозяйством: колол лёд, возил его на нарте, впрягаясь сам вместо собак, рубил копальхен, извлекая его крючком из мясной ямы. Копальхен был осенней выделки, сготовлен на берегу Инчоунской косы, где на осеннее лежбище вылегали моржи. Там их били остро отточенными стальными копьями, стараясь не тревожить соседних животных. Кровь тихо лилась на холодную гальку, а охотники с копьями казались мне рыцарями на поле битвы. Потом эти «рыцари» разделявали моржей, скатывали из кожи с жиром и мясом кымгыты – своеобразные рулеты копальхена, который потом питал чукотского охотника и его многочисленных собак на протяжении всей зимы. От того, сколько человек заготовил копальхена на зиму, зависели благополучие и жизнь его семьи.

В книгах люди сражались, завоёвывая целые государства. Война была красивая, похожая на жестокую игру, но не на ту войну, какая в эти дни шла далеко, за многие тысячи километров. Но мы в Уэлене ощущали её дыхание, слышали далёкий гром орудий.

В те годы Чукотка была очень далека от центральных районов страны. Не существовало регулярных рейсов реактивных, быстроходных самолётов, связь осуществлялась в основном только по радио, да летом приходили пароходы.

Вот один характерный пример тех лет.

В конце лета сорок первого года в Уэлен завезли кинопере-

движку и немой фильм «Пышка». Этот единственный фильм демонстрировался в Уэлене почти все военные годы. Каждую субботу наши учителя торжественно готовились к киносеансу, наглаживали костюмы, рубашки, тщательно завязывали галстуки. Потом брели сквозь пургу и мороз на полярную станцию, усаживались перед экраном. Кто-нибудь из полярников делал обзор последних известий, полученных по радио, и начинался киносеанс. К концу войны от фильма «Пышка» осталась едва ли половина, но к тому времени уэленский зритель наизусть знал содержание картины, каждого кадра. Если попадался редкий в то время гость, то ему ближайший по месту сосед с превеликой точностью рассказывал пропущенное.

Газеты приходили пачками, и читатели изучали каждую строчку военных сводок, статей, очерков с полях сражений.

Шла война. Жестокая, потрясшая весь мир.

Меня больше всего удивила бессмысленная жестокость фашистских оккупантов, которая не встречается даже у самых кровожадных зверей: фотографии замученных советских людей с вырезанными на коже пятиконечными звёздами, обезглавленные тела, повешенные. Книжные жестокости оказались детским лепетом по сравнению с тем, что происходило наяву.

Но ещё более поразительной была потрясающая сила сопротивления русского народа. К тому времени слово «русский» стало для нас синонимом советского, но Отечественная война ясно показала, какой народ является цементирующей силой в дружном объединении советских народов.

И именно в это трудное время я вплотную познакомился с книгами Алексея Максимовича Горького.

Наша библиотека совершенно случайно сразу пополнилась на несколько сот томов: проходящий пароход не дошёл до места назначения и его груз был оставлен в Уэлене, в том числе и ящики с книгами.

Буквально в три дня я прочитал «Детство», «В людях» и «Мои университеты».

Я погрузился совершенно в иной мир, с одной стороны вроде бы далёкий, и в то же время близкий до того, что мне порой казалось, что многое, случившееся с маленьким Алёшей, происходило и со мной. Видимо, в этом ничего удивительного и не было, потому что пути развития маленького человека в детстве сходны, развитие человека идёт единым путём, где бы оно ни происходило – на Чукотке, Аляске, в Африке, Австралии или на великой русской реке Волге.

Именно в процессе детского развития и проявляется больше всего общечеловеческого, того, что понятно везде и каждому. Я имею в виду внутренний мир человека, его восприятие окружаю-

щего, познание мира, познание добра и зла, познание отношений между людьми, горькие и радостные открытия, удивительные до головокружения озарения, которые, как вышки с прожекторами, потом служат путеводными вехами в дальнейшей жизни великого чуда – Человека.

Самая распространённая тема хорошей книги и, как правило, самой лучшей и самой искренней – о детстве. Одни писатели пишут её в глубокой старости, другие в зрелом возрасте – и эти книги читаются всегда с настоящим глубоким интересом, ибо это чтение – каждый раз переживание собственного детства, взгляд на собственное прошлое, на истоки того хорошего, что сумел сохранить в себе человек.

Почти все описанные детские годы – это ранние годы людей, которые впоследствии стали писателями. Как закладывались в душе растущего человека качества, которые потом обратились в чуткие антенны, умеющие уловить самые слабые, но самые важные движения человеческих чувств? Что за сердце было вложено в будущего художника, который заставил других людей заглянуть в собственные души и порадоваться светлым мыслям, разбудить новые силы, которые очистят и душу, и мозг от скверны.

Может быть, тогда только, при чтении этой книги, я и почувствовал, что вот пришёл ко мне писатель, который стал для меня настоящим другом, человеком, который ответит на многие и многие волнующие меня вопросы.

Маленький Алёша Пешков воспринимал чтение так же, как я, и это меня радовало не родством с великим, а совсем другим, тем, что трудно объяснить, трудно выразить словами, – далёким братством.

Горьковский взгляд, горьковская вера в хорошего человека освещали мне путь через многие трудности в собственном маленьком мире, который всегда велик и всеобъемлющ для каждой отдельной личности. Так Максим Горький стал моим писателем.

ВЫБОР ПАМЯТИ

Однажды мой друг, школьный товарищ и соперник по числу прочитанных книг, Ачивантин спросил:

– А читал ли ты «Тонкий ход»?

– Не читал, – сознался я и насторожился, потому что Ачивантин в книгах разбирался.

– Прекрасная книга, – задумчиво произнёс Ачивантин.

Именно Ачивантин настоял на том, чтобы я прочитал книгу со скучным названием «Жизнь насекомых». Эта книга покорила меня и заставила по-новому оглядеться вокруг и увидеть то, что ранее

ускользало от моего внимания. После такой книги взгляд человека становится точнее, резче, пристальнее. Второй раз я пережил такое, когда впервые надел очки, не зная до этого, что у меня довольно сильная близорукость.

Интересно, что примечательные книги, запавшие глубоко в память и ставшие светящимися вехами в познании мира, при перечитывании не только дают мне уже однажды пережитое ощущение, но и воскрешают ясно и отчётливо обстановку, в которой они были прочитаны.

«Тонкий ход» мне долго не давался в руки: его кто-то читал. Получил я эту книгу только ранней осенью, когда в промысле наметились затишье и Уэлен готовился к зиме.

Такое уже больше никогда не вернётся в наше старинное селение: люди нынче живут иначе. А тогда в эти ясные дни женщины рвали тугую пожелтевшую траву и набивали ею мешки. Потом траву сушили у яранг так, чтобы ни капли влаги не оставалось в ней.

Рядом с травой расстилали зимние пологи, чинили их, заменяли прохудившиеся шкуры, ставили заплатки из новых шкур. Этим делом занимались женщины, а мужчины меняли моржовые шкуры на крыше яранги. Но это делалось не в каждой яранге, а только в тех, где хозяева получили свою долю моржовых кож на покрышки яранги после нескольких лет ожидания. Всего в Уэлене было примерно четыре-пять промысловых групп, которые затем вошли в колхоз, получив название бригад. Некоторые веками проверенные обычаи дележа добычи так и перешли в колхозный строй и были в ходу ещё долгое время, пока чукчи Уэлена не переселились в деревянные дома, не нуждавшиеся в моржовой крышке.

Меняли моржовую крышу в нашей яранге, и помогать моему дяде пришли дальние и ближние соседи. Сначала с деревянного скелета сбросили старые моржовые кожи, засохшие и почерневшие за многие годы службы. Они рухнули на землю с железным грохотом, подняв чёрную пыль из сажи, которая долго копилась и впитывалась в кожу. Хлопья сажи упали и с деревянных стоек на пол чоттагина, и тётя аккуратно подмела их утиным крылышком.

Новая, жёлтая, ещё не до конца просохшая моржовая кожа уже была приготовлена и ждала своего часа, чтобы подняться на обнажённые деревянные стойки, ставшие тёмно-коричневыми от долгого общения с жирным дымом костра, с паром, поднимавшимся от больших котлов.

Помощники дружно кричали «то-гок!», и кожи медленно ползли вверх.

Потом моржовые кожи закрепили как следует и оплели толстыми кожаными ремнями, на концы которых навесили тяжёлые камни, чтобы ураганные ветры не сорвали крышу да и саму ярангу

чтобы не унесло в море.

В чоттагине стало непривычно светло. И так будет некоторое время, пока не потемнеет моржовая кожа.

А сейчас между порогом и меховой передней стенкой полога полно жизнерадостного, тёплого жёлтого света, словно закатное летнее солнце бросило в нашу ярангу свой тёплый привет.

Мужчины уселись за низкий столик, чтобы отпраздновать окончание работы, а я вытащил книгу, рекомендованную мне моим другом Ачивантином. Сначала посмотрел на обложку. Что-то было не так в заголовке. Когда Ачивантин мне сказал, что книга называется «Тонкий ход», я решил, уже искушённый в многозначительности книжных названий, что речь пойдёт о хитроумном расплетении какого-нибудь преступления, о происках врага и о других захватывающих приключениях умного разведчика или милицейского деятеля.

Но на обложке большими, солидными буквами было написано: «Дон Кихот». При чём тут река Дон? Я поглядел на верх обложки, где обычно помещается имя автора. Сервантес.

Оставалось единственное – скорее взяться за чтение. Поначалу оно шло медленно, туго. Сознание не могло никак воспринять иронию по отношению к рыцарству, ибо до этого я прочитал множество романов Вальтера Скотта.

Но затем образ Рыцаря Печального Образа целиком захватил меня. Я прошёл вместе с ним по выжженным щедрым солнцем пыльным, каменистым дорогам Испании и полюбил эту страну. Где-то, когда-то я прочитал строки: «Под Кастильским чистым небом», и они всегда воссоздают для меня образ далёкой Испании. Уже потом, когда я прочитал книги испанских писателей, Бласко Ибаньеса, Хемингуэя, «Испанский дневник» Михаила Кольцова, у меня уже был сложившийся образ Испании, страны, пройденной чукотским подростком вместе с Рыцарем Печального Образа – хитроумным гидальго Дон Кихотом Ламанчским.

И стоит лишь мне взглянуть на эту книгу у себя в библиотеке, на память мне приходит жёлтый свет новой моржовой кожи, натянутой на нашу ярангу.

Мне повезло ещё и в том, что буквально вслед за «Дон Кихотом» я прочитал замечательную книгу Бруно Франка о самом Сервантесе, о бурной, полной страданий жизни великого писателя.

Эти книги самой памятью были признаны значительным явлением в моей жизни и запечатлены настолько крепко, что нынче я без труда могу вспомнить любую подробность, сопутствующую чтению.

Все эти книги я читал на русском. Через русский язык вошёл в мою жизнь и великий Диккенс.

Я его читал в глухую студёную зиму, когда красная полоска над

горизонтом медленно перемещалась от востока к западу. Лишь в полдень стылый, словно индевелой медью окованный диск солнца показывался над горизонтом и тут же исчезал, оставляя после себя окрашенную слабой краской синь холодных теней.

Лёд, внесённый с воли в жарко натопленный полог, распространял вокруг себя ощутимый холод, окутываясь паром, а я видел улицы Лондона, зажатые каменными домами, стены, сочащиеся холодной сыростью. Стояли ясные морозные дни, и бесконечный холод, видимый на многие километры окрест, на высоту бессолнечного неба, леденил душу, проникал на страницы книги, от которых веяло стужей так же, как ото льда, внесённого с воли в полог.

Я страдал вместе с Оливером Твистом и, с сожалением отрываясь от страниц книги, шёл рубить затвердевший до каменного состояния копальхен. Отгоняя собак, которые пытались вытащить из-под моих ног куски мёрзлого мяса, я воображал себя обитателем студёного работного дома.

Что же происходило тогда в моей душе? Как ложились эти огромные силы нравственного воздействия на мою душу, где всё переплелось и перепуталось, где часто волшебным, нереальным становился заполненный неведомыми силами окружающий мир, а действительностью – недостижимый, далёкий, реальный, такой понятный своими душевными движениями книжный мир, который всё приближался, надвигался, немного страха меня неотвратимостью встречи.

Холодными ночами я просыпался от надрывного вскрика, разрезающего острым лезвием застоявшийся, пропитанный привычным запахом мёрзлой собачьей мочи воздух в холодной части яранги. Это дядя вдруг увидел в растревоженном сне злых кэле. Он брал маленькое копыце, засаленное, почерневшее от копоти – уже трудно было угадать материал, из которого оно было сделано, – и голый выскакивал в холод чоттагина, размахивал во все стороны каменным наконечником древнего оружия, произнося страшные заклинания. Особенно часто он это делал в пуржистые ночи, когда в вое ветра и мне мерещились и слышались въявь далёкие голоса, призывные, полные такой безысходной тоски, что сердце сжималось в груди в холодный комочек, а на границе лба и волос выступал пот. Из подслушанных разговоров я узнавал, что это опять приходили умершие в младенчестве дети дяди Кмоля и тёти Рытлыргин.

Дядя вползал в полог, тётя поправляла пламя жирника, прибавляя света, чтобы отпугнуть зловещие тени, а я, разбуженный и растревоженный, уже не мог уснуть, брал книгу, примазывался поближе к ровному пламени, и передо мной возникали строки, уводящие совсем в иной мир.

В эти же годы одним из моих любимейших писателей стал Тургенев. До этого я читал только его «Записки охотника», наивно прельстившись заголовком, обещающим истории из жизни окружающих меня охотников. Но вот я прочитал его роман «Отцы и дети», и упала завеса ещё перед одной неведомой для меня стороной русской жизни прошлого века. Жизнь «дворянских гнёзд» тихо текла мимо моего сознания, события вроде были далёкими и не очень выразительными, во всяком случае, совсем не такими, как в романе «Всадник без головы», который в довольно растрёпанном виде наконец дошёл и до меня. Я проглотил в один присест этот увлекательнейший роман, где сами имена звучали как пистолетные выстрелы или отзвуки далёкого конского топота в Скалистых горах.

Я до сих пор не могу толком объяснить того очарования тургеневских романов, которые сочетались в моей жизни с трудной и долгой зимой, когда мой дядя потерял ещё одного новорождённого, когда голод терзал наши желудки и нам порой приходилось довольствоваться тощим обедом из квашенных на зиму листьев, политых каплей тюленьего жира. Мой дядя мог взять в колхозе ссуду, мог, наконец, обратиться к родичам жены, в эскимосское селение Наукан, куда ездили частенько в такое время даже те, кто не имел эскимосских родственников. Но гордый дядя Кмоль не мог позволить себе обратиться за помощью к кому бы то ни было. Шла война, и дядя Кмоль, коммунист, не только не поощрял тех, кто жаловался на голод и лишения трудной зимы, но всегда безвозмездно отдавал добытую пушнину в фонд обороны страны.

Моя тётя всё же каким-то образом уговорила дядю дать упряжку. Вместе с бабушкой мы отправились в гости к родственникам моей тёти в Наукан. Я их совсем не знал, только слышал, что они принадлежали к той части жителей Наукана, которые селились вдали от шумного ручья, разрезающего эскимосское селение на две неравные половинки. Уэленцы и науканцы жили в тесной дружбе. Во-первых, близкое соседство рождает скорее дружеские отношения, нежели враждебные. Во-вторых, совместная охота на морских гигантов-китов, взаимная выручка в беде, в которую довольно часто попадали утлые судёнышки морских охотников – и чукчей, и эскимосов, тоже располагали к добрым отношениям. В-третьих, очень многие из уэленцев, едва ли не половина, были женаты на эскимосках из Наукана. Правда, науканцы, за единичными исключениями, никогда не брали в жёны уэленских женщин. Во многих сказках и легендах рассказывалось о вражде чукчей и эскимосов. В чукотских повествованиях неизменными победителями оказывались, разумеется, чукчи, а в эскимосских, соответственно, – они. Но, повторяю, отношения между чукчами и эскимосами строились на добрых началах.

Дорога зимой из Уэлена в Наукан идёт по кромке припая и всё время жмётся к высокому обрыву. По каменистым расщелинам, по замёрзшим струям водопадов тихо шуршит падающий снег. Нависшие снежные козырьки таят угрозу, и их надо объезжать, уходя далеко в море, а потом снова сворачивать к берегу.

Мы ехали довольно долго, виляя между торосами, обходя большие обломки льдин. Мне почти не приходилось править собаками – они сами находили дорогу, видя накатанный полозьями след. Лишь входя под сень высоких мрачных скал, собаки прижимали уши: знали, что под тяжело нависшими снежными козырьками опасно – тяжёлые глыбы синего от сумерек снега могли сорваться в любую минуту и похоронить под собой упряжку и путников.

Бабушка рассказывала древние сказки о тех местах, которые мы проезжали, показывала, где когда-то стояли людские поселения.

Когда едешь на собаках из Уэлена в Наукан, то долго не можешь различить среди каменных нагромождений наполовину вросшие в землю яранги. Но вожак хорошо знал дорогу и остановился как раз напротив того места, где кончалась тропка, ведущая наверх, в ярангу эскимосских родичей нашей семьи.

Наукан поражал при первой встрече: яранги прилепились на крутом склоне, и для того, чтобы подняться с берега к жилищам, надо было преодолеть довольно крутой подъём. Летом ещё ничего, а зимой тропки, идущие от берега, обледеневали, и при сильном ветре надо было ползти, цепляясь руками и ногами за редкие торчащие из-под земли камни.

Я закрепил собак, крепко вколотив остол в слежавшийся снег, поставил набок нарту, и мы с бабушкой медленно поднялись наверх. По пути я несколько раз останавливался, чтобы дать передохнуть бабушке, оглядывался и поражался виду, который открывался передо мной. Отчётливо виднелись слившиеся в одно целое два острова Диомида, вдали синели берега Америки, и было какое-то странное ощущение значительности этого пустынного, едва населённого эскимосами края земли, оконечности великого материка. Через много лет я прочитал у Бориса Лапина в его «Тихоокеанском дневнике» очень точное определение этого ощущения – «когда осознаёшь, как на твоих глазах глобус становится реальностью».

Мы вошли в ярангу наших дальних родичей и были встречены радостными возгласами. Какие-то старухи, молодые люди, взрослые и дети разглядывали меня со всех сторон, цокали языками и что-то говорили. Я не понимал эскимосского разговора, но по жестам и некоторым чукотским словам, с которыми наши хозяева обращались то к бабушке, то ко мне, я понимал, что они хотят знать о делах в нашей семье, о самочувствии близких и знакомых.

Нас накормили, напоили чаем, а потом снова начались разгово-

ры, сопровождавшиеся такой жестикуляцией, что ровное пламя в жирниках заколебалось.

Я достал привезённую с собой книгу и примостился возле жирника, горевшего пламенем, управляемым умелыми руками хозяйки. Существует мнение, что жирник даёт только коптящее пламя. На самом же деле жирник на протяжении многих веков служения человеку в арктических районах планеты стал универсальным осветительным и отопительным прибором. Двух жирников хватает, чтобы нагреть и осветить небольшой полог, а трёх вполне достаточно для того, чтобы создать уют и тепло в большом пологе. С помощью небольшой палочки женщина управляет пламенем, и жирник горит ровно, потребляя минимум драгоценного жира морского зверя.

В эскимосской яранге у хорошо горящего жирника я читал роман Тургенева «Дым», уносясь далеко-далеко от скалистого мыса, от берегов пролива, где соединялись воды двух великих океанов – Тихого и Ледовитого. Вокруг посторонним шумом журчал неторопливый разговор, состоящий из двух отдельных потоков – чукотских слов и эскимосских. Эти слова перемешивались с другим разговором, происходившим много-много лет назад в невообразимой дали от этих мест. Я слышал и тех, и других, и было странное ощущение существования сразу в нескольких измерениях, даже не раздвоения, а какого-то растроения личности. Когда я закрывал книгу или глаза переставали бегать по строчкам, я опускался на моржовую кожу, настеленную на пол яранги, выдубленную человечесьей мочой и отполированную до блеска хорошо натёртого паркета многочисленными телами. В уши плотно входил слышимый разговор, в ноздри ударяли острые привычные запахи, присущие хорошо нагретому, обжитому пологу. Но стоило мне снова погрузиться в хитросплетения букв, заскользить взглядом по ровным рядам строк, как я возвращался в иной мир, далёкий, но такой же реальный, как тот, что стоял за моей спиной. Другой настрой речи слышал мой внутренний слух, люди жили в иных жилищах, где под ногами скрипят хорошо пригнанные друг к другу половицы, где стены сложены из брёвен и камня и крыша высоко торчит над землёй, да ещё её венчают высокие кирпичные трубы. Люди, живущие в этих домах, при всём при том, что они и едят, и спят, и даже говорят по-иному, – всё же люди, хоть и окружает их природа такая отличная от нашей, что я не мог её как следует представить, увидеть настоящее дерево, настоящий лес, бесконечно тянущийся от горизонта до горизонта.

Под вечер возвратились охотники, вышедшие на неверный лёд Берингова пролива. Они притащили убитых нерп, тяжело поднявшись по крутому склону, сгибаясь под тяжестью груза. Охотники были разные – молодые, старые, были мальчишки моих лет.

Мальчик, мой сверстник по имени Апкалюн, только что приволокший добычу и догадывающийся об истинной цели нашего приезда, с некоторым превосходством посматривал на меня. А когда он подал мне замороженный нерпичий глаз, мне стало совсем стыдно. Я ел нерпичий глаз, а из моих едва не катились слёзы, и ничего не было такого, что бы я мог противопоставить превосходству эскимосского мальчика.

Тем временем бабушка, почувствовав, что часть добычи непременно перепадёт нам, стала необычайно словоохотливой и расхвасталась уэленскими новостями, говоря о делах школьных, колхозных, даже о делах полярной станции, искусно обходя неудачную охоту, не упоминая о том, как часто наши мужчины возвращаются с пустыми руками.

А эскимосский мальчик с важностью взрослого охотника передвигался по пологу, задевая меня то плечом, то ногой, и мне казалось, что он это делает нарочно, стараясь меня унижить, показать мне, что он догадывается о том, что мы приехали, по существу, просить милостыню, хотя, бывало, и эскимосы являлись в Уэлен за тем же, если им не везло в промысле, если оказывалось так, что зверь обходил стороной привычные тропы.

Уязвлённый до глубины души, я не находил себе места и уже подумывал под благовидным предлогом выйти из яранги посмотреть упряжку, как вдруг нащупал под собой книгу. Вот каким я могу стать – если не выше, то во всяком случае наравне с удачливым эскимосским мальчиком!

Я с превеликой важностью достал книгу, придвинулся поближе к жирнику, который только что заправили свежим жиром, и пламя у него было ровное и белое. Раскрыл роман Тургенева на той странице, которая была отмечена, и сделал вид, что углубился в чтение.

Я видел краем глаза, что и книга, и моё демонстративное безразличие к его охотничьему подвигу задела эскимосского мальчика. Он перестал бесцельно двигаться по пологу, остановился, а потом начал медленно приближаться ко мне, стараясь прочитать название книги. Желая окончательно доконать мальчика, я повернул обложку так, чтобы ему были видны и название книги, и автор.

– А я этой книги не читал! – с каким-то взволнованным придыханием произнёс эскимосский мальчик. Я знал это дыхание. Я почувствовал, что рядом со мной неисправимый книголюб, запойный читатель, неразборчивый, жадный, готовый на всё, лишь бы заполучить приглянувшуюся ему книгу.

– Это Тургенев! – важно сказал я. Мы с Апкалюном могли свободно разговаривать на русском языке.

– Я читал только «Записки охотника», «Отцы и дети», – продолжал Апкалюн, – а эту книгу впервые вижу.

– Мне осталось дочитать пятнадцать страниц, – сказал я. – Дочитаю и могу оставить тебе. Прочитаешь, пошлешь с кем-нибудь.

– Ну конечно пошлю! – с жаром ответил Апкалюн.

Всю важность великого ловца морских зверей, добытчика еды как рукой сняло с мальчика. Апкалюн примостился рядом со мной и стал терпеливо ожидать, пока я дочитаю оставшиеся пятнадцать страниц. Несколько раз он подзывал свою мать и просил, чтобы она подправила пламя в жирнике, и даже раз он сказал что-то на эскимосском, приглушив немного возбуждённый разговор взрослых. Я догадался, что Апкалюн сказал приблизительно такое: «Не видите, человек читает? Нельзя ли чуть потише?».

Я дочитал роман Тургенева и передал книгу нетерпеливо ожидавшемуся Апкалюну. Но тот, как истинный книголюб, не набросился тут же на книгу. Он аккуратно завернул её и спрятал: потом, уже на досуге, в укромном месте он достанет её, чтобы ничто и никто не мешал сладостному погружению в чудесный далёкий мир.

То обстоятельство, что Апкалюн читал те же книги, что и я, как-то сблизило нас, словно мы стали настоящими братьями.

Мы уютно устроились у жирника и стали вспоминать книги, которые читали, цитировали друг другу понравившиеся стихи. Мы говорили вполголоса, чтобы не мешать взрослым. С каждым словом мы находили всё больше и больше знакомых писателей; знакомые книги, словно незримые друзья, соединяли нас, ставили ближе друг к другу.

Поздней ночью мы вышли с Апкалюном глянуть на упряжку и покормить собак.

Мы медленно спускались по обледенелым тропам к мерцающим при лунном свете торосам. Вдали темнели острова Диомида, американский берег, но в наших сердцах были иные берега – берега далёких русских рек, мягкие травяные луга, бескрайние поля, леса, болота, по которым бродил с ружьём Иван Сергеевич Тургенев, помещик, аристократ, великий писатель, человек, неожиданно присутствовавший в далёком эскимосском селении Наукан, на берегу Берингова пролива.

– Такая непохожая жизнь на нашу, – рассуждал Апкалюн, – а всё равно, читая, словно живёшь той жизнью, и ничего в этом нет удивительного, потому что там тоже человечья жизнь и люди так же думают, смеются и плачут, как у нас в Наукане...

Мы покормили собак, осмотрели цепи, на которые были посажены псы, и вернулись в ярангу моих эскимосских родичей. Там Апкалюна ждал роман «Дым», и я чувствовал, как мальчик предвкушает удовольствие. И я радовался за нового друга, потому что книга была замечательная, волнующая. Там за внешней фабулой, за событиями и людскими характерами было нечто такое, что текло подспудно, словно невидимая снаружи кровь в теле человека.

Но её тепло, её ток живительно действовали на ум читателя, ибо это была настоящая литература, близкая каждому человеку на огромной планете Земля.

Через много лет мне пришлось участвовать в юбилейном торжественном вечере в Большом театре в Москве, посвящённом 150-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Впервые в жизни я поднялся на сцену прославленного театра, и странное чувство охватило меня. В моём кармане лежала тщательно переписанная, приготовленная речь – я её шлифовал недели две, пока она не стала походить на обсосанную до светлой желтизны табачную жвачку, без соков, без запаха.

Зрительный зал со сцены выглядит совсем не так, как из зала. Похоже на то, как с вельбота смотришь на берег, а зрители – это те, которые ждут добычу у прибойной черты. Такой прибойной чертой была оркестровая яма.

Я впервые принимал участие в таком большом торжественном вечере и страшно волновался, хотя и старался не показать виду. Ораторы, которые выступали до меня, были люди знатные и искушённые – знаменитый русский советский писатель, академик-литературовед, французский профессор...

Когда было названо моё имя, я медленно, словно на ватных ногах, подошёл к трибуне и постарался внятно и с выражением прочитать отполированные до удивительной гладкости строки.

И когда я вернулся к своему месту за столом президиума я вдруг вспомнил тот вечер в далёком Наукане, вспомнил Апкалюна, наш разговор на берегу Берингова пролива и пожалел о том, что не решился рассказать об этом, потому что это было настоящее, глубокое, истинное, что действительно дал великий Иван Сергеевич Тургенев мне, Апкалюну, всем нашим народам, всему человечеству.

Выбор памяти безошибочен.

Она отбирает и оставляет только то, что представляет реальную ценность, отмечая вехами те события в жизни человека, которые потом в сумме составят его личный душевный опыт.

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

Это было удивительное и непривычное ощущение: такое впечатление, словно я долго смотрю на собственное отражение, – этой игрой я иногда занимался в пологе дяди Кмоля, где, прикрепленное к упругим распоркам мехового полога, висело довольно большое зеркало.

Но зеркалом на этот раз служила книга Тихона Сёмушкина «Чукотка».

Многие её действующие лица были мне хорошо знакомы, и их вторая жизнь в книге казалась мне какой-то необычной, неестественной. Я всегда был уверен, что героем книги, действующим лицом, персонажем литературного произведения может быть любой человек, только не мой сородич. А мальчишек лаврентьевского интерната я хорошо знал: в начале войны центр Чукотского района был переведён из Уэлена в залив Святого Лаврентия, где раньше располагалась Чукотская культбаза. В свою очередь, районный интернат переехал в Уэлен.

И вот они передо мной, уже на страницах книги Тихона Сёмушкина. Правда, я часто терялся, никак не мог найти прототипа книжному герою. Я знал, что литература не отражает, как зеркало. И всё же я многих нашёл, и не только их, но и, к моему удивлению, нашёл самого себя, хотя в книге «Чукотка» Уэлен почти не упоминается. А нашёл я себя в тех мальчишках, которые учились в интернате на Чукотской культбазе. Я был «разбросан» во многих персонажах книги, и такое «расчленение» рождало поразительное ощущение существования в другом измерении.

Книга Тихона Сёмушкина «Чукотка» открыла мне существование книг о нашем народе, о нашей Чукотке. Взгляд со стороны, возникающий в процессе чтения, позволял видеть такое, что было недоступно взгляду, непосредственно обращённому к самому себе.

После знакомства с книгой Тихона Сёмушкина я стал искать произведения, посвящённые нашему краю, нашему народу.

Первое художественное произведение о чукчах написал известный польский писатель, отбывавший в своё время ссылку на Колыме и Чукотке, Вацлав Серошевский.

В Кракове, в Вавельском замке, в начале шестидесятых годов хранительницей и экскурсоводом работала пани Янина Козерацка. Узнав, что я с Чукотки, она остановилась, задумалась и вдруг предложила:

– Давайте я поведу вас таким путём, которым проходили самые важные иностранные послы.

– За что мне такая честь? – удивился я.

– Пойдёмте, а я вам расскажу по дороге.

Мы проходили по прекрасным залам, любовались гобеленами, картинами, старинной мебелью и утварью. Когда мы останавливались передохнуть, пани Янина Козерацка продолжала свой неоднократно прерываемый рассказ:

– Я познакомилась с паном Вацлавом, когда он вернулся с далёкого Севера. Он полюбил тот край, хотя испытал там большие страдания. Полюбил народы, живущие там, и написал о них с великой теплотой... Вацлав всю свою жизнь искал настоящего героя, человека, преданного по-настоящему жизни и человечеству. Таких людей он нашёл на далёком Севере...

Вот почему я вас веду этой дорогой. Это в память пана Вацлава, хорошего писателя, романтика, человека, тоже преданного жизни, человечеству и родной Польше...

Окно моей комнаты в краковской гостинице выходило на старинную крепостную стену Барбакана. Тихим вечером я сидел у раскрытого окна и думал о том, каково было Вацлаву Серошевскому, человеку, привычному к тихим вечерам старинного города, к полям, перелескам, городским паркам, уютным гостиним в старинных толстостенных домах, каково ему было в бескрайней белой тундре, в белой тьме полярной пурги, в сотрясаемой ураганом ветхой яранге, сшитой из оленьих шкур? Каково ему было среди оленных людей, молчаливых, погружённых в заботы о сохранении стада, среди людей, одушевляющих весь мёртвый мир вокруг себя и видевших в каждом природном явлении действие потусторонних злых и добрых сил? Каково было ему, европейски образованному человеку, столкнуться с вопиющим невежеством и темнотой, не говоря уже о грязи в жилище тундрового жителя?

Вот описание зимней ночи в его рассказе «Чукчи»: «Холодная полярная ночь царила над окрестностями. Внизу, над снегами, точно молочная муть, оседали морозные туманы, вверху она беспрепятственно уходила в беспредельные звёздные пространства...».

Я жил в этом мире с детства, и «беспредельность пространства» как-то не волновала меня: я считал, что мир таким и должен быть. Между небом и землёй не было чёткого разграничения, как между сушей и океаном. Человек купался в звёздной пыли и ступал ногами по хрустящему от космического холода снегу. В этом не было ничего особенного. Потом только я узнал и почувствовал ограниченность пространства, горизонт, закрытый деревьями, задымлённое небо над городами, сквозь которое никогда не пробивается звёздный свет, застланный множеством искусственных огней, затмевающих Млечный Путь.

Сюжет рассказа Вацлава Серошевского несложен. Ссылки пытаются поближе познакомиться с чукчами, чтобы с их помощью бежать в Америку.

Знакомство идёт трудно, но потом, когда ссылки оказываются в тундре, они сталкиваются с кровавым обычаем родовой мести. Трагическое зрелище потрясает путников, но для жителей тундры это такая же обычная жизнь, как и всё, что происходит вокруг. Физические страдания человека ничто по сравнению со страданиями нравственными. Задетая гордость ноет и болит гораздо сильнее, чем тело, и жажда мщения жгуча и требует немедленного утоления.

Очень жестокий рассказ «Чукчи». Но перед нами встаёт подлинная картина той, прошедшей жизни, и в рассказе названы и описаны такие детали, которые воссоздают правдивую картину старого

чукотского общества с его удивительной приспособленностью к трудной тундровой жизни с одной стороны, и с другой – полной зависимостью человека от оленя, от живого стада, за которым ко-чует чаучу.

Когда я впервые читал рассказ, передо мной вставала действительная картина моей родины, её холодные бескрайние пространства, переходящие в такое же холодное небо с яркими негреющими звёздами, и люди, которых увидел польский писатель. Он ещё не проник в их внутренний мир, не открыл в них те черты, которые их роднят со всем остальным человечеством, кроме безмерной гордости и чувства собственного достоинства, которые не знают никаких уступок.

В первые дни, первые месяцы знакомства с чукчами Вацлав Серошевский трудно преодолевал привитое воспитанием и окружающей средой отчуждённое отношение к «дикарям», чьи лица и повадки первое время не только не внушали доверия, но к тому же казались совершенно одинаковыми.

Но открытие человека в человеке происходило обоюдно, с двух сторон.

Для чукотских оленеводов белый человек являл собой, как правило, коварного врага. Даже невооружённый купец не внушал доверия, и первое время торжища между чукчами и русскими купцами происходили так. Где-нибудь на реке купцы выкладывали свои товары в ряд, а потом уходили подальше, чтобы дать возможность чукчам взглянуть на предложенный товар. Если кому-нибудь из покупателей товар нравился, он в свою очередь оставлял возле кучи товара то количество пушнины, которое считал нужным заплатить, и тоже удалялся. Снова появлялся купец, знакомился с пушниной и, если был удовлетворён, удалялся, забрав в знак согласия предложенную пушнину. Прошло не одно десятилетие, прежде чем русские купцы и чукотские покупатели сошлись лицом к лицу.

Чукчи делили русских на торговцев, на казаков с их военной иерархией, и духовных лиц, которые стояли в чукотском представлении на самом низком уровне, ибо проповедовали узкую и неприемлемую для свободного и широко мыслящего человека убогую идею единобожия.

Иные жители тундры крестились, не придавая этому серьёзного значения, прельстившись крестильной рубашкой и связкой табака, которая давалась в виде поощрительного подарка новообращённому. Они продолжали верить в своих богов, в добрых и злых духов, которые были более понятны и определённы в своих действиях, нежели русский бог, непонятный, далёкий и не имевший никакого представления о тундровой жизни и о промысле диких морских зверей.

Но вот появились новые люди, непохожие на тех, кто раньше приезжал и селился на берегах тундровых рек. Эти белые охранялись казаками и без особого разрешения исправника не имели права отлучаться от поселений. Пошли глухие слухи о том, что эти русские дерзнули поднять руку на самого Солнечного Владыку, восседавшего на золочёном сиденье. Потом начались вовсе чудные разговоры об этих людях, проповедовавших всеобщее равенство и делёж богатств между всеми людьми. Много было непонятого и чудного в этих слухах. Одно было сразу видно: эти люди относились к чукчам как к равным себе и не повышали голоса при разговоре, как это делал исправник или казак. И ещё более удивительное – эти русские принялись изучать чукотский разговор, стали выспрашивать про обычаи, про старинные предания и легенды. В их расспросах не было праздного и насмешливого любопытства – это был человеческий интерес, в котором угадывалось желание понять другого человека, познать в нём своего брата.

Вацлав Серошевский не знал чукотского языка. Силой своего воображения он проникал в глубь сознания изображаемого в его произведениях чукчи, и то, что он конструировал его внутренний мир по своему образу и подобию, по подобию нормальных человеческих отношений, позволило ему создать правдивые образы тундровых жителей.

Имя Владимира Германовича Богораза, имевшего литературный псевдоним Тан, было мне известно с детства. Я держал в руках составленный им «Чукотско-русский словарь», листал его книгу «Чукчи», в которой было собрано всё, что мог изучить и систематизировать один человек.

Владимир Германович Богораз родился в городе Овруче на Волыни. В 1865 году родители переехали в Таганрог, и здесь мальчик поступил в знаменитую таганрогскую гимназию, где примерно в то же время учился Антон Павлович Чехов.

Окончив гимназию в 1880 году, Богораз отправился в Петербург и поступил сначала на математический факультет Петербургского университета, затем перешёл на экономическое отделение юридического факультета.

Уже в 1882 году Богораза исключили из университета, и с этого времени начинается его жизнь революционера-народовольца. Скитания по конспиративным квартирам, аресты, высылки завершились тем, что в 1889 году Владимира Германовича Богораза отправляют в город Колымск на десять лет.

Дикие берега Колымы, близкое своими звёздами и стужей небо поразили душу поэта и революционера. Он смело смотрел вдаль, туда, где

*...есть острова,
Залётные птицы их знают едва.
Там волны свободные плещут;
Над ними, красуясь, стоят города,
Чертоги и храмы из синего льда,
Как скалы хрустальные, блещут.*

Но вот на глаза пытливому ссыльному попадают люди тундры. Их незнакомый говор, острый взгляд и неведомая, загадочная жизнь в самом сердце ледяной пустыни, где даже и не всякий зверь может выжить, возбуждают жгучее любопытство. Воспитанный на идеях всеобщего братства, Владимир Богораз сразу же начинает смотреть на своих новых знакомых как на братьев, в отличие не только от представителей власти, но и от некоторых ссыльных, которые видели в кочевых чукчах живое приложение к безжизненному пейзажу арктической пустыни. Олень и стоящий рядом человек часто не различались, и типичным прозвищем среди казаков, властвующих в нижнем течении Колымы, по отношению к чаучу было – «оленья морда».

Но до того, как Владимир Богораз взялся вплотную за изучение чукотского языка, он обратил внимание на русское население, издревле занявшее берега Колымы. Ещё в 1642 году русский казак Иван Ерастов встретил чукчей на реке Алазее и поставил Нижне-Колымский острог. Приблизительно с той поры и началось освоение реки Колымы.

Ко времени приезда Владимира Богораз на Колыму здесь уже проживало устойчивое русское население, сохранившее своё особое, колымское, наречие русского языка, предания, сказки, песни, которые в самой России были почти утрачены. Результатом изучения был «Словарь областного колымского русского наречия», опубликованный в 1901 году Российской Академией наук.

И всё же главное – это были чукчи. Они появлялись время от времени в окрестностях русских колымских поселений, понемногу торговали и с удивлением разглядывали странного русского человека, который заносил следы чукотской речи на бумагу, выпрашивал слова, старался произносить их так, как сами чукчи, ничем не торговал и не носил оружия. Рассказы о чудном пишущем человеке, Вэипе, распространялись по Восточной тундре, растекались вместе с весенним половодьем по Росомашьей, Алазее, Индигирке, Баранихе, доходили до Амгуэмы и слабым отзвуком замирали в скалах Чукотского Носа, обращённого мысом Дежнёва на американскую сторону.

Зимой 1896 года в стойбище Айнанвата появился необычный караван. Люди бросились навстречу нартам и увидели рядом с каюром человека с чёрной бородкой и глубокими горящими глазами.

Человек выгрузил свои пожитки, состоящие из небольшого запаса продуктов и большого количества бумаги. Кочевники сначала подумали, что это новый миссионер, но знакомых предметов богослужения с ним не было – походного алтаря, толстых переплетённых в кожу книг, не было и креста, которым священники размахивали, устрашая новообращённых.

Странного человека повели ночевать в ярангу Айнанвата, ибо тот немного говорил по-русски и даже носил добавочное русское имя Николай, подаренное русским священником. В своё время Айнанват принял крещение, получив белую рубашку и связку чёрного табака. В придачу ему был выдан русский бог, нарисованный на плотной бумаге. Этого бога Айнанват долго рассматривал и в его лице не увидел ничего особенного и примечательного, если не считать того, что бог был похож на эскимоса с другого берега Берингова пролива, а сияние вокруг головы напоминало росомашью опушку капюшона.

Русский вошёл в чоттагин и закашлялся, глотнув дыма костра. Он тут же опустилсЯ ближе к земляному полу, и Айнанват с удовлетворением заметил про себя, что этот приезжий не впервые в чукотском жилище и знает, что дым никогда не стелется по холодному земляному полу, а стоит чуть выше пояса и медленно уходит в отверстие, образованное сходящимися в вершине крыши жердями яранги.

Айнанват приветствовал гостя и предложил место возле себя.

После обильной трапезы гость собственноручно заварил чай в котле и заговорил о деле, ради которого приехал. Это было так необычно и неправдоподобно, что сначала Айнанват заподозрил в намерениях русского какой-то подвох.

Приезжий сказал, что единственной целью его является изучение чукотской речи и стремление постичь её так, чтобы свободно изъясняться на ней.

Айнанват подумал некоторое время и осторожно осведомился:

– А зачем тебе это?

Трудно было объяснить Владимиру Богоразу, зачем русскому ссыльному понадобился чукотский язык.

Однако Айнанват внимательно слушал и даже порой кивал головой в знак согласия.

– Когда я буду хорошо знать ваш язык, – объяснял Богораз, – я смогу разговаривать с каждым человеком тундры, пойму ваши древние предания, пойму дух вашего народа...

– Для чего? – повторил свой вопрос Айнанват.

– Для того, чтобы рассказать другим людям, русским людям, о том, что чукотский народ питает дружеские чувства к русским и хочет почитать в них своих братьев...

– Это ты верно сказал, – задумчиво проговорил Айнанват. –

Людское братство на земле – это хорошо, это то, что надо всем нам.

– Для братства надо знать друг друга, – молвил русский гость.

Айнанват молча кивнул.

Много дней и ночей провёл Владимир Германович Богораз в яранге Николая Айнанвата. Ему было отведено самое светлое и почётное место – возле жирника, за которым на отдельной подставке стоял литографированный портрет русского бога, похожего на эскимоса, заляпаннный жиром и пятнами жертвенной крови.

Сообразительный Айнанват сразу понял, что нужно приезжому. Он был удовлетворён, когда из уст иноплеменного человека вдруг вырвались знакомые звуки, слова, и это было ново, интересно и даже на первых порах как-то неестественно. Богораз не просто учился чукотской речи, а вникал в неё так, что самому Айнанвату порой приходилось удивляться богатству и гибкости родного языка, его тайнам, которые вдруг открывались чужеземцу.

Занятия с русским человеком заставили задуматься оленного человека, заставили взглянуть на самого себя, на свой народ, на свою землю как бы с некоторого расстояния. Понемногу стали открываться Айнанвату разные стороны бытия тундрового народа. Были в нём и хорошие, и плохие стороны, светлые полосы и совершенно непонятные, потерявшие смысл во тьме веков обычаи и верования.

Но главные открытия исподволь делал Владимир Богораз. Он жил жизнью тундрового человека. Спал в яранге, раздевшись донага, укрывшись пушистыми шкурами, читал и писал при свете жирника, носил ту же одежду, в которой пасли стада и кочевали оленеводы, питался преимущественно оленьим мясом во всех его разновидностях – ел толчёным, замороженным до крепости камня, полусырым, вяленным, парным, только что срезанным, ещё тёплым или пролежавшим некоторое время в кожаном мешке для лучшего вкуса. Оленные люди употребляли в пищу не только оленьё мясо – с осени женщины заготавливали солидные запасы квашеной и сушёной зелени, и бывали дни, когда в яранге подавалась только растительная пища.

Затерянные на окраине планеты, на краю её нетающей полярной оторочки, жили люди, создавшие по-своему высокую и неповторимую культуру. Всё: жилище, пища, способ хозяйствования, орудия труда, уклад жизни, сказки и легенды, язык, философия, религия – всё было направлено и приспособлено к той жизни, которая досталась чукотскому народу.

Это огромное богатство требовало исследования и собирания, и Владимир Богораз полностью отдался ему. Он объездил обширные пространства белой пустыни, посетил десятки стойбищ. Богораз уже свободно говорил благодаря помощи и стараниям Айнан-

вата по-чукотски и поражал своих слушателей тонким и глубоким знанием жизни, обычаев и поверий тундрового жителя. Он мог назвать на чукотском языке все созвездия, все оттенки оленьего возраста и пола, безошибочно называл и указывал назначение каждой жердины разобранной яранги, знал, как запрягать оленья, куда гнать стадо, когда наступало комариное время. Словом, Владимир Богораз, получивший имя Вэипа – Пишущего Человека, стал в тундре не только своим человеком, но и человеком, о мудрости которого начали распространяться легенды.

Копились материалы, от обилия слов, записей пухли тетради.

Но главное – живой человек, с его горячей кровью, живым и образным языком, с его необычными мыслями, тонул в горах научных материалов, ускользал среди названий жердей, ботанических терминов, топонимических названий.

И тогда Владимир Богораз берётся за художественное описание людей, с которыми его столкнула и сдружила судьба.

Первый свой рассказ Владимир Богораз, подписав псевдонимом, ставшим впоследствии его литературным именем, – Тан, послал Владимиру Галактионовичу Короленко. Через некоторое время на Колыму пришла бандероль – журнал «Русское богатство», в котором и был опубликован первый рассказ писателя Тана – «Кривоногий».

Уже этот первый рассказ по своим литературным достоинствам стоит на уровне того, что было впоследствии написано писателем Таном.

Это глубокое проникновение во внутреннюю жизнь тундрового человека. Чукча в рассказах Тана заговорил своим собственным, неожиданным, образным языком и предстал не тупым, примитивным, кровожадным дикарём из рассказов капитанов американских шхун, наблюдавших жизнь чукотских прибрежных стойбищ в бинокль с капитанского мостика, а обыкновенным человеком в необычной жизни.

На моих книжных полках стоит собрание сочинений В. Г. Тана, где собраны почти все его литературные произведения – рассказы, романы, очерки, стихотворения.

Я часто перечитываю его «Чукотские рассказы» и нахожу в них такие черты достоверной жизни, которые нельзя не только придумать, но и наблюдать со стороны – их только самому можно пережить.

В творчестве В. Г. Тана не только ожили типы, примечательные личности, обычаи, верования и уклад жизни чукотских общин конца прошлого и начала нынешнего века, но и запечатлелось то время, время «нового завоевания» Чукотской земли, завоевания уже не огнестрельным оружием, против которого чукчи успешно устояли, сохранив свою независимость, а крестом и спиртом, заи-

грыванием с верхушкой оленных хозяев, с теми, кто имел большие стада.

В рассказах В. Г. Тана выведены и царские чиновники, исправники, священнослужители, целая галерея торговцев – от жалких спиртоносов до настоящих акул северной торговли, заигрывающих с чукотскими князьками.

Большинство рассказов и повестей В. Г. Тана рисует жизнь трудную, голодную, полную трагических ситуаций. Добровольная смерть, диктуемая жестокими обстоятельствами жизни, обилие психически неуравновешенных личностей, могущество шаманов, опирающихся на невежество своих соплеменников, описание странных личностей – всё это сгущено на страницах, написанных Вэйпом – Пишущим Человеком.

Чтение его книг по-прежнему доставляет удовольствие, волнует сердце моё, хотя описываемые события отстоят от сегодняшнего дня более чем на три четверти столетия. Очарование книг В. Г. Тана, по-видимому, никогда не иссякнет: сегодня оно тоже действует на сердца тех, кто родом с Севера или связан с этим удивительным краем.

Жизнь, описанная Вэйпом, исчезла не до конца. Характер, уловленный зорким глазом художника, живёт поныне, и поныне в тундре можно встретить людей, словно бы сошедших со страниц чукотских рассказов В. Г. Тана.

В феврале 1972 года я полетел на вертолёте в стойбище недалеко от Анадыря. В окошко я видел с высоты полёта большой современный город, выросший за каких-нибудь десять последних лет на берегу Анадырского лимана. А я ведь помню Анадырь, который был описан В. Г. Таном и не изменившийся до середины сороковых годов. Да и сегодня можно увидеть внизу у лимана покосившиеся домишки, в которых селился анадырский народ, потомки казаков и эвенов, люди, которые в прямом смысле этого слова прозябали здесь.

Через десять минут под нами началась анадырская тундра, простиравшаяся на сотни километров окрест, освещённая низким зимним солнцем, девственно белая, прочерченная синими тенями заснеженных долин.

Пролетев несколько десятков километров, мы опустились возле одинокой яранги, притулившейся к берегу океана.

Всё было словно в моём детстве, даже дальше – во времена Вэйпа – Пишущего Человека: яранга, меховой полог, правда, без жирника, а с трёхрожковым канделябром белых стеариновых свечей.

Трещал костёр в чоттагине. Мы пили чай, слушали по транзисторному приёмнику последние известия об открытии зимних Олимпийских игр в японском городе Саппоро, а передо мной си-

дела мои современники – старик и его жена. Это их земля. Они не захотели её покидать. Тынано показал мне довольно богатую коллекцию книг, среди которых мне попала книга «Чукотских рассказов» В. Г. Тана, переизданная Магаданским издательством.

– Как тебе эта книга? – спросил я старика.

– Хорошая книга, – солидно ответил старик. – Умная. Глубоко внутрь смотрит пишущий. Только чувствую – русский пишет.

– Почему? – допытываюсь.

– Такое чувство, словно отошёл далеко в сторону, встал на пригорок и со стороны смотришь на самого себя...

Мои сородичи встают со страниц книг Вацлава Серошевского и Владимира Тана как бы освещённые ещё одним лучом, с дистанции далёкого, уже ушедшего времени, но это даёт нам возможность понять многое в сегодняшней жизни.

ОТКРЫТИЕ САМОГО СЕБЯ

В предыдущей главе я уже писал о том впечатлении, которое произвела на меня книга Тихона Сёмушкина «Чукотка». Это было воистину открытие самого себя, познание собственного нутра через книгу. Долгое время я приписывал это тому, что в книге «Чукотка» речь шла о моих сверстниках, о таких же, как я, мальчишках, постигающих науки в холодных деревянных классах только что построенных школ и интернатов.

Эта книга вместе с именем автора всегда была у меня в памяти.

В 1948 году я учился в Анадырском педагогическом училище и одновременно работал в газете «Советская Чукотка». Я много читал, так как в педагогическом училище библиотека была несравненно богаче, чем в нашей уэленской школе, и, кроме того, училище получало по подписке несколько литературно-художественных журналов.

Почта тогда приходила нерегулярно: самолёты ходили редко, а всю тяжёлую почту – журналы, посылки, книги, бандероли – доставляли раз в год на пароходе. Это считалось нормальным, и никто не претендовал на то, чтобы тот или иной журнал доставлялся в месяц выхода. Кстати, в киоске Союзпечати в Анадыре сегодня можно купить центральные газеты с опозданием на день-два, а журналы – самое большее на неделю.

Мы жили на том месте, где сейчас собираются строить чукотский Дворец пионеров. Там стояли два длинных барака, построенные неудачливыми проектантами Транссибирской телеграфной линии, которая должна была связать Америку, Азию и Европу. В связи с успешной прокладкой кабеля по дну Атлантического океа-

на надобность в этой телеграфной линии отпала, но от тех времён остались две ажурные мачты высотой в семьдесят пять метров, два длинных барака и ещё книга одного из изыскателей, Джорджа Кеннана (дяди будущего посла США в Советском Союзе) – «Путешествие по северо-востоку Азии».

Эти бараки мы безуспешно пытались привести в порядок: штукутурили, конопатили, но зимой в больших комнатах вольно гулял ветер, наметая сугробики на кровати. Посередине комнат стояли две огромные печи из железных бочек. Раскалённые докрасна, по вечерам они служили местом, вокруг которого собирались любители чтения.

Вот в такой обстановке я впервые прочитал роман Тихона Сёмушкина «Алитет уходит в горы».

Поначалу книга привлекла меня точными и зрительно выпуклыми картинками знакомой мне жизни приморских чукчей, живостью характеров. Я тогда ещё не подозревал о политической, социальной силе этого романа, обошедшего впоследствии весь мир, а просто наслаждался чтением.

Привлекательность этого романа усиливалась ещё и тем, что Тихон Сёмушкин написал его с большой любовью к чукотскому народу, к тем людям, которые нашли в себе мудрость распознать в первых посланцах партии настоящих друзей, людей, действительно озабоченных судьбой малых народов Севера.

Тихону Сёмушкину удалось как бы сконцентрировать в одном произведении опыт, коллективный разум народа, угадать оттенки психического уклада северного человека, но самое, пожалуй, главное – это то, что человек в романе Сёмушкина, несмотря на его экзотическое и необычное окружение, является понятным и близким для всех людей Земли, не вырывается из человеческого круга какими-то своими особыми чертами дикости и несоответствия, которыми любили наделять моего земляка писатели «с капитанского мостика» и другие колониальные сочинители.

Люди, населившие роман Тихона Сёмушкина, – живые, с горячей кровью и противоречивые, какими бывают живые люди в живой жизни.

Таков прежде всего Алитет.

Сам по себе он незаурядный человек, пробившийся почти в ряд белых торговцев. В его рассуждениях о своём месте на земле сквозит едва скрытое презрение к своим компаньонам, цену которым он отлично знал. И в то же время Алитет понимал все трудности своих новых отношений со своим народом. Он не только собирался ехать посредником между белыми торговцами и чукчами, но более всего ему хотелось стать настоящим эрмэчином, человеком, наделённым властью. В чукотском дореволюционном обществе, в силу своеобразного исторического развития народа, не получила

признания авторитарная власть. Свободолюбие и независимость ценились прежде всего. Неповиновение любому приказу извне считалось проявлением лучшей части природы. Но ко времени появления Алитета верховенство и власть определились сначала в тундре, где отдельные оленные люди сосредоточили в своих руках тысячные стада, а потом уже на морском побережье, где владельцы байдар и вельботов ставили остальных членов общины в зависимое положение. Экономическая власть, власть обладания богатством, была сильнее наследственной, шаманской, общественной власти, и это хорошо усвоил и понял Алитет.

Может быть, в иное время Алитет стал бы незаурядным коммерсантом, быть может, даже развились бы у него какие-то зачатки политических воззрений, но всё дело было в том, что Алитет появился в момент, когда развитие мировой истории уже вынесло таким людям свой приговор. И долгое время Алитет не мог понять: что же происходит в мире, что стало с людьми, на которых он когда-то равнялся?

Поэтому трагедия Алитета – а это именно трагедия – коренится не только в нём самом. Известно, что многие русские торговцы, настроенные патриотически, обеспокоенные заокеанским проникновением на Чукотку, с готовностью предложили свои услуги первым ревкомам Чукотки, надеясь, что со временем всё уляжется и снова можно будет заниматься торговлей, но уже без зверской конкуренции с американскими торговцами. Такими, к примеру, были братья Караевы, владельцы торгового дома, почти полностью монополизировавшего русскую торговлю на северо-востоке.

Другие герои романа, Ваамчо, Айе, Тыгрэн – словом, большинство героев этой книги, – были моими современниками, и за ними угадывались реальные люди, которых я хорошо знал, с которыми говорил, охотился, спал в одной яранге.

Роман «Алитет уходит в горы» открыл мне глаза на то, что даже жизнь, казалось бы, такого маленького народа, как чукчи, может содержать в себе большие проблемы, которые волнуют всех людей.

Я не хочу утверждать, что именно роман «Алитет уходит в горы» прямо натолкнул меня на мысль о том, чтобы самому попробовать что-нибудь написать. Более всего этому способствовало знакомство и долгая дружба с самим автором романа, с Тихоном Захаровичем Сёмушкиным.

Летом 1948 года я уехал в Ленинград и после долгой дороги поступил в Ленинградский университет.

Я жил на Пятой линии Васильевского острова в комнате, в которой проживали венгр, чех, казах и нанаяц.

Роман Сёмушкина к тому времени завоевал такую популярность, что все, кто узнавал о том, что я чукча, тут же упоминали «Алитета» и спрашивали, знаком ли я с автором книги.

После долгих колебаний я решился написать письмо Тихону Сёмушкину. Адрес я раздобыл у моего учителя Петра Яковлевича Скорика, который вёл у нас на северном факультете курс чукотского языка. По его словам, он был не только хорошо знаком с Тихоном Захаровичем, но и работал вместе с ним на Чукотке в молодые, довоенные годы.

К моему удивлению, ответ пришёл довольно скоро. Тихон Сёмушкин благодарил меня за письмо, писал о том, что ему особенно приятно получить добрый отзыв о своём романе от представителя народа чукчей.

Потом Сёмушкин приехал в Ленинград.

Я хорошо помню, с каким волнением я шёл в гостиницу «Европейская». Тихон Захарович занимал, по тогдашним моим представлениям, роскошный номер. Вокруг накрытого стола сидели учёные-североведы, которые являлись моими учителями.

Тихон Захарович сердечно поздоровался со мной, усадил за стол и придвинул стакан чая.

Я чувствовал, что пришёл не вовремя, но сразу уйти было как-то не совсем удобно. Я сидел за столом, слушая воспоминания собравшихся, и перед моими глазами вставала заря Республики Советов, время, когда, окрылённые идеями революции, на Крайний Север нашей большой страны отправились молодые люди. Без знания языка, обычаев, порой без ясного представления о том, что за климат в той стороне, отправлялись на тихоходных поездах того времени, на едва державшихся на воде пароходах по рекам и морям, на оленьих и собачьих нартах, на катерах, вельботах и байдарках юноши и девушки новой России.

Молодые люди селились в ярангах, кочевали вместе с оленеводами, выдерживая не только физические лишения, но и лишения нравственные: их попрекали каждым съеденным куском, в те годы жалование учителям доходило с трудом и нерегулярно. Они учили детишек, молодых людей и даже иных любознательных стариков.

За столом сидели люди, имена которых на Чукотке хорошо известны, – Пётр Яковлевич Скорик, Георгий Меновщиков, Лев Беликов. Я представил себе интеллигентного, мягкого Георгия Алексеевича Меновщикова в Наукане, на скользких, крутых тропах, ведущих от яранги к яранге, бредущего сквозь жестокую, секущую, как острый нож, пургу, сквозь ураган, грозящий сорвать человека со скалы и бросить в бурлящие волны Берингова пролива.

Пётр Яковлевич Скорик жил в двадцатые годы в нашем селе-нии Уэлен, и здесь его хорошо помнили и ласково называли «мургин учитель».

Лев Васильевич Беликов был помоложе всех остальных. В мою бытность учеником уэленской школы он был её директором и преподавал русский язык и литературу в старших классах.

Когда гости стали расходиться и я поднялся вместе с ними, Тихон Захарович отвёл меня в сторону и сказал:

– Нам с тобой так и не удалось поговорить. Давай так договоримся: как сдашь весеннюю сессию, приезжай ко мне в гости в Москву.

Однако я собрался к Сёмушкину только осенью. Но это оказалось даже к лучшему: Тихон Захарович собирался в путешествие по центральному району России.

Тихон Захарович в те годы жил на даче в Переделкине. Мне до этого не доводилось видеть такую мягкую красоту – ведь вне города я бывал только на суровом Карельском перешейке.

И вот настал день, когда к даче подкатила машина, и мы отправились в автомобильное путешествие по Центральной России.

Наша дорога вела в Горький, в город, названный в честь великого писателя, чьи книги я читал в ледяных пещерах на Чукотском море, в яранге, в холодном чоттагине, в окружении ездовых собак.

Мы сделали остановку во Владимире, завернули в Боголюбово, заходили в храмы, в пустые, огороженные ушедшими в землю крепостными стенами монастырские дворы. Передо мной возникала живая, ранее знакомая по книгам Россия. Мы проезжали деревушки, жёлтые поля простирались до самого горизонта, раздвигая вольным пространством лесные массивы.

Тихон Захарович рассказывал о местах, которые мы проезжали, но чаще он уносился воспоминаниями на Чукотку, к своим приключениям во время долгого путешествия по побережью Ледовитого океана. Каюром у него был сам Алитет, потерявший к тому времени всё своё богатство, но надеявшийся со временем вернуть его.

– Когда едешь целый день на собаках и перед твоими глазами всё одна и та же белая пустыня, – рассказывал тихим, задумчивым голосом Тихон Сёмушкин, – вдруг начинает мерещиться такое... Какое-нибудь крохотное чёрное пятнышко на снегу – камешек, сухой листик, торчащий из-под снега, – превращается в глазах, истосковавшихся по живому, в человека, стоящего на пути, в какого-нибудь зверя, в одинокую ярангу... Тогда я закрывал глаза и старался вспомнить зелёные поля, лес, речку с тёплой водой... Вот так посидишь на нарте, помечтаешь, подремлешь, откроешь глаза – и опять эта чертовщина, теперь уже в огромном количестве. И даже собакам вроде тоже что-то кажется: они бегут быстрее, норовя выкинуть тебя из нарты. И каюр что-то кричит, волнуется. Окончательно просыпаешься и видишь оленьё стадо, а вдали две-три яранги, чёрные точки людей. Гостеприимство в тундре такое же естественное, непринуждённое, само собой разумеющееся, как дыхание. Через три-четыре ночёвки я так к этому привык, что входил в чоттагин как к себе домой, скидывал одежду и вползал

в полог, в тепло, в уют, который был так желанен в пространстве, заполненном неумолимым, всепроникающим холодом.

Отогреешься горячим оленьим бульоном и приступаешь к работе, ради которой затеяно путешествие: к переписи населения. И сейчас это нелёгкая работа. А тогда... Тундровые люди никогда не считали друг друга. Зачем? Даже число оленей они знали лишь приблизительно. А тут едет человек и считает людей. Для чего? В некоторых стойбищах наотрез отказывались давать сведения и ссылались на то, что есть слухи, будто пересчёт населения производится с целью перестрелять оленных людей. Для этого надобно знать, сколько патронов потребуется на это дело. В других местах слухи ещё более дикие – чукчей собираются выселять в другие места с помощью летающих лодок и считают, чтобы знать, сколько надобно транспорта...

Общими словами тут нельзя было отделаться, и говорил я всем, что перепись идёт для того, чтобы знать, сколько и каких товаров нужно послать тундровым людям. Перепись была не только пересчётом числа людей, но главная работа была в агитации за Советскую власть...

Мы прибыли в Горький поздним вечером. Устроившись в гостинице, вышли на улицу и пошли гулять по набережной. Внизу слышались гудки пароходов, и отмеченные разноцветными огнями суда медленно плыли по великой русской реке. В воздухе было тепло, незнакомые запахи обступали меня со всех сторон.

– Когда едешь из Уэлена в Ванкарем, – задумчиво продолжал Тихон Захарович, – в тот миг, когда тебе надоедает однообразие галечных кос, вдруг вырастает скалистая гряда, высокий мыс. Встанешь, бывало, у края обрыва – и невозможно оторвать взгляд. Что-то есть притягательное в этом беспорядочном нагромождении ледяных обломков, уходящих в бесконечную даль... Стоишь и начинаешь вдруг понимать Георгия Седова, который ушёл в эту белую тишину, почти заведомо зная, что не достигнет полюса...

Вот так в течение нескольких месяцев жил я бок о бок с людьми, которые издали казались мне иллюстрациями к приключенческим книжкам, а теперь они везли меня на нартах бесконечными днями и долгими, негаснущими зимними сумерками. Спал с ними в одной яранге, ел их пищу.

Их чужая, поначалу непонятная жизнь становилась и моей жизнью. Вдруг стал я замечать за собой привычки, уже более соответствующие жизни здешней, а не той, которая осталась в зелёных лесах и жёлтых полях. Иной раз смотрел на тихое камлание, слышал шёпот произносимых заклинаний – и даже это уже перестало удивлять, не казалось больше диким...

Мы нашли среди чукчей людей, которые поняли, что так больше жить невозможно и революция, которая свершилась для всех

народов и народностей России, требует коренной переделки жизни. Отке, Тэгринкеу, уэленские комсомольцы... Они были людьми нашего возраста, и мы с ними находили общий язык...

На второй день мы с Тихоном Захаровичем побывали в доме, где провёл детство Алексей Максимович Горький. Мне показалось, что мы попали в другой дом. Этот дом представлялся мне большим, просторным, но на самом деле он оказался совсем небольшим, с крохотными комнатками-клетушками. С волнением я ступал по половицам, по которым бегал маленький Алёша Пешков, будущий великий писатель.

Когда мы вышли на улицу, я рассказал Тихону Захаровичу о том, как я впервые прочитал книги Алексея Максимовича. Я вспоминал, как меня насторожило и на первое время отпугнуло само имя писателя. А потом – чудо великого открытия писателя, который стал другом на всю жизнь! И это открытие произошло в пору зимней темноты, в холодном чоттагине, в запахе увядающей травы, которой были набиты маты, навешанные для тепла на меховой полог.

Я рассказывал Сёмушкину о том, чем меня покорили книги Максима Горького, почему его герои так близки, словно они рядом и я слышу их дыхание сквозь сотни бумажных страниц.

Тихон Захарович внимательно и задумчиво слушал меня. А потом вдруг сказал неожиданное:

– Я не считаю свой роман «Алитет уходит в горы» лучшей книгой о чукчах...

– А все другие – считают, – с уверенностью произнёс я.

– Только сам писатель знает истинную цену своему произведению, – мягко возразил Тихон Захарович. – Другое дело, что не только вслух, но и самому себе он откровенно не сознаётся в этой истинной оценке... Но знать-то он знает.

Потом мы поехали на юг Горьковской области, углубившись в исконно русские земли. Кое-где уже убирали урожай, мы часто останавливались возле работающих машин, и я долго смотрел на рождение русского чуда – хлеба, который мы узнали не так давно. Маленькие зёрнышки, которые легко сдуть с ладони, дали силу народу, ибо в этих маленьких кусочках жизни был труд, пот, радости и горести человека полей – русского крестьянина.

Часто Тихон Захарович представлял меня колхозникам, и мне было приятно, что эти люди не таращили на меня глаза, с достоинством и уважительно пытались нащупать общую тему разговора, спрашивали меня, какова погода на Севере и хорошо ли поспевают рожь при круглосуточном полярном освещении. Когда я отвечал, что в каменистой тундре скалистого массива мыса Дежнёва растительность скудна и хлеб не произрастает, я ловил на себе сочув-

ственные взгляды крестьян. Я говорил, что каждый год в Уэлен приходит большой пароход, значительную часть груза которого составляет мука.

– Может, и наш хлеб туда попадает? – задумчиво произносили люди, и эта надежда, возможность поделиться плодами своего труда преображала их лица, освещала их тёплым светом доброты.

Мы останавливались в простых крестьянских избах, порой спали на пахучем сеновале, утопая в мягком сене, в котором сон был таким сладким и долгим, что поутру долго не хотелось вставать, купались в прозрачных речках и тихих озёрах, а в сердце каждого из нас – Тихона Захаровича и в моём – всё время существовало воспоминание и напоминание о другом крае нашей Родины, о студёном побережье, куда выходят долгие галечные косы, вливаются тихие потоки тундровых рек. И существование другого, «противоположного» пейзажа было вопреки всему подтверждением единства Родины, простирающейся так далеко.

Недели две мы провели в поездке. Это были удивительные дни нового открытия России. Уже вернувшись в Ленинград, я вспомнил от начала до конца все наши беседы в машине, на полях, в гостиничном номере. Что-то недосказанное было в нашем разговоре.

Я ещё несколько раз бывал у Тихона Захаровича.

И разговор, который произошёл в синюю подмосковную зимнюю ночь, во многом помог определить мой жизненный путь.

Помешивая угли в печке (печи сёмушкинской дачи топились каменным углем, как это делалось на Чукотке), Тихон Захарович признался:

– Как бы я ни старался проникнуть в сокровенное нутро чукчи, в его самые тонкие психологические оттенки, я выше своих возможностей прыгнуть не могу. Да, я знаю немного чукотский язык. Но даже если бы я знал его в совершенстве, всё равно этого было бы недостаточно. Поэтому я с таким нетерпением жду появления книги о чукчах, которую бы написал сам чукча.

Через некоторое время я послал Тихону Захаровичу первые мои рассказы. Оригиналы были написаны на чукотском языке, а послал я то, что называется подстрочным переводом. Довольно быстро моя рукопись возвратилась обратно. С замиранием сердца я открыл бандероль, извлёк рукопись, развернул и застыл: на белых листах, заполненных мною редкими строчками, не оставалось живого места! Всё было испещрено пометками!

К рукописи было приложено письмо, в котором было много горьких слов по поводу моих первых литературных опытов. Там, как я помню, не было ни одного ободряющего выражения, какие обычно пишут начинающим, вроде «у вас есть способности», «вам надо продолжать» и так далее. Письмо было просто безжалостное

по своей правдивости. Если бы я не знал доброго отношения Тихона Захаровича ко мне, я решил бы, что письмо написал другой человек.

Я надолго забросил свои литературные опыты, занимался в университете, просиживал в библиотеке, ходил, если позволяли обстоятельства, в театр и время от времени сдержанно отвечал на письма Тихона Захаровича.

Рукопись моя лежала в тумбочке, и я, порой нечаянно дотрагиваясь до неё, невольно отдёргивал руку, словно она была раскалённым куском железа.

И вдруг в одном из писем Тихон Захарович написал, что ждёт исправленную рукопись!

Тогда я снова вернулся к тому, что написал, помучился несколько дней и отправил нечто вроде рассказа Тихону Захаровичу.

В ожидании прошла неделя, другая – и вот долгожданный ответ. На этот раз я разворачивал бандероль уже с некоторой надеждой на добрые слова.

Но надежды мои рухнули, едва я добрался до первых строчек отзыва. Они были ничуть не лучше, чем первый ответ. Правда, была приписка о том, что Тихон Захарович на этот раз надеется, что я побыстрее исправлю рукопись.

Так продолжалось почти год.

Первые мои рассказы прошли через строгие руки Тихона Захаровича, а все последующие книги неизменно находили у него добрый отзыв или устно, или в печати.

Уже незадолго до его смерти мы встретились в Коктебеле. Нам обоим нравилось это место в Крыму, лишённое буйной субтропической растительности и курортных пальм.

В бухточках, напоминающих небольшие заливы у мыса Дежнёва, мы вспоминали Чукотку, говорили о литературе.

Я тогда сказал Тихону Захаровичу, что при всём моём восторженном отношении к его книгам я чувствую, что чукчи в его изображении несколько идеализированы, почти лишены пороков, а если у них и есть отрицательные черты, то очень уж они невинные.

Это идеализирование как бы приподнимало народ, отрывало его от земли и – что было самым неприемлемым для меня – противопоставляло нас другим людям.

А мне хотелось видеть в литературе моего полнокровного соплеменника, родственного всему остальному человечеству не только своими добродетелями, но и своими пороками и дурными наклонностями.

Таким образом, одним из стимулов возникновения моих книг был полемический запал, желание поспорить со своим учителем.

Тихон Захарович слушал меня с улыбкой.

– Ты прав, – сказал он. – Когда вышел роман «Алитет уходит в

горы», некоторые читатели, люди очень серьёзные, даже несколько причастные к литературе, предлагали мне, как они выражались, «привести Алитета к Советской власти». Так он им нравился. Но Алитет, при всей его внешней привлекательности, при той энергии, которая позволила ему конкурировать с американскими торговцами, был закоренелым врагом новой жизни. А то, о чём ты говоришь, я чувствовал с самого первого твоего рассказа.

Тихон Захарович задумался, потом тихо добавил: – У меня есть своя сокровенная радость. Сейчас появилось много писателей из народностей Севера. И все они почти одного поколения. Так вот, мне кажется, что и ты, и Григорий Ходжер, и Владимир Санги, и Юван Шесталов, и многие другие как бы вышли из книг, которые написали Вацлав Серошевский, Владимир Богораз-Тан... Кстати, я у него учился в Ленинграде... Владимир Арсеньев, Геннадий Гор, Николай Шундик... Ну и я к этому делу тоже руку приложил... Я читал твою статью о том, что северные писатели считают своей классикой великую русскую и советскую литературу. Правильно – и советскую литературу. И дело не в том, что я литератор и, как сказал, тоже приложил к строительству новой жизни на Севере свои силы, а главное – что только при Советской власти смогла появиться целая плеяда интересных литераторов-северян. Да что мне тебя агитировать? Ты уэленский житель, а оттуда до другого берега – рукой подать. Там живут ваши сородичи, ваши соплеменники. Есть ли у них что-нибудь подобное?

Это был наш последний разговор.

Через несколько дней после этого я стоял на берегу бухты Лаврентия, где Тихон Сёмушкин начинал свою работу учителем Чукотской культбазы. Здесь библиотека его имени, и Тихон Захарович был почётным гражданином районного центра самого дальнего района нашей Родины.

Я бродил по оживлённым улицам, застроенным благоустроенными домами, и вспоминал описание этого поселения в книге Тихона Сёмушкина «Чукотка»: «Большой залив Лаврентия глубоко врезается в материк. На левом берегу, в десяти километрах от входа в бухту, возле склона горы, вытянулись, словно по линейке, одиннадцать домов европейского типа. Это и есть Чукотская культбаза».

С этого начиналась новая, современная Чукотка.

Люди познают себя не только с помощью размышлений, общаясь с другими людьми, но более всего – когда им приходится посмотреть на себя как бы со стороны. И более всего этому помогает хорошая книга, написанная умным, доброжелательным человеком.

Таковыми книгами были книги Тихона Сёмушкина – человека, ко-

торый открыл человечеству внутренний мир чукотского народа и помог многим моим сородичам глубже заглянуть в себя, познать себя.

Тихо летними ночами в заливе Лаврентия. Задумчивые сопки, спокойные воды, сердца людей, их память хранят облик человека, который ходил здесь, улыбался, хмурился, говорил, молчал и... думал о книгах, о берегах познания людского братства.

ЕЩЁ ОДИН ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Ни об одном народе Севера не написано столько, сколько об эскимосах, жителях кромки земли, обитателях границы, за которой человеческая жизнь уже считалась невозможной. Во всех книгах – будь это просто путевые заметки или строгие и солидные научные сочинения – авторы высказывают громкое восхищение подвигом этого народа, сумевшего не просто выжить в самых суровых условиях существования, но и создавшего удивительную материальную и духовную культуру. Все серьёзные исследователи Севера, от дореволюционных до нынешних, в один голос заявляют: не будь опыта арктических эскимосов, многие экспедиции были бы обречены на провал.

Эскимосы расселены по арктическим островам – Гренландии, островам Канадского архипелага, Святого Лаврентия, живут они и на материках – в Азии и Америке.

Обстоятельства сложились так, что большая часть этого народа оказалась по ту сторону Берингова пролива, а в нашей стране проживает около полутора тысяч человек в селениях Нунямо, Ново-Чаплино, Сиреники. Эскимосы живут и в Уэлене, в Лорино, в бухте Провидения, а также в других селениях и посёлках Чукотского национального округа.

Судьба эскимосов Советского Союза оказалась более счастливой, чем у их заокеанских сородичей. В этой книге я уже приводил множество тому примеров.

Свидетельства о бедственном положении эскимосов за рубежами нашей страны часто появляются в печати. Но ни один из учёных и писателей не написал об этом так ярко и гневно, как канадский писатель Фарли Моуэт.

Глубокой осенью 1966 года он впервые приехал в Советский Союз. Его путешествие по нашей стране началось с Ленинграда, куда он прибыл вместе с женой Клер Моуэт на комфортабельном советском теплоходе «Александр Пушкин».

Мы встретились с ним поздним вечером, когда с низкого пасмурного неба сыпал морозящий дождик, иногда переходящий в мокрый снег.

Моуэт показался на трапе. Из-под плаща виднелась клетчатая шотландская юбочка, которую он надевает в особо торжественных случаях. Это было для него осуществлением давней мечты – побывать в нашей стране. Поэтому его первые слова были:

– Неужели правда – я в Советском Союзе?

Мы побывали с Фарли Моуэтом в Институте этнографии, в гостях у учёного секретаря института, моего товарища по Ленинградскому университету, нивха по национальности, Чунера Таксами; встретились со студентами северного отделения Ленинградского педагогического института имени Герцена; посетили Институт Арктики и Антарктики.

Наше совместное путешествие по Советскому Союзу продолжалось полтора месяца – от Зелёного мыса в устье Колымы до Алазанской долины в Грузии.

У Фарли не хватало слов восхищения. Иногда он попросту молчал или бормотал про себя:

– Это невероятно!

На трескучем морозе он стоял на трибуне в Якутске и смотрел демонстрацию представителей трудящихся алмазной республики в честь сорок девятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Потом мы полетели в глубину тундры на вертолёте. Низкое солнце стояло над горизонтом, и бесконечные розовые снега простирались под нами. Быстрая тень вертолёта бежала по замёрзшим руслам рек и моховищам, скрытым под белым покрывалом.

Мы провели почти целый день у гостеприимных оленеводов. Вместе с нами в тундру летал молодой юкагирский писатель Семён Курилов.

Глядя на просторы тундры, Фарли Моуэт задумчиво говорил:

– Как хорошо, когда даже такая суровая земля полна знаков человеческой деятельности, примет жизни...

Мы провели несколько дней в новом заполярном городе Черском, встречались с якутскими писателями и учёными. Зимний Байкал приветствовал далёкого гостя тихой волной, а в далёкой Грузии, где было непривычно тепло после сорокаградусных якутских морозов, Фарли Моуэт невольно воскликнул:

– Я уже почти полтора месяца в Советском Союзе, но ни разу не почувствовал себя здесь иностранцем!

Тогда-то Фарли Моуэт и пригласил меня приехать к нему в Канаду.

Сборы были долгими, и только через год представилась возможность осуществить этот визит.

Путешествие как путешествие. Мне приходилось летать и на большие расстояния, чем Москва – Монреаль. Необычным за весь

путь был, пожалуй, лишь сказочно прекрасный вид ледяной Гренландии с высоты десяти тысяч метров.

Монреаль. Снабжённые фотоэлементом, широко распахнулись стеклянные двери международного аэропорта, и я оказался на улице под лёгким, почти ленинградским морозящим дождиком.

– Здравствуй, Канада!

Совсем недавно Фарли Моуэт переехал с острова Ньюфаундленд в небольшой городок на берегу озера Онтарио – Порт-Хоуп.

Переезда потребовал возросший объём работы, участие в общественной жизни страны, необходимость быть ближе к своему издательству в Торонто.

Фарли Моуэт плыл к озеру Онтарио на своей яхте «Счастливое приключение» по реке Святого Лаврентия.

Я ехал в Порт-Хоуп из Монреаля на обычном рейсовом автобусе, который идёт до Чикаго. Вероятно, из-за разницы во времени меня всё время клонило ко сну.

За окном проносилась канадская земля, застроенная аккуратными домами с неизменными кусочками зелёных газонов под окнами, мелькали маленькие и большие городки – и всё мимо, потому что шоссе проложено так, что нигде не пересекает городов и населённых пунктов, обходя их стороной. Когда из поля зрения надолго исчезали дома и рекламы станций обслуживания автомобилей, многочисленные плакаты, указывающие на то, что продаётся тот или иной совершенно голый участок земли, вспоминалась Южная Сибирь: тот же пейзаж, та же растительность...

Когда мы остановились на ленч в маленьком городке, шофёр автобуса Андреас попросил разрешения сесть за мой стол. Разложив карту автомобильных дорог Канады, он показал мне, сколько нам осталось ещё ехать. Выходило, что мы приедем в Порт-Хоуп только поздно вечером: расстояние немалое – почти 300 миль.

В ресторане было чинно и тихо, хотя в час ленча здесь скопилось довольно много народу. Я обратил внимание на то, что все без исключения посетители пили кока-колу, молоко или сок, но никто не заказывал спиртного.

– Вероятно, здесь живут одни трезвенники? – спросил я у шофёра.

– О нет! – улыбнулся Андреас. – Сегодня в провинции Онтарио трудный день для пьющих.

– Почему?

– Сегодня проходят выборы в парламент провинции и продажа спиртного запрещена.

Стемнело. Пошёл дождь. Он лил уже вовсю, когда наш усталый «понтак» притормозил у автобусной станции Порт-Хоупа... Любезный Андреас вынес мой чемодан и машинку.

Ещё в автобусное окно я увидел Фарли. Он был в том же плаще, в котором сошёл с трапа «Александра Пушкина» на ленинградскую землю.

– Приветствую тебя на канадской земле! – церемонно сказал он, и мы обнялись.

Здесь же, на станции, Фарли познакомил меня с известным канадским фотографом Джоном Девиссером, с которым он в те дни работал над книгой о Ньюфаундленде.

К дому Фарли мы продирались сквозь дождевую завесу.

– Как Ленинград, Москва, Черский, Якутск? – засыпал меня вопросами Фарли.

Не успевая я ответить на один вопрос, как Фарли тут же задавал другой. Говорит он быстро, и мне, не привыкшему к такой быстрой английской речи, приходится частенько переспрашивать.

– Как это вы разминулись с Клер? – спросил Фарли. – Она поехала встречать тебя в Монреаль.

– Там было столько народу, что я едва не потерял самого себя, – ответил я.

Дом Фарли стоит почти в конце Джон-стрит, тихой улицы, ведущей к берегу озера Онтарио. Двухэтажный особняк построен ещё в прошлом веке. Когда мы закончили осмотр дома, Фарли заявил:

– Хочу назвать его или «Черский», или «Уэлен»... А может быть – «Яранга».

В уютной гостиной с камином, перед которым лежит нерпичья шкура, продолжалась наша беседа. Она состояла главным образом из воспоминаний о прошлогоднем путешествии.

– Весь этот год прошёл под знаком путешествия, проделанного мной по вашей стране, – говорил Моуэт. – Представь себе, было столько выступлений, что я так и не успел ничего написать о поездке. Впрочем, и нельзя написать о такой большой стране на основе впечатлений, полученных за месяц-полтора. Мы собираемся приехать в вашу страну вместе с Джоном Девиссером. Хотим сделать вдвоём книгу о красоте сибирской природы, о гигантских электростанциях, созданных руками сибиряков, о дорогах через тайгу и льды.

Часов в десять раздался телефонный звонок. Поговорив с кем-то, Фарли повернул ко мне обрадованное лицо и сказал:

– Тебе повезло! Нас приглашает к себе настоятель объединённой церкви, мой друг Хью Маккервил.

Я не совсем понял, при чём тут везение, но я был гость, и поэтому покорно накиннул на себя пальто. Джон Девиссер уселся за руль автомобиля, и мы покатали по тёмной, залитой дождём улице.

По дороге Фарли сообщил мне, что Хью Маккервил, к которому мы направлялись, не только церковный деятель, но и автор двух книг о воспитании молодого поколения.

Я ожидал увидеть убелённого сединами священника, сухого и озабоченного трудностями воспитания современной молодёжи. Но перед нами предстал сравнительно молодой человек, примерно моего возраста. Он широко улыбался.

Мы вошли в просторную гостиную и увидели трёх молодых леди, перед двумя из них стояли на столике бокалы с вином. Третья женщина собиралась в скором времени стать матерью, и поэтому вместо вина держала в руке стакан с молоком.

Наше появление нисколько не убавило веселья в этом почтенном доме. Наоборот, молодые леди, узнав, откуда я прибыл, придвинули свои кресла поближе к моему и принялись расспрашивать о дороге, о том, хорошо ли я доехал и правдиво ли советский павильон на Всемирной выставке отражает нашу действительность. Я присматривался к своим собеседникам. Люди как люди, они искренне и от всей души веселились, хохотали, шутили, часто обращались ко мне, приглашали присоединиться к общему веселью, и всё-таки что-то меня сковывало, хотя моё положение было скорее забавным, чем затруднительным. Особенно меня смущал священник: ну прямо-таки молодёжный вожак на университетской вечеринке... Мы разошлись далеко за полночь, тепло и дружески простившись.

Последующие три дня я провёл у Фарли Моуэта, знакомясь с его домом и библиотекой. Моуэт был погружён в то время в работу над книгой о Ньюфаундленде, которую он готовил к печати вместе с Джоном Девиссером.

Иногда я заходил в рабочий кабинет и рассматривал фотографии, разложенные на просторном столе. Соавторы пыхтели трубками, сосредоточенно вглядываясь в лица людей, запечатлённых камерой. Из этих фотографий складывался образ сурового острова, его жителей, лица которых, изборождённые морщинами, походили на покрытые трещинами каменные склоны холмов.

– Сегодня читатель требует фактов, – говорил мне Моуэт. – Беллетристика – чтение для пенсионеров и для тех, у кого есть время извлекать из неё намёки на действительность. Если бы я написал роман о бедственном положении жителей Ньюфаундленда, мало кто обратил бы на него внимание. К сожалению, средний читатель, по крайней мере у нас, убеждён, что писатели-беллетристы – страшные выдумщики и то, что они пишут, в лучшем случае годится для приятного времяпрепровождения, но никак не для того, чтобы заставить кого-то задуматься над окружающей действительностью...

В гостиной дома Моуэта по обе стороны камина расположены книжные полки. Здесь книги, написанные Фарли Моуэтом и изданные в самых различных частях света: в Японии, Индии, Поль-

ше, Южной Америке, в Скандинавии, Китае... Беру в руки его книгу, изданную на русском языке, – «Люди оленьего края», с моим предисловием.

Несколько лет назад летним вечером под Ленинградом я впервые прочитал эту жестокую и волнующую повесть о жизни и гибели эскимосского племени ихальмютов. Уклад жизни далёкого народа, проживающего от чукчей на расстоянии многих тысяч километров, народа, отделённого от нас океаном, был близок укладу охотников Чукотки; многие верования и обычаи перекликались с чукотскими, и, читая страницы, посвящённые описанию повседневной жизни ихальмютов, я чувствовал невидимые корни, связывающие два наших народа, живущих на одной параллели и, возможно, имевших в прошлом общую судьбу.

«Люди оленьего края» не просто документальная книга, это произведение мастера художественного слова, сумевшего соединить факт с эмоцией, осветить своим талантом судьбу маленького народа и сделать его центром внимания людей, которые, как правило, воспринимают эскимосов и другие малые народности Севера скорее как экзотическое приложение к арктическому пейзажу, нежели как полноправных членов человеческого общества.

Чем объяснить необыкновенный успех этой книги в обоих полушариях планеты? Только ли тем, что издавна обитатель средних широт имеет подсознательное влечение к землям за полярным кругом? Или сочувствием к судьбе погибшего племени, не выдержавшего соприкосновения с так называемым «цивилизованным» обществом?

Мне кажется, что Моуэт взволновал читателей прежде всего тем, что в «Людах оленьего края» белый человек наконец-то признаёт свою вину за бедственное положение народов, когда-то процветавших на Севере. Появилось произведение, которое совершенно не походило на ранее публиковавшиеся книги об аборигенах Арктики, заполненные умильными описаниями «дикой и вольной» жизни эскимосов. Жизнь северных народов в этих книгах мало чем отличалась от балета на льду.

...Фарли Мак-Гилл Моуэт родился в семье библиотечного деятеля Ангуса Моуэта, человека незаурядного и отличавшегося независимым образом мыслей. С детских лет Фарли Моуэт увлекался путешествиями. Живя в провинции Саскачеван, он вместе с отцом преодолевал сотни миль по лесам и рекам, знакомясь с природой с глазу на глаз, а не через книги. Возможно, это и определило будущие интересы Фарли Моуэта, впоследствии серьёзно увлёкшегося биологией, которую он изучал в Торонтском университете.

Самым ярким детским впечатлением у Фарли было путешествие вместе с дядей, известным учёным-биологом, на побережье Гудзонова залива, в окрестности тогда ещё небольшого городка

Черчилля. Здесь Фарли Моуэт увидел и на всю жизнь полюбил суровую красоту Севера. Именно здесь впервые встретил он эскимосов, тогда ещё мало затронутых цивилизацией. Юному путешественнику жизнь аборигенов Арктики показалась чудесной, с необыкновенными приключениями и с утра до вечера заполненной увлекательным занятием – охотой на разнообразных зверей.

Вторая мировая война прервала учение Фарли Моуэта. Он отправляется добровольцем в Европу, воюет в Италии, а весть о капитуляции гитлеровской Германии застаёт его на Эльбе. Здесь он впервые сталкивается с русскими солдатами.

Вот как характеризует военнотружущего канадских экспедиционных войск Фарли Моуэта его сослуживец, ныне рабочий типографии украинской газеты, выходящей в Торонто, Богдан Гармагон: «Фарли Моуэт обращал на себя внимание отвращением к воинской муштре и дисциплине, хотя я должен отметить его презрение к опасности».

По собственным словам Фарли Моуэта, участие во Второй мировой войне сделало его на всю жизнь противником всякого насилия. Он возвращается на родину, чтобы продолжить образование, и снова поступает в Торонтский университет. Однако его надежды на то, что человечество больше не вернётся к насильственному разрешению разногласий, разбиваются событиями, последовавшими всего лишь через несколько лет после окончания самой кровопролитной за всю историю войны. Черчилль выступает в Фултоне с подстрекательской речью, студёные волны холодной войны докатываются до Онтарио.

В те годы Фарли Моуэт создаёт антивоенную книгу «Полк», но она не имеет успеха. Он пытается заняться общественной деятельностью, примкнув к зарождавшемуся движению «сердитых молодых людей». Окружающая действительность с каждым годом становится всё более невыносимой.

И тогда на память ему приходит давнее путешествие на Север, картины бесконечных просторов, чистый, ничем не замутнённый горизонт, огромные стада оленей карибу, текущие по тундре подобно рекам, жизнь эскимосов, отдалённых огромными пространствами от грохочущего и испорченного мира белых людей. Фарли Моуэту казалось, что он может найти там душевный покой и вести жизнь, достойную человека, – без лжи, без обмана, добывать себе средства к существованию собственными руками.

На самолёте его забрасывают в дальнее становище охотников на карибу – эскимосов-ихальмютов.

При первом же соприкосновении с жизнью ихальмютов оказалось, что она очень далека от идиллии. Вековое равновесие хозяйства было нарушено. Когда-то искусные охотники на оленей, ихальмюты остались без пищи. Они уже не преследовали быстро-

ногих карибу. Главным занятием эскимосов стала добыча капканами белого песка. Но мода изменилась, песка почти перестали покупать, и ихальмюты оказались в бедственном положении. Без грохота орудий, без выстрелов и взрывов уходили из жизни люди, соприкоснувшиеся с капиталистической действительностью. У Фарли Моуэта возникает благородное движение души – желание и решимость помочь эскимосам. Он возвращается на юг, чтобы информировать правительственные учреждения о безвыходном положении ихальмютов. Но правительство оказывается не только глухим к его сообщениям, оно даже обвиняет его в попытке ввести в заблуждение официальные учреждения. Тогда Моуэт обращается к печати. Но газеты и журналы, привыкшие к слащавым описаниям счастливой северной жизни, одну за другой отвергают его статьи. С большим трудом ему удаётся напечатать в одном американском журнале статью, которая потом стала основой книги «Люди оленьего края».

Со дня выхода этой книги Фарли Моуэт становится одним из самых читаемых писателей Канады. По числу переводов на иностранные языки книги Фарли Моуэта находятся на одном из первых мест, успешно конкурируя с печатной продукцией секса и насилия.

Слова «личный гость Фарли Моуэта» открывали передо мной все двери – от богатых особняков до сколоченных из фанеры хижин эскимосов на берегу Большого Невольничьего озера.

Благодаря своему активному неприятию войны во Вьетнаме, своему сочувственному отношению к Кубе, благодаря тому, что писатель настойчиво призывает сограждан обратиться к своим внутренним делам и вести независимую от южного соседа политику, Фарли Моуэт стал до некоторой степени национальной достопримечательностью Канады.

В беседах с Фарли, которые обычно происходили по вечерам у горящего камина, я ещё и ещё раз убеждался, что он – искренний друг нашей страны.

– Когда я в прошлом году путешествовал по Советскому Союзу, – сказал он мне как-то, – не всё, конечно, мне нравилось. Но я понимаю, что для установления взаимопонимания критика недостатков – не лучший способ. Поэтому, вернувшись домой, в своих телевизионных выступлениях и в радиопрограммах я основное внимание обращал на успехи, которых достигла ваша страна. Главное, что мне нравится у вас, – ясная перспектива и сплочённость всего народа вокруг этой перспективы.

В своих разговорах мы не могли обойти проблему индейского и эскимосского населения в Канаде. Часто предмет нашей дискуссии выходил далеко за рамки положения северных народов этой страны. Есть много общих проблем, которые одинаково важны

для всех народностей, живущих за полярным кругом, окружающих Северный Ледовитый океан.

Столкновение народностей Севера, находившихся на ступени родового строя, с цивилизацией произошло одновременно и породило одинаковые трудности, если не сказать – бедствия.

В октябре семнадцатого года для народов Севера, проживающих на окраинах бывшей Российской империи, ход истории повернулся в благоприятную для них сторону. Народы, казалось, обречённые на вымирание, были как бы заново возрождены.

На первых порах экономика, ведущая истоки от натурального хозяйства первобытнообщинного строя, не так-то легко сопрягалась с новыми, социалистическими формами ведения хозяйства. Однако делалось всё возможное, чтобы наиболее бережно и полно использовать древние способы ведения хозяйства, постепенно перестраивать его на социалистических началах.

Совсем другое дело происходило на Американском материке. Охотники на дикого оленя карибу поначалу были отвлечены от своего исконного промысла добычей пушного зверя, а потом, когда они вернулись к прежнему источнику своего существования, оказалось, что белые охотники в погоне за лакомыми оленьими языками почти полностью истребили когда-то тысячные стада карибу, пересекавшие во время сезонных миграций бесконечные просторы канадской тундры.

В прибрежных водах появились хорошо оснащённые китобойные флотилии, которые гонялись не столько за мясом и жиром кита, сколько за драгоценным в те времена китовым усом. Прибрежные жители с изумлением наблюдали за тем, как белые охотники, вырезав ус, выбрасывали в море китовые туши, вырубив бивни, оставляли гнить на морском берегу глыбы моржового мяса.

Веками освящённые ценности рушились на глазах, моральные устои, выработанные многими поколениями, оказались не такими уж крепкими перед соблазнами, которые хлынули на северян с кораблей, бороздивших студёные моря.

Вместе с «благами» цивилизации пришли неизвестные на этих берегах болезни. Детские болезни, такие, как корь и коклюш, считавшиеся в обществе белых безобидными, на Севере не щадили ни малых, ни старых, опустошая целые стойбища.

Лишь за последние годы канадское правительство, в большой степени благодаря неоднократным выступлениям Фарли Моуэта и его друзей, занялось проблемой эскимосов и индейцев.

Среди друзей Моуэта писатели, журналисты, издатели, художники – словом, та прослойка канадской интеллигенции, которая имеет значительное влияние на общественное мнение страны.

С них и началось моё знакомство с Канадой.

Мы выехали из Порт-Хоупа в скромном автомобиле Фарли Моуэта в таком составе: Фарли Моуэт, его жена Клер, я, а позади, в багажнике, Альберт, пёс, помесь ньюфаундленда с неизвестной породой.

Проехав мимо гостиницы «Отель королевы», принадлежащей канадцу украинского происхождения Михаилу Владыке, и миновав деловую часть городка с многочисленными мелкими магазинчиками, с аптекой-закусочной, одна стена которой занята несметным количеством журналов в глянцевиных обложках (среди них особенно выделяются издания «только для мужчин»), наша машина вырвалась на главную магистраль и влилась в нескончаемый поток. Движение на главной магистрали было спокойнее, и Фарли, до этого напряжённо молчавший, заговорил.

– Люди, к которым мы едем, далеко не коммунисты, – сказал он. – Но это люди прогрессивные и уважающие чужие идеи и чужой взгляд на мир. Должен также заметить, – продолжал он, – что многие из них впервые будут принимать у себя в доме коммуниста.

Мы обогнули Торонто стороной и ещё долго ехали по автострате, напоминающей широкую реку с плывущими по ней лодками-машинами. Иногда попадались баржи-машины – грузовики с платформами, на которых громоздились новые автомашины, поблёскивающие лаком и хромированными частями.

– Сейчас сезон покупки автомобилей новых марок, – пояснила Клер. – Между Торонто и Порт-Хоупом, в Ошаве, находится один из сборочных автомобильных заводов, оттуда и везут эти машины. Богатые люди меняют машины примерно так же регулярно, как модница свои платья...

Понемногу индустриальный пригород уходил в сторону, оставался позади. Пейзаж становился живописнее, и даже появились зелёные островки леса, холмы, покрытые травой.

Машина свернула с главной магистрали, и мы поехали по просёлку, казавшемуся почти неправдоподобным после царства бетона и асфальта.

Перед нами возник стоящий на возвышении дом. Мы медленно подъехали к нему и на крыльце увидели уже немолодую супружескую пару. Это были Энн и Арнольд Варрены, бывшие лётчики-спортсмены, ныне педагоги, авторы книг для детей и юношества.

Вечер начался с расспросов о Советском Союзе. К нам присоединились живущие невдалеке художники-керамисты Лорин и Джек Херманы. Вопросы сыпались один за другим.

Одним из центральных был вопрос о том, как уживаются в одной стране столь различные по происхождению, по направлению культуры – от восточной, имеющей древние традиции, до совершенно новой, буквально вчера возникшей. Обсуждались вопросы

взаимодействия национальных языков, единого стиля литературы и так далее. Интерес моих собеседников ко всем этим вопросам был не случаен, ибо Канада, как известно, страна многонациональная. Некоторые мои ответы встречали недоверчиво, – такие, например, как сообщение о том, что два моих друга – манси Юван Шесталов и Григорий Ходжер – опубликовали свои произведения в «Роман-газете», выходящей тиражом более чем в два миллиона экземпляров. Я вынужден был это повторить несколько раз, а цифру, во избежание ошибки, пришлось написать на бумаге.

Мы заночевали в гостеприимном доме Варренов. Мне долго не спалось. Одеяло с электрическим подогревом то и дело сползало с меня, а в спальне было свежо, как в яранге, когда гаснут жирники, перестав обогревать спящих.

Маленькие городки вокруг Торонто, такие, как Клайнберг и Оринджвилл, стали прибежищем писателей и художников. Вокруг домов более или менее значительные участки земли без всяких ограждений, но с маленькими табличками при въезде: «Частная собственность». Это убеждает надёжнее забором.

Мы побывали в мастерской Херманов, остановились пообедать у известного детского писателя Макса Брайтвайта. Автор множества телевизионных и радиопостановок для детей, Макс Брайтвайт очень интересовался изданием детских книг в нашей стране, о поездке в которую он давно мечтает.

У меня создалось впечатление, что большинство преуспевающих канадских писателей не столько пишут книги, сколько выступают по радио и телевидению и пишут для них. Я спросил об этом Моуэта, и он подтвердил, что это, в общем-то, так. Если книга не имеет коммерческого успеха, то на гонорар прожить невозможно. Кроме того, наибольшей популярностью среди населения пользуются те литераторы, которые часто появляются на экране телевидения или чей голос время от времени звучит по радио. Несмотря на обилие великолепно оформленных газет, и журналов, и книг, читающей публики в Канаде маловато. Зато даже в самом дешёвом номере мотеля к вашим услугам синее око телевизора или многопрограммный репродуктор, вмонтированный в ночной столик.

К одному из таких, главным образом «телевизионных» писателей, известному в Канаде человеку Пьеру Бертону, мы и направились в воскресенье.

Его роскошный дом с плавательным бассейном, огромным аквариумом с экзотическими рыбками, массой всевозможных редкостей, большинство которых имеют индейское происхождение, производит впечатление.

Сколько я видел за последнее время квартир, домов или просто комнат, украшенных предметами быта так называемых «прими-

тивных» народов! Причём чем больше было таких украшений, тем более интеллигентным считал себя обитатель такого жилища. Однако дом Пьера Бертона превосходит все подобного рода дома. Он уступает разве только этнографическому музею. Африканские маски, тотемные столбы высотой чуть ли не до потолка, какие-то ритуальные предметы неизвестного мне назначения заполняли стены и углы.

Тотемные столбы из Мексики. Какие мысли и чувства они вызывали у своих прежних хозяев и какие мысли вызывают у Пьера Бертона?

Я не решился спросить об этом гостеприимного хозяина, которому очень хотелось поразить меня всем – от убранства своего дома до изысканного обеда.

Пьера Бертона интересовала структура нашего Союза писателей. В то время в Канаде ещё не было писательской организации, если не считать отдельных группировок. В свою очередь я выразил желание встретиться с кем-нибудь из писателей, выходцев из эскимосов или индейцев.

Фарли Моуэт и Пьер Бертон озадаченно переглянулись.

– К сожалению, пока такого человека нет, – ответил Пьер Бертон.

Встречи с писателями – друзьями Фарли Моуэта закончились большим приёмом, который устроил в Торонто его издатель Джек Макленнан.

Представляя меня гостям, хозяин называл каждого, я боялся всех перепутать, за исключением, разумеется, моих прежних знакомых – Макса Брайтвайта и Пьера Бертона. Фарли и его жена всё время находились поблизости, чтобы в любую минуту прийти ко мне на помощь. Я долго не мог уяснить профессию одной гостьи, пока подоспевший Фарли не сказал просто и ясно:

– Она шаманка!

Оказалось всё же, что она не шаманка, а астролог, хотя её действия, когда она взялась предсказать мне будущее, отдалённо напоминали мою старую знакомую шаманку Вэтлы, которая «лечила» меня в детстве. Современная Вэтлы была в роговых очках, довольно миловидна и широко образованна. Она гадала мне по линиям руки, по цвету глаз, сообщила составленный ею и, как она уверяла меня, научно обоснованный гороскоп для родившихся в марте.

Подошёл Джек Макленнан. Он некоторое время с интересом наблюдал за действиями астролога. Издательство, которое он возглавляет и совладельцем которого является, предприняло выпуск книг, знакомящих канадцев с их собственной страной, особенно с районами отдалёнными и малоосвоенными. Не только на этой встрече, но и в разговорах с другими канадцами было нетрудно

убедиться, что большим местом Канады является экономическая, культурная и духовная зависимость от мощного и предприимчивого южного соседа – Соединённых Штатов Америки. Многие говорили о необходимости обратить взгляд Канады в другую сторону. Мои собеседники считали, что созидательные силы канадской нации далеко не исчерпали своих возможностей и могут быть направлены на освоение огромных, сегодня ещё почти пустынных просторов Севера.

В этом отношении использование опыта Советского Союза может оказать существенную помощь. Кое-что в этом направлении уже делается. Чаще стали поездки наших специалистов в Канаду; в свою очередь, в нашу страну то и дело приезжают учёные, специалисты по различным отраслям полярного хозяйства и административные работники канадского правительства, которые занимаются проблемами Севера.

У наших стран есть столько возможностей для сотрудничества, которое никак не затрагивает интересов третьих стран и не сулит ничего, кроме выгоды обеим сторонам!

Огромные пространства канадской тундры являются естественными и пока нетронутыми пастбищами для домашнего оленя. Расширение оленеводства не только сулит Канаде экономические выгоды, но и может в какой-то мере помочь решению острой социальной проблемы – проблемы занятости местного населения – эскимосов и индейцев, которые часто живут только за счёт скудного правительственного пособия, не имея возможности добывать средства к существованию своими руками.

Я помню, когда мы с Фарли были в крупнейшем оленеводческом хозяйстве нашей страны – совхозе «Колымский», заместитель директора совхоза, эвенк по национальности, сказал:

– Мы готовы оказать любую помощь нашим братьям по ту сторону Ледовитого океана. Если для них непривычна пастьба оленей – научим их. На Чукотке эскимосы, которые раньше никогда не занимались оленеводством, стали заправскими тундровиками. Пошлём своих пастухов, специалистов, зоотехников, – пожалуйста!

Наши разговоры с канадскими писателями часто выходили далеко за рамки чисто литературных проблем. Мы нашли гораздо больше точек соприкосновения, чем можно было предположить поначалу.

...Мы разъезжались из уютного и гостеприимного дома Джека Макленнана поздно вечером.

Торонто был окутан дождём. В блеске мокрого асфальта отражались огни реклам, которых здесь не так уж много, во всяком случае куда меньше, чем можно судить по путевым документальным киноочеркам или рекламным глянцевым открыткам.

Фарли Моуэт уехал в Порт-Хоуп продолжать работу над книгой.

К тому же оттуда ему удобнее было заняться устройством моей поездки в северные районы страны.

Я остался в Торонто в гостинице «Парк-Плаза» с расписанием на руках. Там было указано, когда мне надлежит переселяться из одной гостиницы в другую: в это время в Торонто происходил какой-то церковный съезд, с номерами было трудно.

Кроме того, Фарли написал на листке бумаги адреса и телефоны лиц и учреждений, которые мне надо было посетить.

На первом месте в его пометке стоял Торонтский университет, точнее – университетский клуб «Харт Хауз». Это целый комплекс учреждений, которые, не имея прямого отношения к учебному процессу, тем не менее играют в университетской жизни большую роль.

Вместе с ассистентом «Харт Хауза» Карменом Глайдом мы обошли несколько помещений, сделав круг по галерее, которая одновременно является и закрытой беговой дорожкой. То и дело мимо нас пробегали спортсмены, а за перилами внизу плескались в воде ватерполисты. Чуть дальше – корт для игры в сквош, теннисный корт и баскетбольная площадка.

Кармен Глайд любезно показал мне библиотеки, музыкальные комнаты для отдыха, выставку картин и огромную студенческую столовую, где мы уселись на профессорские места, пользуясь привилегией гостей. Однако грязную посуду пришлось убирать нам самим, ибо даже преподавательский состав в этом отношении никаких привилегий не имеет.

За ленчем к нам присоединилось несколько студентов, занимающихся этнологией. На вопрос об успеваемости я получил ответ, что стоимость обучения настолько велика, что никто не может позволить себе роскошь учиться плохо.

И членство в клубе «Харт Хауз» тоже обходится недёшево, а если принять во внимание, что учащиеся в университете, как правило, не получают стипендии, «Харт Хауз» уже не покажется таким привлекательным.

Прямо из университета меня забрал исполнительный секретарь общества «Канада – СССР» Лесли Хант.

Мы остановились возле скромного двухэтажного дома, ничем особенным не выделяющегося из сотен подобных домов в Торонто. Но едва я вошёл в нижний холл, на стенах которого висели советские фотографии, на полках стояли советские книги, а на столе лежали совсем свежие газеты и журналы, как я почувствовал себя словно на маленьком острове родины.

Я сидел в кресле со свежим номером «Правды» и читал статьи и материалы, посвящённые приближающейся пятидесятой годовщине Советской власти.

Вошли две учительницы и попросили Ханта подобрать им ли-

тратуру о нашей стране. Я спросил, по своей ли инициативе они пришли сюда или кто-нибудь их послал.

– Ученики вынудили, – со вздохом объяснила учительница. – Ваш павильон на «Экспо» так повысил интерес к вашей стране, что иные мальчишки и девчонки знают о вас больше, чем мы, учителя.

Лесли Хант отобрал несколько газет и журналов и упаковал в большой конверт.

После учительниц заглянул молодой парень. Он вежливо кивнул мне и Ханту и сразу же направился к стендам с книгами. Он долго стоял перед ними, рассматривая корешки. Я подошёл к нему и спросил, говорит ли он по-русски.

– Очень немного, – ответил парень.

Действительно, он говорил по-русски неважно, но понять его было всё же можно. Родители его русские, но он уже называет себя канадцем, и родным языком для него является английский. Парень вытащил из кармана помятый конверт и показал письмо отца, написанное на русском языке.

– Здесь не с кем поговорить, – жалуется парень, – только вот отцовские письма...

Вечером я гостил у профессора Стенли Райерсона, одного из видных марксистов, автора широко известной у нас в стране книги «Основание Канады» и главного редактора журнала «Горизонты» – органа Коммунистической партии Канады.

– Без опыта Советского Союза, – сказал профессор, – Канаде трудно будет разрешить у себя национальный вопрос. Вы говорите об украинцах, русских, датчанах, о том, что все они себя считают канадцами. Но загляните к ним в душу, в душе они все украинцы, русские, датчане и так далее. У человека нельзя оборвать все связи, которые он обрёл с рождением. Всегда что-то остаётся. И ничего худого в этом нет. Наоборот, это придаёт яркость индивидуальности. Такой человек более интересен, нежели выхолощенный космополит с его консервированными идеями и привычками, имеющими лишь узкопрактический интерес. И всё-таки канадская нация – явление реальное, как бы ни старались разобщить граждан нашей страны по национальному признаку. Мы, коммунисты, хотим сплотить молодую канадскую нацию вокруг идей социализма...

Коммунистическая партия Канады работает в труднейших условиях, но общественное мнение считается с ней. Отмахнуться от идей, которыми живёт сегодня значительная часть земного шара, невозможно, как невозможно и обойти молчанием приближающийся праздник пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. В многостраничных газетах на видном месте появились статьи с вынужденными признаниями успехов Советского государства.

Двадцать шестого октября в бальном зале «Кленовый лист» отеля «Вестбюри» общество «Канада – СССР» устроило вечер, посвященный приближающейся годовщине Октября.

К тому времени я уже успел переселиться сюда из «Уолдорф Астории» и спустился в холл заранее, чтобы посмотреть на собирающихся гостей. Лесли Хант стоял рядом и взволнованно шептал мне, что никак не ожидал такого наплыва народа.

Из Порт-Хоупа приехал Фарли Моуэт с супругой, появился старый знакомый Джон Девиссер. Фарли, из уважения к столь торжественному моменту, был в шотландской юбочке.

После доклада профессора Райерсона к собравшимся обратился посол Советского Союза в Канаде.

Вечер завершился концертом оркестра народных инструментов советского павильона на «Экспо-67». Надо было видеть лица и глаза присутствовавших русских и украинских канадцев! Они слышали голоса далёкой родины, напомнившие им детство и юность.

На следующий день за мной заехал Пётр Кравчук из украинской газеты «Життя и слово». Редакция и типография помещаются в одном здании. Пройдя через наборный и печатные цехи, мы попали в скромную редакционную комнату, где создаётся газета, доносящая до читателя правдивую информацию о Советском Союзе. У меня взяли интервью, а потом началась непринуждённая беседа.

Побывал я и в редакции русской газеты «Вестник» у редактора её Михаила Павловича Ясного. Это единственная русская газета в Канаде, и, надо сказать, довольно интересная.

Однако главной целью моих торонтских встреч было познакомиться с учреждениями и лицами, так или иначе имеющими отношение к народам, живущим на Севере Канады и этнически близким чукчам и эскимосам Советского Союза.

В доме № 277 на Виктория-стрит в Торонто, принадлежащем различным учреждениям, с небольшим магазинчиком на первом этаже, на третьем этаже размещается офис Индейско-эскимосской ассоциации Канады.

Мне уже довелось побывать во многих учреждениях, начиная от офисов частных компаний, издательств и журналов и кончая маленькими кабинками (похожими на те, которые ставятся в наших избирательных участках во время выборов) в иммигрантском отделе в Торонто. Но более скромного учреждения, чем Индейско-эскимосская ассоциация, мне нигде не приходилось видеть.

Не будь вывески, трудно было бы предположить, что именно здесь проявляется та самая «наибольшая» забота об эскимосах и индейцах Канады, о которой любит распространяться официальная печать.

Я насчитал всего четыре комнаты, которые занимает эта ор-

ганизация, призванная помогать индейцам и эскимосам, этим «сверхгражданам Канады», по выражению журнала «Глоб мэгэ-зин», сбывать в магазинах изделия их ремёсел, оказывать материальную помощь нуждающимся.

В одной из комнат трудились клерки. Щёлкал счётный аппарат, стучала пишущая машинка.

Исполнительный директор Ассоциации, полный и флегматичный мистер Макэвен, сосал коротенькую трубку. Он протянул мне пухлую, мягкую руку и молча показал на стул.

Беседа идёт вяло. Исполнительный директор пододвигает ко мне пачку докладов и отчётов и говорит, что в них я найду всё, что меня интересует. Он любезно пакует мне бумаги в конверт, и тут я замечаю на его столе маленькую брошюрку «Это тоже Канада». На мой вопрос, могу ли я её взять, Макэвен кисло замечает, что у него только один экземпляр. Но под этой брошюрой я замечаю точно такую же вторую и молча кладу брошюру в свой конверт. Перед тем как проститься, я спрашиваю, сколько получает служащий Ассоциации, пекущейся о процветании индейского и эскимосского населения Канады. «Около пяти тысяч долларов в год», – отвечает Макэвен и сухо прощается со мной.

По дороге в гостиницу вытаскиваю из конверта брошюру. На первой странице – колонки цифр. В среднем за год канадцы тратят: 500 миллионов долларов на путешествия за границу, 1 миллиард – на спиртные напитки, 200 миллионов – на кондитерские изделия, 30 миллионов – на покупку пищи для собак и кошек. Далее приводились разного рода цифры, как бы иллюстрирующие общепринятое мнение о том, что люди западного полушария любят во всём точность и разного рода рассуждениям предпочитают весомые факты и реальные цифры. Читаю далее – из каждой тысячи новорождённых эскимосов умирает в младенчестве почти двести детей. Это почти в десять раз больше, чем умирает новорождённых у белого населения в провинции Онтарио.

Изучение эскимосской проблемы в Канаде я начал с посещения выставок и музеев, так как разрешение на поездку в районы канадского Севера откладывалось. Все этнографические музеи ничем особенным друг от друга не отличаются. Почти в каждом из них – интерьер жилища, где у очага сидит какой-нибудь абориген и занимается привычным делом. Меня всегда раздражают такого рода экспозиции. Может быть, потому, что я сам родился и вырос в яранге и в этой фигурке, склонившейся над костром, я иной раз вижу самого себя. Неприятно чувствовать себя выставленным на всеобщее обозрение, быть объектом исследования и антропологических измерений. Этнографы и антропологи не отличаются особым тактом по отношению к своим объектам, потому что ими, как правило, являются так называемые «примитивные» народы.

Куратор этнологии Королевского музея провинции Онтарио Эдвард Рогерс водил меня по музею и рассказывал о жизни эскимосов Канады и американского Севера. О том, как они охотятся на кита с помощью ручного гарпуна, какие они великие мастера делать каяки и умиаки – лодки, представляющие собой каркас из дерева, обтянутый моржовой кожей. Всё это хорошо знакомо мне. Вот так же я помогал своему дяде обтягивать кожей лодку, и точно такой же гарпун висел в чоттагине нашей яранги.

Эдвард Рогерс гордится коллекцией Королевского музея. Он мне заявил:

– Мы изучаем культуру эскимосов и индейцев как часть общечеловеческой культуры, как часть культуры нашей страны.

«Всё это верно и хорошо, – думал я про себя. – Но что даёт это изучение самим индейцам и эскимосам?» Ведь из слов Эдварда Рогерса следовало, что это современная культура эскимосов и индейцев, и сегодняшняя их жизнь – счастливый случай для учёных в натуре изучать экзотическую культуру далёких народов.

За завтраком в зале «Нормандия» отеля «Парк-Плаза» Эдвард Рогерс, смакуя рюмку сухого мартини, спрашивал меня, как мне понравился музей.

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, позвольте мне вам задать встречный.

– Пожалуйста.

– Что бы вы сказали, если бы индейцы и эскимосы устроили своего рода антимузей? Собрали бы в этом музее предметы материальной культуры современного белого человека: холодильники, стиральные машины, роскошные автомобили, тостеры, разнообразнейшие бутылки, сделали бы интерьер бара, где коротают время джентльмены, интерьер современной гостиной, где, вперив глаза в экран телевизора, сидит современная семья. Наконец, отвели бы значительную часть экспозиций изобретениям, направленным на уничтожение человека человеком, создали бы панорамы, показывающие, скажем, сегодняшнюю войну во Вьетнаме? Как вы думаете, понравилась бы такая экспозиция белому человеку, который так покровительственно и снисходительно изучает культуру народов, ставших – по его же вине – экзотической редкостью?

Эдвард Рогерс вежливо улыбнулся и заметил:

– Мы занимаемся наукой, а не политикой.

Вместе с индейцами и эскимосами древнее исконное население Канады сегодня составляет всего лишь четверть миллиона человек. Однако для двадцатимиллионной страны это достаточно заметно, и особенно заметно в наше время, когда в стране повысился интерес к собственной истории, к тем людям, которые, несомненно, могли бы внести значительный вклад в культуру современной канадской нации.

Но если внимательно посмотреть на эту страну, которая по всем показателям считается образцом процветающего капиталистического государства, обнаруживается, что древние жители этой страны, «суперситизаны», оказались в самом плачевном положении. От большого пирога, который ежегодно выпекается в пекарне капиталистического производства, им достаётся даже не кусочек, а всего лишь крошки. И эти крошки настолько малы, что численность населения индейцев и эскимосов Канады систематически снижается.

В Торонто меня познакомили с несколькими студентами-индейцами. Все они дети более или менее состоятельных родителей. Эти люди уже настолько оторвались от своего племени, что даже не знают, за редкими исключениями, своего родного языка.

В Торонтском университете я встретился с индейцем-оджибвзем Уилфридом Пейнтером, который занимает должность лаборанта, что и даёт ему возможность учиться в университете. Мы сидели за ленчем в университетской столовой, и я ему рассказывал о жизни народов СССР, о жизни малых народностей Севера. Поначалу он никак не мог понять, что такое национальный округ, и представлял его как нечто вроде тех же резерваций, где живут его соплеменники. Но когда я сказал, что, например, в Чукотском национальном округе выходит газета на чукотском языке, ведутся радиопередачи и недавно вступил в строй телецентр, что представитель нашего народа есть в высшем органе нашего государства, в Верховном Совете, и что наш депутат Анна Дмитриевна Нутэтэгрыне, кроме того, ещё и член Президиума Верховного Совета СССР, и что наши студенты-северяне, где бы они ни учились, какое бы высшее учебное заведение ни выбрали, находятся на полном государственном обеспечении, Уилфрид с загоревшимися глазами повернулся к своему профессору и воскликнул:

– Почему бы то же самое не сделать в Канаде?

Изоляцию индейцев и эскимосов от остальной части населения официальные и научные представители в Канаде объясняют тем, что, мол, очень вредно отрывать людей от их исконных занятий, вредно селить их в городах, вредно предоставлять им такую же работу, какую имеют белые. Находятся даже такие, которые высказываются в том духе, что и чрезмерное образование вредно для эскимосов и индейцев, потому что оно изолирует их, дескать, от собственного народа и сообщает их жизни трагический оттенок. Напрасно я приводил примеры из жизни нашего Советского Севера. Люди с докторскими и магистерскими степенями пожимали плечами:

– У вас совсем другие условия.

Да, верно, у нас условия другие.

Между тем, где бы мне ни приходилось бывать, меня снабжа-

ли справками, книгами, брошюрами, рекламирующими прогресс индейского и эскимосского населения в Канаде. Вот передо мной лежит брошюра, выпущенная департаментом по делам индейцев. Называется она «Индейцы в промышленности». Брошюра принадлежит перу того же автора, который написал большую статью о бедственном положении индейского населения в Канаде для журнала «Глоб мэгэзин», – Джорджу Мортимеру. Оказывается, высшее положение, которого достигли индейцы в промышленности, заключается в том, что они работают на самых опасных участках – верхолазами.

В доказательство прогресса эскимосского населения Индейско-эскимосская ассоциация Канады выпустила две брошюры о двух молодых эскимосах, достигших, по мнению руководителей Ассоциации, высокого общественного положения в стране. Одна из них, Анна Мэкитью, родом с острова Баффин, дочь охотника, сейчас работает секретаршей в департаменте по делам Севера в Оттаве, а другая, Анна Педло, стала диктором Си-Би-Си. Это, видимо, считается огромным достижением. Я невольно вспоминал своих товарищей – кандидата наук Петра Инэнликеея, руководителя лаборатории радиоактивных изотопов Владимира Рентыргина, учёного секретаря Института антропологии и этнографии Академии наук СССР нивха Чунера Таксами, врачей, инженеров, писателей и поэтов, редакторов радио и телевидения.

Но обратимся к официальным документам. Вот доклад мистера Макэвена. В Канаде проживает около четырнадцати тысяч эскимосов. Это примерно столько же, сколько чукчей в Советском Союзе, и в десять раз больше, чем азиатских эскимосов.

В 1964 году для эскимосов Канады было выстроено 817 однокомнатных домиков, в которых обычно проживает семья в пять – восемь человек. Большинство эскимосов всё ещё живёт в хижинах и снежных иглу. Но даже те дома, что строятся для эскимосов, предоставляются им отнюдь не бескорыстно, и аренда, которую должна платить семья, поселившаяся в этом доме, тяжёлым бременем падает на скудный семейный бюджет.

Знакомство с литературой, с музеями, беседы с административными работниками, имеющими отношение к Северу, рождали желание своими глазами увидеть Канадский Север и сравнить его с нашим.

Но ответа от иммиграционных властей всё не было. Главный редактор влиятельного и крупнейшего канадского журнала «Маклинс» Александр Росс недоуменно пожимал плечами и расстроено бормотал:

– Ничего не пойму: каждый раз просят позвонить завтра...

Однажды утром в моём номере в гостинице «Вестбюри» раздался телефонный звонок, и я услышал знакомый голос Фарли Моуэта:

– Пока большие начальники решают вопрос о твоём путешествии на Север, я тебе устрою встречу с эскимоской. Приезжай.

В субботу утром я отправился знакомой дорогой в Порт-Хоуп.

Фарли уже был у себя в кабинете, и, открывая дверь в дом, я услышал стрёкот его пишущей машинки.

– Сегодня ты увидишь единственную в Канаде студентку-эскимоску, – торжественно объявил он мне. – Она своего рода достопримечательность нашей страны, уникал. У нас ведь нет северного отделения, как в Ленинградском педагогическом институте...

С каждым словом речь Фарли становилась всё более ироничной. Видно, ему было не совсем удобно говорить, что в этой большой, процветающей стране, где то и дело натыкаешься на вещи, имеющие эскимосское происхождение (одежда, сувениры, названия отелей, не говоря уже о музеях), – всего лишь одна-единственная эскимоска-студентка! Как тут не вспомнить родную Чукотку, где сегодня трудно найти селение, в котором не было бы человека, окончившего высшее учебное заведение! Только эскимосов, на моей памяти получивших высшее образование, в нашей стране несколько десятков человек. И это на население в 1200 человек! Чукчей же с высшим образованием я просто не берусь сосчитать.

В холл спустилась девушка в простеньком платье и застенчиво поздоровалась со мной. Поначалу разговор шёл о литературе. Студентка университета Западного Онтарио Мери Карпентер знает имя Пушкина – это было приятно, но мне и Фарли стоило большого труда убедить её, что Пушкин не был канадским поэтом.

Мери Карпентер родилась на далёком Севере, в семье относительно зажиточного промысловика. В её жилах течёт часть крови белого человека, но она считает себя эскимоской. Кстати, в беседе выяснилось, что её дед, Чарлз Карпентер, в своё время жил на Чукотке, встречался с Амундсеном, имел лавку в своём родном селеении Уэлен, затем переселился в Кэнискун. Чарлз Карпентер послужил прототипом торговца Чарли в известном романе советского писателя Тихона Сёмушкина «Алитет уходит в горы».

Есть нечто трудноуловимое, что позволяет узнавать соплеменника даже вдали от родины, в непривычном окружении, в иной одежде и даже если он говорит на другом, приобретённом языке.

Мери Карпентер с чувством великой обиды отзывается о деятельности белых людей на её родине, о том, что правительственным чиновникам и торговцам местные жители кажутся чем-то вроде арктической фауны. Порой в её голосе слышатся слёзы, а в словах – скрытая ненависть. Я обращаюсь к её разуму и говорю, что не все белые такие. Вот мы сидим в доме Фарли Моуэта, абсо-

лютно белого человека, который не признаёт неравенства между людьми разного цвета кожи.

– Может быть, это верно, – сказала Мери. – Но как я могу хорошо относиться к белым, если наша жизнь и их жизнь у нас на Севере так резко отличаются! Давно прошло время, когда эскимосы считали, что так и положено: белый человек должен иметь больше, есть сытнее. К ним относились как к богам. Но эти, с позволения сказать, боги иногда вели себя хуже дьяволов и навсегда уронили себя в глазах северных людей. Нажива – вот их религия, какими бы красивыми молитвами они её ни прикрывали. Ради денег они готовы на всё, а то, что эскимосов и индейцев они не считают равными себе и даже отказывают им в звании человека, так это вы увидите сами, собственными глазами на нашем Севере. Вот посёлок или селение... Не надо быть очень проницательным человеком, чтобы сразу же заметить, что в одной части селения живут белые, а в другой – эскимосы. В одном месте – благоустроенные дома с горячей и холодной водой, с тёплыми туалетами, с электричеством, а в эскимосской части... Что уж там говорить о воде и тёплом туалете, когда мой дядя Чарлз Грубен ютится с семьёй в двенадцать человек в одной комнате! Там же в холодные дни живут его собаки, вы ведь знаете, что на Севере упряжка для охотника – такая же необходимость, как автомобиль на юге Канады...

– До встречи с вами, – сказал я Мери, – я прочитал немало специальной литературы о положении эскимосов и индейцев в Канаде. Встречался с администраторами Индейско-эскимосской ассоциации, читал их отчёты. Говорил с учёными... Мне кажется, что сейчас в Канаде пробуждается интерес к Северу и, в частности, к эскимосам, к их общественному положению, к культуре, экономике.

– Может быть, – грустно согласилась Мери. – Я даже могу добавить, что сегодня предприимчивые дельцы уже начали строить в некоторых далёких северных селениях благоустроенные отели для богатых туристов... Многие эскимосские семьи даже извлекают из посещения туристов кое-какой доход. Когда вы будете на Севере, вы сможете услышать термин «турист беби». Вы не удивляйтесь. Это живые результаты посещения туристами Крайнего Севера, не говоря уж о широком распространении алкоголизма, болезней и многих других «благ» цивилизации...

Мы гуляли по пустынным улицам Порт-Хоупа, проходили мимо нарядных витрин деловой части городка, под тихими пожелтевшими деревьями городского парка, вдоль поржавевших рельсов заброшенной железной дороги, над бурными водами безымянной речки. Мери с интересом расспрашивала о соплеменниках, живущих в Советском Союзе. Я рассказывал о своих друзьях-эскимосах. О певце и танцоре Нутетеине, который незадолго до моего отъез-

да в Канаду был в Москве и выступал на самой большой сцене нашей страны – в Кремлёвском Дворце Съездов, о Вере Аналькзасак, учительнице, которая училась вместе со мной в Ленинградском университете, о председателе сельского Совета села Ново-Чапдино Ларисе Саникак. Лариса, кроме того, ещё и депутат Магаданского областного Совета депутатов трудящихся.

Мери поинтересовалась, что это такое, и я пояснил – это примерно то же самое, что быть членом парламента провинции Онтарио.

– Не может быть! – Мери недоверчиво посмотрела на меня. – Она что – очень богатая?

Я долго втолковывал Мери, что у нас общественное положение человека не зависит от его богатства, от того, сколько человек имеет денег. Я разговаривал с ней и чувствовал неловкость оттого, что мне приходится уверять взрослого человека, студентку, в таких вещах, которые в нашей стране считаются сами собой разумеющимися.

Я видел в глазах Мери огонёк недоверия. Когда мы на следующий день плыли на яхте Моуэта «Счастливое приключение», она повторяла те же вопросы, а когда я отвечал, обращала вопросительный взгляд на Фарли, как бы ища у него подтверждения моим словам.

– Да-да... Действительно, мы с Юрием были в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. Я своими глазами видел студентов – эскимосов и чукчей, даже заглядывал в аудитории и лабораторные комнаты, – рассказывал Фарли. – Все студенты-северяне находятся на полном государственном обеспечении и не знают материальных забот во время своей учёбы.

– Да, этому можно только позавидовать, – задумчиво проговорила Мери. – И ещё очень хорошо, что они изучают родной язык, помнят его и развивают... А у нас из-за того, что в наших школах обучение ведётся только на английском языке, молодое поколение эскимосов как бы оказывается между двух культур – между своей, эскимосской, и культурой белого человека, до которой молодые эскимосы из-за скудности образования и материального положения не могут дорасти. Это как бы накладывает на молодое поколение бремя неполноценности, порождает чувство ненужности своего существования... Такой человек, как затравленный зверь, мечется по жизни, обращается то к религии – их у нас целых три, – то к батарее бутылок в баре, находя в алкоголе недолгое ощущение своей значительности, заканчивающееся тяжелым, мутным забвением.

Мы заговорили о живучести пережитков прошлого, о старинных ритуальных праздниках, которые имеют много общего на обоих берегах Ледовитого океана. Я спросил, остались ли шаманы

у канадских эскимосов. Мери улыбнулась и ответила, что шаманам трудно приходится в условиях, когда три разные церкви тянут эскимоса каждая к себе. Соперничество церквей тяжело отзывается на жизни аборигенов, затрудняет получение даже элементарного образования. Часто члены одной и той же семьи принадлежат различным церквям, и люди, по натуре искренние, испытывают настоящие муки, и часто бывает так, что приверженность разным приходам служит причиной тяжёлых семейных трагедий и даже приводит к распаду семьи.

Я слушал Мери и вспоминал учёных-этнографов и археологов, с восхищением отзывавшихся о культуре эскимосов, об их поразительном умении приспособиться к суровым условиям, к жестокому холоду и лишениям. Эти способности казались чужеземцам нечеловеческими и ставили северянина в их представлении в один ряд со скудным животным миром Арктики.

Да, чтобы создать уникальную материальную культуру, выработать свой образ жизни, философию и моральные ценности и устои, на которых держалась общественная жизнь народов Севера, потребовались тысячелетия. На разрушение понадобились лишь годы. Причём взамен разрушенных ценностей не было предложено ничего. Иногда в трагедии народов Севера, подвергшихся натиску капитализма, видят только внешние признаки. Но всё гораздо глубже и серьёзнее. Можно построить домик вместо иглу или яранги, можно предоставить работу на современном предприятии, но нельзя восстановить разрушения, причинённые человеческой душе, достоинству человека...

Мери Карпентер выступала в печати, по телевидению, но эти выступления почти никаких результатов не приносили. Правительство осталось равнодушным к её призывам, а сытый канадский обыватель удовлетворится проявлением демократии, предоставившей экраны телевидения и страницы газет и журналов для высказываний человеку из экзотического племени.

Мери Карпентер пишет стихи. Пишет она на английском языке. В её ещё не окрепшем творчестве боль за свой народ, за своих братьев и сестёр, которых неумолимо калечит общество, не понимающее, что значит бескорыстно помогать друг другу. Я сделал подстрочный перевод одного её стихотворения, которое звучит приблизительно так:

*Наш милый, любимый ребёнок,
Как безгранично мы любим тебя,
Юного и цветущего...
Твоя доверчивость рождает в нас нежность,
Заполняет нас с утра до вечера.
А-тук!*

Ты, бесценное наследство нашей любви,
В юности слышишь от нас ласку,
Речи любви и понимания.
Склоняешься в поклоне уважения
К земле и к океану, и твои
Мысли, и чувства, и всё, что ты делаешь, –
Достоинство настоящего мужчины,
Который убивает живое лишь ради еды.
А-тук!
Наш милый, любимый ребёнок,
Что же случилось с тобой?
Почему ты нас так надолго оставил
И редко радуешь нас кратким своим возвращением,
Когда же снова мы будем вместе и счастливы?..
Ты изменился и иначе смотришь на нас.
А-тук!
В отчаянии мать цепляется за того,
Кто ей сын, и чувства к нему
Делают её рабыней любви к своему ребёнку...
Мы видим уже в тебе белого человека,
Уходящего вдаль от нас.
Мы словно слуги твои, и от прежнего тебя
Осталась лишь тень, и жизнь твоя для нас
Покрыта плотным туманом.
С каждым уходом твоим
Мы теряем тебя навсегда.
А-тук!

Да, я видел таких, ушедших от исконных родников своей земли и оставшихся чужими в том мире, который отвергает их. Я видел их в ресторанах и барах. Они сидели в полном одиночестве, уставившись в свои стаканы, где таяли кубики льда, и думали о чём-то своём, сокровенном...

Мери Карпентер уезжала в Лондон поздно вечером. Я попросил её записать своей рукой адрес в мой блокнот. После имени Мери вывела W-3-244. Внимательно прочитав адрес, я показал на букву и номер и спросил:

– Это почтовый индекс?

– Нет, – ответила Мери, – это мой номер.

– Не понимаю, – пожал я плечами.

– Эскимосы Канады для правительственной статистики не имеют имён. Объясняют это тем, что эскимосские имена слишком трудны для произношения, в написании могут быть ошибки. Поэтому решили каждому эскимосу присвоить номер. Западные эскимосы перед своим номером имеют букву «W» – как у меня, а вос-

точные – «Е». Легко и просто. У нас в Тиктоюктаке номера выбиты на деревянном кружочке, и этот кружочек каждый эскимос носит на шнулочке на груди, рядом с крестиком.

– Не может быть! – воскликнул я, поражённый.

– Это правда, – подтвердил Фарли Моуэт.

– Но это бесчеловечно, – пробормотал я. – Как можно нумеровать людей и клеймить их, будто они олени или... узники.

– Но это так, – грустно сказала Мери. – Мы ведь неполноценные люди. Вот нас и опекают, и даже пронумеровали, чтобы кто-нибудь из нас не потерялся.

Эта «нумерация» долго не укладывалась у меня в голове.

Чем объясняется такое бессердечие и равнодушие правительства к исконным жителям страны? Я часто задавал этот вопрос писателям, журналистам, представителям провинциальных учреждений. Каждый искал собственное объяснение, но всё в конечном итоге сводилось к тому, что коротко и ясно выразил Фарли Моуэт:

– Это не Советский Союз. Всё, что не приносит денег, не представляет большого интереса.

Наконец разрешение на поездку на Север получено. Иммиграционные власти утвердили мне следующий маршрут: Торонто – Саскатун – Эдмонтон – Йеллоунайф.

Решено лететь не откладывая. Фарли засел в своём кабинете, составляя список нужных лиц, которые могут мне помочь в путешествии.

А я тем временем изучаю карту. Йеллоунайф. Северный берег Большого Невольничьего озера, столица северо-западной территории Канады, широта примерно южных районов Чукотского национального округа. Население четыре тысячи человек. Такой населённый пункт на нашем Севере в лучшем случае называют рабочим посёлком, а здесь – город. Таких «городов» только на Чукотке я могу сосчитать с пяток – Провидения, Эгвекинот, Билибино, Певек, Анадырь...

Накануне отлёта мы с Девиссером выехали из Порт-Хоупа. Представившись иммиграционному чиновнику в Торонто, мы направились в гостиницу «Холидей Инн», недалеко от международного торонтского аэропорта.

Вечер был свободен, и Джон пригласил меня в свой дом, расположенный как раз на полпути между аэропортом и гостиницей.

Типичный дом канадского интеллигента – благоустроенный, современный. Он стоит в ряду таких же домов, разделённых аккуратными полосками подстриженной зелени.

В кухне, где автоматическая плита поддерживала нужную температуру в кастрюлях и сковородках, Джон обнаружил большую

полою тыкву с вырезами в форме глаз, ноздрей и ушей. Он зажёт внутри тыквы свечу и поставил её на окно, лицом наружу.

Джон объяснил, что сегодня особый день, когда по домам ходят детишки с мешками, и хозяева должны одаривать их. Я заметил при входе у двери несколько картонных ящиков с конфетами, жевательной резинкой, фруктами. Пришла жена Джона с детьми и, извинившись, с мешком отправилась по соседям «колядовать». Я сказал Джону, что такой обычай существовал в старину и в России, в частности на Украине, и он может прочитать о нём в произведениях Гоголя.

– Может быть, этот обычай и пришёл к нам оттуда, – сказал Джон. – Ведь в нашей стране очень много украинцев.

Весь вечер нам то и дело приходилось подниматься из уютных кресел в гостиной и одаривать мальчишек и девочек, стоявших с мешками у дверей.

Один раз перед нами предстал подвыпивший парень, который вместо раскрытого мешка протягивал пустой стакан. Обычай есть обычай, и Джону пришлось налить ему немного рому. Учтиво поблагодарив хозяина и опрокинув содержимое стакана в рот, парень отправился к следующему дому.

Походив с мешком по соседям, вернулись дети и жена Джона. Очень милостивая и приветливая, типичная канадская домохозяйка, Хэлен накрыла стол, и мы уселись за обед. Потом Джон показал мне свой дом, фотостудию в нижнем этаже. Джон Девиссер – один из многочисленных фотографов-художников, не связанных ежедневной службой. Я познакомился с несколькими его работами и должен сказать, что похвалы Фарли Моуэта в его адрес имеют достаточные основания.

Поздно ночью Джон отвёз меня в «Холидей Инн».

Утром – знакомая предотъездная суэта в международном аэропорту Торонто. В зале ожидания наспех написал открытки, поздравляя знакомых и родных с праздником пятидесятилетия Октября. Самый большой праздник за всю историю существования нашего государства я встречу на канадском Севере.

Летел в первом классе – других билетов в кассе не было. Вокруг сидела солидная публика – бизнесмены, правительственные чиновники. Очень любезные и очень красивые стюардессы не давали скучать, то и дело спрашивали о самочувствии, предлагали то одно, то другое.

Кругом слышался оживлённый разговор. Мой сосед пытался мне доказать, что виски, которое продают в Саскатуне, гораздо лучше того, что нам предлагают здесь в обшитых перпичьим мехом бутылочках. Я вежливо заметил, что мне ещё не приходилось пить виски в Саскатуне.

– Мы это немедленно исправим! – горячо воскликнул сосед.

Он поинтересовался, какие важные дела заставили меня предпринять поездку в Саскачеван. Для такого рода вопросов Фарли Моуэт заготовил мне соответствующее письмо. Я полез в карман, достал письмо и предъявил его соседу. Сосед долго изучал его.

– Вэлком! – воскликнул он, возвращая мне письмо. – Если вы дружите с таким человеком, как Фарли Моуэт, значит, вы достойный человек. То, что вы из Советского Союза, это совсем хорошо!

И тут начался разговор, который происходил всегда и всюду, как только мои собеседники узнавали, что я из Советского Союза. Восторгам по поводу нашего павильона на Всемирной выставке не было конца.

Для большинства канадцев, черпающих информацию о нашей стране из далеко не самых добросовестных и доброжелательных источников, советский павильон на «Экспо-67» явился подлинным откровением.

За месяц до моей поездки в Канаду в Монреале побывала Анна Нутэтэгринэ, моя землячка, член Президиума Верховного Совета СССР, председатель Чукотского окрисполкома. Администрация выставки сделала всё, чтобы не дать ей возможности посетить павильон аборигенов Канады – эскимосов и индейцев. Очевидно, устроителям этого павильона нечем было похвастаться перед чукчанкой, депутатом Советского парламента.

В Саскатун, столицу провинции Саскачеван, самолёт прилетел затемно. Встречал меня профессор Вильямсон с двумя эскимосами, его воспитанниками. Мальчишки подхватили чемоданы и быстро погрузили в машину. Один из парней сел на шофёрское место, и мы покатали по ночному шоссе.

Профессор вполголоса давал указания юному шофёру на эскимосском языке.

Язык канадских эскимосов резко отличается от языка азиатских эскимосов, но фонетический строй у них общий, и кое-что всё же можно было понять.

Профессор живёт в сравнительно большом, но густонаселённом доме. Кроме двух своих собственных детишек, у него приёмный сын-эскимос лет пяти-шести и двое уже упомянутых мной воспитанников, которые проходят курс средней школы в Саскатуне.

Нас встретила любезная и очень милая жена профессора, Джинни.

За поздним обедом профессор засыпал меня вопросами о положении малых народов Севера в Советском Союзе, об изучении этнографии, археологии и языков чукчей, эскимосов и других северян нашей страны. И снова приходилось рассказывать о нашем Севере, о Чукотке, которая ближе всего и по природным условиям, и по населению к канадскому Северу.

Профессор Вильямсон оказался человеком хорошо осведомлён-

ным, и многое из того, что я ему рассказывал, только подтверждало его сведения и догадки.

Я прожил двое суток в гостеприимном доме профессора. Это один из виднейших исследователей американского Севера, отличный знаток языка, истории и этнографии не только канадских, но и всех американских эскимосов. Он возглавляет Институт полярных исследований при Саскачеванском университете, основанный в январе 1960 года.

Главными целями этого института являются, по словам профессора Вильямсона, исследование проблем освоения Северной Канады и подготовка кадров для работы в тех условиях. Всё это, как надеется профессор, должно послужить улучшению социального и экономического положения аборигенов канадского Севера.

Я поинтересовался, много ли эскимосов и индейцев учатся в Саскачеванском университете. Ведь никто так хорошо, как выходцы из этих народов, не знает всех экономических и социальных проблем, которые изучает Институт полярных исследований.

– Пока никого нет, – ответил профессор. – Но я надеюсь – будут, – и профессор кивнул в сторону двух черноволосях парней, которые сосредоточенно смотрели по телевизору очередной боевик с выстрелами и преследованиями. – Беда в том, – продолжал профессор, – что обучение в наших университетах стоит недёшево. Но даже если бы этого препятствия и не было, всё равно эскимосу дорога в университет закрыта, потому что он в своей школе получает такое скудное образование, которого совершенно недостаточно для поступления в университет. Поэтому-то я и взял этих мальчиков к себе... Кроме того, я хочу доказать, что эскимосы по своему умственному развитию нисколько не уступают белому человеку.

– А разве кто-то сомневается в этом? – спросил я профессора.

Вместо ответа Роберт Вильямсон только развёл руками.

Он заговорил об удивительной жизнеспособности эскимосов. Веками они жили в условиях сурового Севера, недоступного другим народам. Материальная культура, созданная ими на стыке живого и мёртвого, обеспечивала человеку жизнь и возвысила его над силами природы. Многое из того, что создали эскимосы и другие народы Севера, и сегодня используется более поздними пришельцами на Севере. Без того опыта, который веками добывали жители Севера, сегодняшнему человеку, впервые попавшему в холодные края, пришлось бы нелегко.

Я полностью был согласен с профессором и сказал ему, что неоднократно писал об этом.

– Но вот какой парадокс! – воскликнул профессор. – Люди, выстоявшие перед такой суровой природой, оказались почти в безвыходном положении, столкнувшись с цивилизацией. У них не

оказалось иммунитета против социальных и физических болезней, которые принёс на Север белый человек.

– А может быть, всё дело в том, какая цивилизация пришла на Север? – спросил я профессора.

– Возможно, – мрачно ответил он и принялся набивать трубку.

За два дня, проведённых в доме профессора Вильямсона, мы переговорили о многом. Он сетовал на то, что у него нет почти никаких контактов с советскими учёными. Он знает, что в нашей стране идёт широкое изучение экономики и этнографии народностей Севера, есть крупные специалисты-эскимологи, но связи с ними у него нет.

– Как бы мне хотелось поехать в Советский Союз и собственными глазами увидеть успехи, которые являются плодами новой национальной политики! – не раз повторял профессор.

О высоком научном авторитете профессора Вильямсона свидетельствует такой факт: к нему обращаются буквально все – от правительственных чиновников департамента по делам Севера до студентов.

Из Саскатуна до Эдмонтона я летел в самолёте вместе со студенткой Терри Деланей, которая не раз при мне приходила на консультацию к профессору Вильямсону. Она с увлечением рассказывала мне, какой это чудесный человек, как он много знает и много даёт студентам.

– Это он заразил меня интересом к эскимосам, к их культуре и языку! – с горячей благодарностью произнесла девушка.

– Скажите, а для чего вы изучаете культуру и язык эскимосов? – задал я вопрос, который предлагал многим, и не только в Канаде.

– Как – для чего? – удивилась Терри. – Это очень интересно с научной точки зрения. Эскимосы – древнейшие жители канадского Севера, и их происхождение и прошлая жизнь представляют большой научный интерес.

– Вы простите, что я задаю такой наивный вопрос, – сказал я Терри. – Я его задаю не только вам. И все в один голос утверждают, что эскимосы представляют большой интерес для науки. Но не приходило ли вам в голову, что они представляют интерес ещё и потому, что являются древнейшими жителями этой земли и имеют на её богатства кое-какие права? Разве не представляет интереса тот факт, что именно они и их братья по несчастью – индейцы – оказались в самом бедственном положении в этой большой и богатой стране?

– Этим вопросом занимается правительство. Учёные не интересуются политикой, – сухо ответила Терри Деланей.

Переночевав в столице провинции Альберта, в Эдмонтоне, посвятив утро беглому осмотру города, в сопровождении правительственного чиновника я отправился в аэропорт и сел в самолёт Западно-тихоокеанской авиакомпании.

Внизу проплывала уже покрытая первым снегом земля. Озёра перемежались перелесками, и казалось, что самолёт летит где-то в районе Омской области или чуть севернее.

На промежуточном аэродроме, где наш «Ди-Си» произвёл посадку для заправки горючим, я вышел из самолёта и направился в маленькое деревянное здание аэропорта. Если бы не английская речь, можно было бы подумать, что мы сделали остановку где-нибудь в Марково или в Лаврентии, а кругом оживлённо переговариваются, курят, ругают аэродромное начальство геологи, рабочие изыскательских партий, всякого рода командированный народ. Такой же затоптанный, грязный пол и вечно закрытый буфет. Начинался Север.

Последний бросок через Большое Невольничье озеро, и под нами столица северо-западной территории Канады – город Йеллоунайф, Жёлтый Нож.

В аэропорту меня встречал правительственный чиновник. Он в куртке из шкуры карибу, хотя сравнительно тепло – что-то около десяти градусов ниже нуля.

Он повёл меня в отель «Йеллоунайф», очень удобный и уютный. На первом этаже – неизменный киоск с сувенирами, журналами и дешёвыми изданиями. На обложках комиксов голые колени, кружевные бюстгалтеры, рекламы «смирновки» и шотландского виски, свирепые лица суперменов.

Городок совсем крошечный, аккуратный и тихий. Большинство прохожих одеты в стилизованные парки из синтетики, из нерпичьего и оленьего меха. Канадцы сумели создать очень удобную одежду для Севера, взяв самое лучшее, что имелось в конструкции этой древней одежды, и используя новые материалы и новый покрой. Даже сами эскимосы и индейцы, живущие в Йеллоунайфе, предпочитают такую одежду, хотя и стоит она недёшево.

После часового отдыха я снова встретился с правительственным чиновником, и он повёл меня знакомить со столицей северо-западной территории. Начали мы с радиостанции Си-Би-Си, осуществляющей вещание и передачу телевизионных программ. Здесь нет собственной телестудии, и все телепередачи привозятся в магнитофильмах. Как раз тем же рейсом, которым я прибыл в Йеллоунайф, привезли свежие передачи в металлических коробках с фирменными знаками канадской телевизионной компании.

Центральная часть городка с магазинами, аптеками-закусочными и двумя отелями производит приятное впечатление. Мы зашли в большой продовольственный магазин, принадлежащий «Гудзон бей компани». Когда-то такими же вывесками пестрели пушные фабрики и лавки на чукотском побережье Берингова пролива. Далеко забиралась в своё время «Компания Гудзонова залива»!

Любезный чиновник старался показать мне всё. Заходили на почту, телефонную станцию и даже в суд, где в торжественной обстановке судьи, облачённые в мантии, разбирали дело о краже сорока долларов из кассы магазина. Судили молодую индианку-кри. Рослый полицейский в форме королевской конной полиции произнёс клятву и поцеловал Библию. На этом моё знакомство с канадским правосудием закончилось, так как чиновник потянул меня дальше. Я спросил его о возможном приговоре.

– О, не волнуйтесь! – бодро ответил он. – Её не посадят в тюрьму. Ей придётся уплатить штраф.

Мы шли по улице Йеллоунайфа, и чиновник перечислял учреждения, называл тех, кто живёт в городе и окрестностях. Когда он упомянул индейцев и эскимосов, я спросил, где они живут.

– Далеко, на окраине города, – неопределённо ответил чиновник.

– Мне бы хотелось с ними встретиться...

– Это не так трудно сделать, – ответил чиновник и пригласил меня в бар при отеле «Йеллоунайф». – Там вы на них насмотритесь, – многозначительно добавил он.

Действительно, в баре сидели индейцы и эскимосы. Но их было сравнительно немного. Время от времени кто-нибудь из них вставал и опускал монеты в «мюзик-бокс». Молча, чинно и степенно они тянули виски с содовой.

– Вы знаете, – с задушевной интонацией обратился ко мне мой гид, – среди индейцев и эскимосов, как и среди других народов, есть плохие и хорошие люди. Вы согласны со мной?

– Разумеется, – ответил я. – Люди как люди.

– Так вот, большинство из тех, которые здесь сидят, это плохие индейцы и плохие эскимосы, – пояснил он.

– Значит, и большинство белых в этом баре тоже плохие? – спросил я его в свою очередь.

Чиновник попытался улыбнуться.

– А кого вы считаете хорошими индейцами и хорошими эскимосами? – спросил я его.

– Тех, – уверенно начал чиновник, – кто ходит в церковь и не тратит заработанные деньги на спиртное.

На следующий день чиновник пригласил меня на обед. Он рассказывал мне о заботах правительства, направленных на улучшение жизни эскимосов и индейцев. По его словам, попытки облегчить участь «сверхграждан» Канады предпринимаются и усиливаются из года в год.

Я побывал в школе, где обучаются представители этих древних народов. Школа вроде нашего ремесленного училища. Она хорошо оснащена мастерскими, классы просторные и светлые. Отсюда индейцы и эскимосы идут на промышленные предпри-

ятия Севера, где их охотно берут, потому что это постоянные и верные кадры.

– Они почти не участвуют в забастовках и очень нетребовательны, – заметил мой спутник.

Я всё же настоял на том, чтобы поехать в индейскую и эскимосскую часть городка. Мы взяли такси и поехали довольно далеко, вдоль подёрнутого первым ледком берега Большого Невольничьего озера.

Показались домики. Они небольшие – на одну-две комнаты. Вокруг – кучи мусора, а поодаль стоят деревянные туалетные будки. Иногда около домов мы видели индейцев и эскимосов, которые равнодушным взглядом провожали нашу машину.

– Может быть, зайдём в один из домов? – спросил я спутника.

– Не стоит, – ответил чиновник. – Нас не приглашали, могут попросту выгнать.

Я не поверил его словам. Я хорошо знаю людей Севера: гостеприимство на Севере – высший закон. Кто бы ни пришёл, в любое время суток для него найдётся ночлег и хозяева отдадут ему лучший кусок, нередко даже последний. Я вспоминал многих своих друзей-журналистов, которые часто ездили на собаках по Ледовитому побережью. Не было ни одного случая, чтобы им отказывали в крове. Совершенно незнакомые люди чинили им одежду, сушили торбаса, предоставляли для отдыха самые нежные и пушистые шкуры...

И только какие-то особые обстоятельства, великая обида могли привести к тому, что визит в дом индейца и эскимоса был нежелателен.

Я не поверил чиновнику и на следующий день, разыскав того же шофёра, попросил свезти меня снова на окраину Йеллоунайфа.

Мы поехали знакомой дорогой. Я попросил остановиться у первого же дома и велел подождать.

– Это плохие индейцы, – предостерёг меня шофёр. – Давайте свезу вас к хорошим.

– Ничего, – ответил я ему. – Я надеюсь, что это не такие уж плохие индейцы.

Ещё издали, подходя к домику, я увидел прильнувшие к оконным стёклам любопытные лица. Я постучал в дверь и, услышав ответ, вошёл в прихожую, которая одновременно служила и кухней. Дом, очевидно, был бы достаточен для одной семьи в два-три человека, но он был буквально набит жильцами. На кровати сидел взлохмаченный мужчина, три женщины и девочка лет двенадцати расположились вокруг стола с небрунными остатками еды. В небольшой комнате, дверь которой была открыта в кухню-прихожую, пищали двое детишек.

Когда я объяснил им, откуда я родом, кто по национальности,

обитатели домика весьма заинтересовались и даже предложили сесть. Мужчина, назвавшийся Джоном, выудил из-под кровати, на которой сидел, недопитую бутылку рома. Едва мы успели чокнуться с ним и переброситься несколькими словами, как послышался стук и в комнату просунулась голова моего шофёра, который поманил меня пальцем и торжественно сообщил, что нашёл совсем неподалёку отсюда семью «хороших индейцев». Я попрощался с обитателями этого дома и последовал за ним. Немного попетляв, шофёр – его звали Боб – подъехал к одному из домиков.

Здесь по сравнению с первым домом было чисто и прибрано. В комнате сидела молоденькая девушка и что-то шила.

– А где родители? – спросил мой спутник.

– Отец на работе, а мать ушла за покупками, – степенно ответила девушка, встав со стула.

– Это очень хорошие индейцы, – сказал шофёр, обратившись ко мне.

– Мне кажется, что это эскимоска, – возразил я.

– Вы эскимосы? – бесцеремонно спросил шофёр.

– Да, – ответила девушка.

– Вы знаете, – обратился ко мне шофёр, – очень трудно различить индейцев и эскимосов. Все они для меня на одно лицо. Вот метисов я ещё различаю. Их тут много...

– Как вы думаете, кто этот мистер – англичанин, француз или датчанин? – спрашиваю девушку, показав на шофёра.

Девушка вместо ответа молча пожала плечами.

– Для неё вы, белые, тоже на одно лицо, – сказал я шофёру.

А ему очень хочется продемонстрировать «хороших индейцев», и я его понимаю: кому охота показывать иностранцу отечественные недостатки? Он задаёт девушке наивные «наводящие» вопросы, стараясь сгладить у меня впечатление от посещения первого дома.

– Твой отец хорошо зарабатывает, не правда ли?

– Не знаю, – ответила девушка.

– Он не пьёт спиртного?

– Старается не пить... Может быть, только по праздникам.

– И в церковь ходит?

– Мы все вместе ходим...

– Хорошо, – шофёр повернулся ко мне с довольным видом и заключил: – Только так и надо жить.

Когда мы вышли на улицу, шофёр предложил:

– Может быть, ещё зайдём в другой дом?

– К хорошим или плохим? – спросил я его. Не поняв иронии, он убеждённо сказал:

– Какой интерес заходить к плохим? Конечно, к хорошим.

– Нет уж, лучше поедем обратно, – сказал я.

– О'кей! – сразу согласился он.

Мы поехали вдоль берега Большого Невольничьего озера. Из снега торчали зелёные ветки сосен и елей, и весь пейзаж удивительно напоминал Прибайкалье в ноябре, хотя здесь немного севернее. Мимолётное посещение двух домов аборигенов Северной Канады, конечно, не может дать хоть сколько-нибудь верного представления об их жизни. Как бы мне хотелось пожить хоть месяц, полгода в таком домике и понять своих далёких сородичей, узнать их нужды, чаяния, проникнуть в их сокровенные мысли, в заботы, которые тяготят их здесь.

В баре отеля я встретил Дункана Прайда, молодого охотника, шотландца по происхождению. (Мы познакомились с ним за завтраком.) Он пригласил меня за свой столик и поинтересовался, где я был. Я рассказал о посещении индейско-эскимосской части Йеллоунайфа.

– Это совсем не то, – сказал Дункан. – Вам надо побывать в настоящем эскимосском селении. Здешние эскимосы и индейцы потеряли свой подлинный облик. Цивилизация действует на них губительно. Хотите, я поговорю тут с одним человеком? Он тоже охотник, но у него есть маленький самолёт. Думаю, что он с вас возьмёт недорого.

На следующий день я встретился с самолётовладельцем и охотником. Мы сторговались быстро, и теперь оставалось только уломать правительственного чиновника, чтобы он позволил мне полёт в эскимосское селение.

– Вы путешествуете по Канаде свободно и можете бывать там, где вам захочется, – торжественно объявил чиновник.

Решено было лететь после седьмого ноября.

Всё складывалось как нельзя лучше. В радостном ожидании предстоящего праздника и полёта к эскимосам я не очень-то обращал внимание на откровенные намёки канадского радио и телевидения о предстоящей демонстрации у стен советского посольства в Оттаве.

В этот торжественный день мне не хотелось оставаться одному, и я вспомнил о встрече, которая произошла в первый день моего приезда в Йеллоунайф. Возле радиостанции Си-Би-Си правительственный чиновник познакомил меня с человеком, который, к моему удовольствию, оказался русским. Его звали Николай Уткин, по-здешнему Ник. Он сапожник и владелец двух небольших домиков, которые сдаёт внаём. Кроме того, он подрабатывает тем, что служит ночным сторожем. Ник ходил вместе с нами по магазинам и всячески подчёркивал большой выбор товаров, обилие свежих фруктов, начиная от бананов и кончая калифорнийскими апельсинами. Желая продемонстрировать свою материальную обеспечен-

ность и кредитоспособность, Ник тут же в магазине заполнил чек и получил из кассы десять долларов.

Однажды вечером у себя в домике – Ник холостяк и живёт один, хотя на его визитной карточке значится «Ник Уткин и сыновья», – после изрядной порции выпитого рома он рассказал мне, как оказался вдали от родины, вдали от своей матери, которая живёт в Туле и не подозревает, что её сын жив. В его биографии не было ничего неожиданного. Это была история одного из немногих бывших советских солдат, добровольно сдавшихся в плен во время Великой Отечественной войны. Поначалу Ник Уткин пытался оправдаться, но потом вдруг с истеричной откровенностью воскликнул:

– Да, я струсил! – и, немного подумав, торжествуя добавил: – Зато я остался жив!

Порывшись в углу, он достал балалайку, настроил её и начал петь старые, ещё довоенные частушки. Он пел и плакал, человек, потерявший родину и в трусости дошедший до такого состояния, что даже не смеет напомнить о своём существовании родной матери.

Утром седьмого ноября я вырезал из красной бумажки флажок, прикрепил его к лацкану пальто и прошёлся по улице Йеллоунайфа. Был тихий, пасмурный день. Далеко в моей стране шумел большой праздник, и ещё ни разу за всё путешествие мне так не хотелось домой...

Самым близким пунктом нашей страны отсюда был мой родной Уэлен. По прямой примерно такое же расстояние, как от Магадана до Анадыря. В родном селении уже глубокая зима. Праздничная демонстрация идёт по улице. Возможно, что накануне была пурга (на берегу Берингова пролива ноябрь – ветреный месяц), и поэтому люди идут, переваливая через наметённые сугробы. Дома украшены красными флагами и лозунгами на русском и чукотском языках. Громко хлопает на холодном, упругом ветру кумач...

Проведя одиночную демонстрацию, я вернулся в отель, спустился в бар и поставил красный флажок на свой столик. Я сидел в полном одиночестве, и ни один человек не подошёл ко мне и не поздравил меня с праздником. Никто не обратил внимания и на мой флажок: мало ли чудаков сидит в баре отеля «Йеллоунайф»...

Не появился и Ник Уткин. И я подумал: а зачем, собственно, Нику Уткину приходить? Да и пригласил-то я его зря. Пятьдесят лет Советской власти – праздник не для него. Это праздник мой, всего нашего большого народа, всей нашей большой страны.

За месяц путешествия я встретил немало людей, когда-то живших в нашей стране, либо таких, чьи отцы и деды ещё в давние времена переселились в Канаду. В сегодняшнем процветании Канады есть значительная доля труда русских и украинцев.

Разными путями попали они в заокеанскую страну, и среди них

есть разные люди. Есть религиозные беженцы, переселившиеся в Канаду ещё при содействии Льва Толстого; есть дореволюционные эмигранты-крестьяне, бежавшие от голода и безземелья; выходцы из Западной Украины и Западной Белоруссии, эмигрировавшие в годы, когда панская Польша насаждала свои порядки на белорусских и украинских землях.

Я слышал, что среди русских и украинцев, живущих в Канаде, есть незначительная группа отщепенцев, изменников Родины, окопавшихся в этой стране и ведущих подрывную работу против установления дружеских отношений между народами Канады и Советского Союза...

Утром восьмого ноября, включив радио, я услышал о гнусной провокации, устроенной эмигрантским отребьем у стен нашего посольства в Оттаве. Самое удивительное, что ни для кого не являлось секретом, кто организовал антисоветскую демонстрацию. Специально для этого из Западной Германии в Канаду прибыл некий Стецько, недобитый бандеровец и изменник Родины.

Радиокомментатор захлёб рассказывал о том, как какой-то высокопоставленной гостье, жене видного канадского государственного чиновника, попали в голову тухлым яйцом, испортив ей праздничную причёску, как облили красной краской вечернее платье жене верховного комиссара Пакистана, как пытались поджечь здание, как били окна, мазали стены, и так далее...

В этот же день Дункан сообщил мне, что его друг, охотник-самолётовладелец, сомневается в исправности своей машины и не может взять на себя ответственность за безопасность иностранного пассажира. Следующие три дня я ждал известий от государственного чиновника. На каждый мой звонок он вежливо и даже дружелюбно говорил о том, что пока возможностей отправиться в тундру нет и надо немного потерпеть.

А время шло. Кончалась моя канадская виза. Съездив ещё раз напоследок в индейско-эскимосскую часть Йеллоунайфа, я сел на самолёт Западно-тихоокеанской авиакомпании, сделал пересадку в Эдмонтоне и вечером следующего дня уже видел улыбающееся лицо Джона Девиссера, слышал его спокойный голос, улыбку Хелен и щебетание их детей.

Прямо из торонтского аэропорта мы направились в Порт-Хоуп. Накануне отъезда я провёл несколько часов в Национальном музее Канады в Оттаве. В нём собраны предметы материальной культуры эскимосов и индейцев, идёт интенсивное изучение истории и культуры жителей Севера.

Доктор Вильям Ирвинг подарил мне книгу «Народ света и тьмы» – сборник статей по проблемам канадского Севера. Книга открывается предисловием принца Филиппа, который не так давно побывал в Йеллоунайфе.

Многие авторы этого сборника с восхищением отмечают успехи в освоении Советского Севера.

Какими же путями пойдёт жизнь коренных обитателей канадского Севера? Авторы статей лишь туманно говорят об этом. В книге много фотографий. Маленький мальчик-эскимос выводит первую в своей жизни букву. Старик эскимос уткнулся в молитвенник. И ещё – юная эскимосская девушка с зажжённой свечой сидит в церкви... Взгляд её отнюдь не благочестивый.

Я смотрю на эти фотографии, и невольно моя рука тянется к другому, сделанному на расстоянии трёх часов полёта от Йеллоунайфа. Я беру книгу «Чукотский национальный округ».

Вот одна фотография: учёный-физик Владимир Рентыргин в своей лаборатории радиоактивных изотопов в Магаданском научно-исследовательском институте. Другая фотография – учительница-эскимоска даёт урок в Чаплинской средней школе. Капитан шхуны Линеун на мостике, депутат областного Совета Лариса Саникак на трибуне, сидит с бубном заслуженный работник культуры РСФСР эскимосский певец и танцор Нутетеин.

Далеко разошлись дороги эскимосов и чукчей Советского Союза и их соплеменников, проживающих по ту сторону Берингова пролива.

РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОБЩНОСТИ

Мысль об этих заметках возникла у меня летом 1971 года.

Я плыл в родное селение Уэлен на гидрографическом судне «Маяк». Наш корабль плыл мимо берегов Аляски. Берингов пролив лежал по обе стороны нашего курса, острова Имаклик и Инэтлин возвышались над водой синими глыбами застывшего стекла.

Долгие годы я прилетал в Уэлен на самолётах или вертолётах. Они прибывали с южной стороны, возникая над зелёными холмами залагунной тундры.

На этот раз наш корабль подходил к Уэлену ранним утром. Несколько дней назад здесь бушевало ненастье: северный ветер пригнал к берегу ледовое поле и вместе с ним большие моржовые стада. Но это продолжалось недолго. Дня через три южный ветер отогнал лёд, очистил небо, и в Уэлен снова вернулось северное лето с ясными днями, тёплым ветром с тундры, но со студёным веянием с моря, где всё же остались отдельные льдинки, зацепившиеся на мелких местах.

В детстве я вот так приплывал в Уэлен после долгой весенней охоты на моржа в Беринговом проливе, после поездок в Наукан, в залив Лаврентия, на Чукотскую культбазу. Этим же путём всегда возвращались все, кто в летнее время держал путь в родные края.

Зимой из Уэлена ездили в основном в южную сторону и оттуда же возвращались домой. Но там были одиночные путешественники на собачьих нартах, а здесь всегда возвращался либо вельбот, либо байдара, а в них всегда было много народу, и очень часто какой-нибудь новый человек.

Именно отсюда, из-за мыса, появлялись корабли, привозившие новых людей, новые товары, целые деревянные дома, которые потом собирали русские плотники. Словом, это были парадные ворота Уэлена, открытые доброму, значительному, прекрасному.

Я уже привык ко всяким переменам в облике Уэлена и уверенно ожидал, что увижу много новых зданий, новых людей, но то, что предстало перед моими глазами, было удивительно даже для меня, готового ко всему.

Уэлен сегодня – это современное большое селение с домами, оснащёнными всеми необходимыми удобствами.

Председателем сельского Совета был русский, женатый на чукчанке, осевший в самом дальнем селении нашей страны. В приданое от тестя он получил шестнадцать оленей, которые паслись в личном стаде.

В моём родном селении много смешанных семей. Но на это обстоятельство обращал внимание только я, который привык к несколько иному виду Уэлена, к другому составу его населения. Даже физический облик людей, особенно молодых, стал другим. Юноши и девушки отличались высоким ростом, и среди них больше не было согнутых тесным пологом, изъеденных едким дымом костров и копотью жирников.

В середине села, рядом со школой, – сельский клуб. Заведующая с гордостью сказала мне:

– Недавно у нас выступал с концертами ансамбль «Эргырон».

По вечерам уэленцы идут в клуб, смотрят современные кинофильмы.

Несколько раз в неделю молодёжь устраивает танцы, которые ничем не отличаются от танцев в какой-нибудь колхозной деревне в центральных районах страны.

Однажды я пошёл на эти танцы. Эскимосские, чукотские, русские парни и девушки танцевали современные танцы под современные мелодии. Правда, некоторые девушки были одеты в нарядные цветастые камлейки.

Я уже собрался уходить, как вдруг смолкла радиола, и моё внимание привлёк характерный звук, знакомый с далёкого детства, – звук ярара. Гром его рассёк воздух зала и вырвался наружу. В мгновение всё переменилось в зале, и мне даже показалось, что наступило другое время. Но это был сегодняшний день, ибо содержание песен и танцев отражало нынешнюю жизнь и в круг входили парни и девушки, знакомые с современными достижениями

науки и техники, работники совхоза, механизаторы, радистки, звёроводы, художники и гравёры знаменитой уэленской косторезной мастерской.

Древний танец не казался древним, потому что был наполнен чувствами и мыслями сегодняшнего дня и служил нашим современникам.

Здесь же в клубе, в соседней комнате, располагалась сельская библиотека. На многочисленных полках стояли книги русских и советских писателей, иностранных авторов. Если бы всё это было во времена моего детства, когда я пытался даже читать «Анти-Дюринга» Энгельса!

На отдельной полке – книги чукотских авторов: Антонины Кымытваль, Виктора Кеулькута, Михаила Ятыргина...

До приезда в Уэлен я гостил у Кымытваль в Анадыре, в её гостеприимном доме. Муж поэтессы, известный на Чукотке знаток оленеводства, русский человек Виталий Задорин, сроднившийся навеки с далёкой землёй, с её народом, угощал меня кетовой ухой.

Дочери Антонины и Виталия щебетали, путая чукотские и русские слова.

Может быть, и есть любители чистых линий в развитии человеческого общества и человеческой культуры, но опыт всемирной истории учит, что весь путь развития населения земного шара – это цепь непрерывных ассимиляций, смешений не только физических, но и взаимопроникновений культур, взаимообогащение положительными знаниями, добытыми тяжким трудом и часто ценой жизни.

В истории человечества случалось, что кое-кого одолевал зуд чистопородности, поисков чистых линий. Каждый раз это заканчивалось противопоставлением одних народов другим и призывами силой оружия уничтожить или, в лучшем случае, загнать в резервации «неполноценные» народы и народности.

Атмосфера подлинной дружбы народов, царящая сейчас в нашей стране, очень точно и полно определена в отчётном докладе XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза Генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым: «Сейчас можно говорить о возникновении в нашей стране новой исторической общности людей – советского народа».

Советский народ на протяжении своей героической истории создал не только могущественное государство, родину трудового люда, государство огромного современного промышленного потенциала, передовой науки и техники, но и государство новой культуры, вобравшей в себя достижения всей мировой культуры, всех народов нашей страны, но прежде всего – русской культуры.

Поэтому сегодня мы с полным правом можем говорить о еди-

ной советской культуре, о единой советской литературе и советском искусстве.

Как же всё это начиналось? Где истоки и великие силы, объединившие, казалось бы, такие разные, часто противоречивые культуры?

Когда на Чукотку пришли первые учителя, русские комсомольцы и коммунисты, они застали поразительную картину. С одной стороны, люди жили чуть ли не в каменном веке, пользуясь орудиями, изобретёнными на заре возникновения человеческого общества – каменными топорами, нитками из звериных жил, сетями из тонко нарезанных ремней, – освещались и отапливались каменными жирниками, наполненными тюленьим жиром. Главными идеологами и хранителями истории, традиций были шаманы, люди сильной воли, острого ума, изворотливой хитрости. Они совершенно не похожи на тех шаманов, которые часто попадают на страницах художественных произведений. Например, уэленский шаман Млеткын, взявший после продолжительной жизни в Сан-Франциско имя Франк, пытался даже сотрудничать с первыми Советами на Чукотке и некоторое время числился председателем родового Совета. Народ своей коллективной мудростью легко разоблачил бы шарлатанство какого-нибудь неумелого и неумного колдуна и отказал бы ему в доверии. Поэтому шаманы первыми приобрели барометры и не брезговали применять патентованные лекарства, попадавшие на Чукотку из Америки. Но рядом с каменными жирниками находились предметы двадцатого века – граммофон, будильник, новый винчестер, нож из английской стали, мощный цейсовский бинокль.

Самыми запутанными оказались общественные отношения. Обычаи большой патриархальной семьи, первобытнообщинного строя, первобытного рабовладельчества, зачатки феодализма и товарно-денежных отношений уживались с самой жестокой эксплуатацией со стороны торговцев, капитанов китобойных шхун. Многие чукчи и эскимосы нанимались на проходящие суда матросами, гарпунёрами, уезжали в далёкие земли, откуда привозили невероятные рассказы о тамошних чудесах, о зданиях, нагромождённых друг на друга, об огромных, чудовищного размера железных нартах, которые, изрытая огонь, оглушающе грохоча, мчались по бесконечным железным полосам, проложенным прямо по земле.

С чего начинать? Прежде всего надо было наладить на новой основе хозяйство, а в области культуры дать людям тундры и ледового побережья грамоту.

И учителя совершили настоящий подвиг, явившись не только первыми просветителями в высоком значении этого слова, но и авторами первых букварей на чукотском и эскимосском языках, на языках всех народов Севера, подвиг не только гражданский, но

и научный, ибо впервые в истории человеческой культуры надо было в небывало короткий срок разработать письменность для более чем двух десятков народов и народностей, не только разделённых огромными расстояниями, но и генетическими, этническими, языковыми и другими барьерами.

Северные народы поначалу обучение грамоте приняли без особого восторга. Зачем грамота? Зачем надо тратить так много времени для изучения мелких значков, напоминающих птичьи следы на свежем снегу или мышиную тропу на мокром приречном песке? Для того, чтобы торговать в лавке? Но для этого достаточно обучить одного человека, а не всех поголовно. А ну все захотят стать торговцами? Во-первых, для всех не хватит товара, а самое главное – кто будет охотиться на нерпу, ставить капканы?

Нужно знать многое? А для чего? Всё, что нужно знать морскому охотнику или оленеводу, можно изучить без грамоты, без ненужного напряжения глаз. Главное – чтобы человек был силен и вынослив. Пусть юноша, вместо того чтобы сидеть, согнувшись, за партией, бегаёт на вершину горы, держа на плечах железный лом...

Один из моих первых учителей, Лев Васильевич Беликов, начал свою педагогическую деятельность на Чукотке в кочевой школе. Классом ему служила обыкновенная тундровая яранга. Иной раз в середине урока приходилось прерывать занятия: стадо кочевало дальше в поисках богатых пастбищ. Надо было свёртывать класс, грузиться на нарту и отправляться в путь. Во время привалов, когда усталые олени искали под копытами ягель-мох, Беликов собирал учеников и палкой рисовал на снегу буквы. Местный шаман, поражённый упорством и целеустремлённостью учителя, приглашал его в свои ученики.

Но советский учитель учился не у него. Он постигал чукотский язык, умение накидывать чаат на рога стремительно бегущего оленя, сам ставил ярангу, запрягал оленей. К концу первой зимы он заслужил похвалу от пастухов, которые сказали, что учитель стал настоящим оленным человеком.

И нам повезло в том отношении, что русский язык преподавали люди, которые сами отлично знали чукотский язык. Мы имели возможность сравнивать и убеждались в скрытых возможностях нашего языка, в его богатстве. В Уэлене русский язык звучит наряду с чукотским. И незнание одного из них считается признаком низкой культуры, признаком отсталости, точно так же, как неграмотность.

В бухте Провидения, на улице Дежнёва, живёт моя давняя хорошая знакомая, эскимоска Ухсима. Она работает швейей в местном ателье. Правда, назвать её швейей – это слишком просто. Всё, что выходит из её рук, можно смело отправлять на выставку или в музей. Ухсима – одна из первых эскимосок-комсомолок, первая

коммунистка древнего арктического народа. В её устах высшая похвала человеку – «он грамотный». Ухсима прекрасно знает русский язык, эскимосский же у неё сохранился так, что все учёные-языковеды советуются с ней. Даже её сестра – автор последнего эскимосского букваря, Людмила Айнана – часто советуется с ней.

Во всех семьях – в Уэлене, в Провидении, в Ново-Чаплино, – везде, где я побывал, русский язык – подлинно второй родной язык, нисколько не подавляющий свой исконный, родной язык.

И поэтому вполне закономерным и примечательным явлением новой, советской культуры является появление писателей, представителей многонациональной советской литературы, сознательно избравших своим литературным языком великий русский язык. Не теряя ни грана своей национальной самобытности, эти литераторы сами вносят в русский язык, ставший не только общегосударственным языком нашей страны, но и языком общей советской культуры, свой вклад.

Интересно, что поначалу некоторые любители раскладывать всё по готовым полочкам встретили это не только настороженно, но даже отрицательно. Иным писателям пришлось выслушать горькие упрёки в отступничестве, пренебрежении к своей исконной культуре, неверии в творческие силы своих языков. Но ведь любовь к своему народу, к своей родине измеряется ещё и тем, насколько ты верен тому великому будущему, которое строит наша страна. Угадывает ли твоё сердце те лёгкие дуновения, которые затем превращаются в ураган, наполняющий паруса нашего общего корабля?

Сейчас молчаливо признаётся, что существует и успешно развивается национальная литература на русском языке, хотя серьёзных исследований на эту тему нет, а сам этот очевидный факт наши литературоведы стараются не замечать. Но ведь это интереснейшее явление, возможное только в нашей стране, возможное только при щедром богатстве русского языка!

Если сравнить язык повестей и рассказов Чингиза Айтматова с языком произведений Рустема Кутуя, язык романов Григория Ходжера и Георгия Гулиа – можно ещё раз убедиться в величии и могуществе русского языка, его гибкости в передаче особенностей мышления того или иного народа.

Эти явления объясняются тем, что история народов Советского государства вот уже на протяжении полувека определяется ленинским учением о развитии революции, о строительстве коммунистического общества. Общность исторического пути не могла не определить и общности развития культур народов СССР, их выравнивания на основе щедрой помощи государства.

В самом начале овладения грамотностью, культурой чтения приходится сталкиваться с русскими книгами, ибо их имеется на-

много больше, чем, скажем, книг на чукотском языке. Воспитанные на русской классике, на советской, уже ставшей для нас классической литературе и знающие русский язык как свой родной, некоторые из нас, совершенно естественно, не могли не попробовать писать на русском языке, чувствуя себя частью той исторически сложившейся общности, которая называется советским народом и которая имеет своим единым языком русский язык. И такого рода явления происходят не только в литературе, но и во всех областях культуры.

Сама жизнь доказала плодотворность ленинской национальной политики в области литературы и искусства. Никакой даже очень большой книги не хватит, чтобы перечислить великие завоевания литературы и искусства. И радостно видеть среди известных имён советских писателей имена писателей-северян.

Ещё в довоенные годы в стенах Института народов Севера юноши и девушки из тундровых и таёжных стойбищ сделали свои первые шаги в создании оригинальных литературных произведений. Это были чаще всего рассказы о себе, повествования о своих судьбах, о судьбах своих близких. Но даже в тех бесхитростных исповедях первых писателей-северян уже прослеживалась мысль об общей судьбе всех советских народов.

Но для создания подлинно художественных произведений писателям-северянам надо было освоить высокие образцы художественного творчества. Дело осложнялось тем, что малые народы Севера не имели своей письменной литературы, а устное поэтическое творчество отражало мировоззрение человека первобытнообщинного строя. Требовать от современного писателя художественных приёмов этого фольклора – всё равно что современного астронома вооружить древней Галилеевой трубой.

Но жизнь сама подсказала решение проблемы: ведь к тому времени, когда писатели-северяне взялись за решение серьёзных художественных задач, они были хорошо знакомы с русской классической литературой, с лучшими образцами мировой литературы, и, самое главное, уже существовала и прочно стояла на ногах советская многонациональная литература, классика для всех советских литератур нашей страны.

Когда говорят о чуде возникновения литератур у ранее бесписьменных народов, малочисленных, отдалённых друг от друга и от больших народов огромными расстояниями, часто упускают из виду, что это чудо было подготовлено всем ходом предшествующей истории. Истоки этого феномена идут от осенней ночи, когда густой мрак разрежала вспышка орудия «Авроры», от первых ленинских декретов о предоставлении равных прав всем народам Советского государства. Начало этого чуда – в подвиге первых коммунистов дальнего Севера, в самоотверженном труде первых

русских учителей, принёсших свет грамоты в глухие уголки тундры и тайги.

Всё это в сумме создало самые благоприятные условия для возникновения целой плеяды самобытных, интересных писателей, представителей самых различных народов – от тундровых просторов Ямала до широкой долины Амура, от сахалинских берегов до далёкой Чукотки. Сегодняшние литераторы Севера известны широкому читателю: их книги издаются тиражами в сотни тысяч, миллионы экземпляров. Они не замыкаются в кругу собственных читателей, ибо чувствуют себя не только сыновьями и дочерьми своих племён и народностей, но в не меньшей степени ощущают свою принадлежность к советскому народу.

Григорий Ходжер, сын нанайского рыбака, известен далеко за пределами Амура. Его трилогия «Амур широкий» удостоена Государственной премии РСФСР и издана тиражом более чем в миллион экземпляров. Вот уже более десятка лет работает в литературе мансийский поэт Юван Шесталов, создавший стихотворения и поэмы, поражающие читателей чистыми, свежими красками, словно в своей нетронутости сошедшими на страницы его книг из таёжных глубин полярного Урала.

На Сахалине работает Владимир Санги, поэт, прозаик, фольклорист, собирающий по крупницам драгоценные образцы устного народного творчества. Санги по национальности нивх (гиляк). Когда-то в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Фридрих Энгельс назвал нивхское общество классическим образцом родового строя. А сегодня Владимир Санги – типичный представитель советского общества, советского народа, советский писатель.

Год от года крепнет голос чукотской поэтессы Антонины Кымытваль. Её стихи и песни читают и поют в тундре, в тайге, в жаркой и далёкой Средней Азии, в Прибалтике.

В низовьях Колымы живёт маленький народ, буквально вырванный у смерти, спасённый от полного исчезновения, – юкагиры. О судьбе его, о его своеобразном взгляде на мир и о великой общности с народами нашей страны рассказал молодой юкагирский писатель Семён Курилов в своём первом романе «Ханидо и Халерха».

Когда-то предсказывалось скорое исчезновение национальных культур и национальных литератур в современном развивающемся обществе. Но, очевидно, эти предсказатели не учитывали того обстоятельства, что есть другое, действительно современное развивающееся общество – советское общество, строящее коммунизм.

Я уже рассказывал о встречах с канадскими эскимосами. На великом острове, покрытом вечными ледниками, Гренландии

живут тоже эскимосы. Они сумели сохранить самобытность, несмотря на сильнейший нажим со стороны метрополии. На одной из тихих улиц Копенгагена стоит большой дом, «Дом гренландца», как называют его. Я встречался в нём с эскимосами, учащимися разных учебных заведений столицы Дании. И один из них – Ангмарлорток, родившийся в старинном селении Туле, – рассказывал мне:

– Наша письменность стараниями датских миссионеров существует с восемнадцатого века. А вот художественной литературы нет... Мы иногда читаем произведения, написанные белым человеком о нас, эскимосах. Разные есть книги. Есть просто неприятные, где о нас говорится бог весть что. Это пишут люди, которые не поняли нас... Вы заметили, что мы остерегаемся называть себя эскимосами?

Действительно, жители ледяного острова всячески подчёркивают, что они гренландцы, хотя этнически и по языку они самые настоящие эскимосы.

– Видите ли, – продолжал Ангмарлорток, – в литературе уже сложился свой тип эскимоса как человека во всех отношениях прекрасного, отважного, привычного к холоду и лишениям, отзывчивого, готового отдать последнее своему ближнему... Словом – идеальный человек! Казалось бы, на что тут нам обижаться? Радоваться да и только! Поглядывать на других свысока! Но это при поверхностном взгляде. Далее рассуждения строятся таким образом. Вот в силу-то этих качеств эскимосу абсолютно противопоказана современная жизнь, он не может жить в городе – погибнет, его обманет злой, коварный белый человек, он не вынесет духоты отравленного ядовитыми испарениями городского воздуха, ему непривычна пища, многие обычаи цивилизованного человека ему вредны... Эскимос, мол, не выносит регулярного труда, он предпочитает вольную жизнь. И делается такой вывод: пусть лучше эскимос живёт так, как жил испокон веков. Ему так лучше. И гуманнее вовсе не звать его в город. Образование ему тоже ни к чему, так как только порождает у него несбыточные надежды. Вот почему многие мои земляки не хотят называться эскимосами, – заключил Ангмарлорток. – Они хотят получить образование, жить в хороших домах, а не в хижинах и снежных иглу, получать заработную плату, а не зависеть от капризов морского промысла. Зверь сейчас у берегов Гренландии распуган, охота плохая...

К беседе потом присоединились и другие эскимосы-гренландцы. Один из парней, длинноволосый, с резким профилем, сердито сказал:

– Главное – стать независимым, добиться, чтобы нас считали людьми, а не существами, достойными только сожаления. Ваша страна для нас как маяк.

В тот мой приезд в Уэлен, когда зародилась мысль написать эту книгу, я много времени проводил возле уэленского маяка.

Это прекрасное место, служившее издавна наблюдательным постом для морских охотников ещё задолго до постройки маяка. Отсюда хорошо виден Берингов пролив, острова, в ясную погоду на горизонте вырисовываются скалистые берега мыса Принца Уэльского. Мой родной Уэлен отсюда виден как на ладони. Просматриваются все дома, все закоулки выросшего селения. За новыми корпусами косторезной мастерской виден старый домик Гэмауге, который хозяин давно покинул, переселившись в более удобный дом. Рядом с первым деревянным домиком Уэлена уже нет корабельной мачты.

Из этого домика вышел Тэнмав, сын Гэмауге, который поначалу работал на полярной станции, а потом стал первым хранителем маячного огня в Уэлене.

Я хорошо помню, как строили маяк. Сначала возвели обыкновенный рубленый домик, а над ним водрузили башню. На башне – огромный круглый стеклянный глаз. Стройка продолжалась всё лето, в светлые долгие дни, когда даже в полночь не требовалось искусственного освещения: солнце лишь ненадолго спускалось в воду океана, словно для того, чтобы охладиться после долгого, утомительного пути по просторному летнему небу.

Вечером, возвращаясь на вельботах, охотники говорили:

– Скоро будем держать курс на наш маяк.

Другие сомневались:

– Говорят, оттуда будет бить такой силы свет, что вблизи него вполне можно сгореть.

– Ленинский свет загорится на этом маяке, электрический, – сказал Тэнмав.

Наступили тёмные осенние ночи. В штормовые дни тучи низко нависали над уэленской косой, над жёлтым домиком нового маяка. Огромные волны били в берег, сотрясая угрюмые скалы и мыс, на котором стоял маяк.

Сначала мы слышали звук движка. Он стучал торопливо, словно разгорячённое долгим бегом сердце.

Все вышли из своих яранг.

Ветер доносил с моря солёные брызги.

И вдруг вспыхнул поразительно яркий луч света. Он был необыкновенной силы и прорезал тьму, как острый нож, как гигантское лезвие. Он скользнул по обломкам скал, высветив мокрые камни, родив причудливые тени, скакнул через склон на тундровую равнину, ушёл вдаль к тихим мелким озёрам, по берегам которых паслись олени стада, где на осенний отлёт собирались птичьи стаи, где звери рыли зимние норы... И вот луч достиг яранг, высветив сырые моржовые кожи, блестящие от влаги камни, навешан-

ные на жилища, чтобы ураганы не унесли крышу. Луч прошёл по окнам нашей школы, и мне даже показалось, что стёкла зазвенели, родив необыкновенную песню, удивительную музыку, отзвук которой помчался вслед за волшебным лучом. Гребни пенящихся зелёных волн осветились насквозь, словно бы замерли, поражённые невидимым и небывалым. А луч пошёл дальше в море, указывая путь кораблям.

Ранним утром, когда поднялось солнце, Тэнмав спустился в Уэлен. Он выглядел усталым и счастливым: ведь он зажёл необыкновенный свет, протянув луч на невообразимо далёкое расстояние. На нём был форменный китель работника полярной станции, на голове – фуражка с гербом. Для нас он был человеком будущего, человеком, который соперничал с небесными силами, создавая сияние, по силе могущее соперничать лишь с полярным сиянием.

Через несколько лет Тэнмав провёл электричество в яранги Уэлена, добыв свет с помощью ветродвигателя, поставленного на пустыре. Жирник – светильник, выдолбленный из камня, – перестал быть для нас символом домашнего очага.

Как-то вечером я спустился с маяка и встретил своего старого учителя, Ивана Ивановича Татро. Он давно на пенсии, здоровье уже подводит, но время от времени Татро надевает охотничье снаряжение и выходит на лёд.

На этот раз бывший учитель был наряден и серьёзен.

– Я иду в школу, – сказал мне Татро и позвал меня с собой.

Новая, просторная двухэтажная школа стоит рядом со старой, с той, где мы начинали свои занятия русским языком, куда Татро вошёл первым чукотским учителем.

– Сегодня меня попросили рассказать о первых годах нашей школы, – сообщил мне Татро, – о том, как я начал учить детей грамоте. Поскольку ты был одним из моих первых учеников, посидишь на моём уроке.

Да, это был необыкновенный урок.

Я сел на последнюю парту рядом с девчушкой с аккуратно заплетёнными косичками.

Иван Иванович Татро, при галстукe, в чёрном костюме, вышел к доске и спросил:

– Кто видел ярангу, пусть поднимет руку.

Ни одна рука не поднялась.

– Кто знает, что такое жирник?

Моя соседка подняла руку и бойко ответила:

– Жирник – это мешок, в котором хранят жир.

– Вот когда он, – Татро показал в мою сторону, – пришёл в школу, во всех ярангах Уэлена главным осветительным прибором был жирник. Это каменная плoшка с тюленьим жиром и фитилём из

тундрового мха. А сегодня пришло сообщение со стройки атомной электростанции на Чукотке. Вот какой путь мы прошли – от жирника до света, который будет рождать атом.

Татро задумался.

Видимо, он вспоминал то, что вспоминал и я. Когда он вошёл в наш класс, мы и слова такого – атом – не знали. И он вряд ли знал, хотя и был учителем.

Со мной рядом сидел русский мальчик Владилен Леонтьев. Его отец, бывший дальневосточный партизан, организовал косторезную мастерскую, изделия которой сегодня известны во всём мире.

– Когда мы смотрели в будущее, – продолжал рассказывать Татро, – нас охватывало сомнение: справимся ли с задуманным? И если бы нам не помогали другие народы нашей страны, быть может, оставались бы мы в ярангах ещё долгие годы, а об атомной электростанции могли бы только мечтать. Строят эту станцию не только чукчи, не только русские, но и представители всех народов нашей страны. Так уж повелось у нас – всё великое мы делаем сообща, соединяем все силы, и поэтому нам удаётся свершить такое, что другим не под силу.

Ранней осенью, перед приходом зимнего льда, в Уэлене несколько дней дуют южные ветры, которые отжимают льдины за горизонт.

Ребятишки идут в новую школу, где их ждёт встреча с чудом открытия самого себя, познания своего места на земле, утверждения себя человеком.

Они будут познавать и впитывать в себя культуру, созданную совместным трудом всех народов нашей страны, начавшуюся здесь русской песней, и для них она будет единой, нерасторжимой, высокой, словно волшебная гора, сияющие вершины которой будут манить всю жизнь.

1974

Основные издания Юрия Рытхэу

Сборники рассказов

- Люди нашего берега (1953)
- Имя человека (1955)
- Чукотская сага (1956)
- Прощание с богами (1961)

Романы

- В долине Маленьких Зайчиков (1962)
- Айвангу (1964)
- Ленинградский рассвет (1967)
- Самые красивые корабли (1967)
- Сон в начале тумана (1970)
- Иней на пороге (1971)
- Белые снега (1975)
- Конец вечной мерзлоты (1977)
- Магические числа (1986)
- Остров надежды (1987)
- Интерконтинентальный мост (1989)
- В зеркале забвения (2001)
- Чукотский анекдот (2002)
- Скитания Анны Одинцовой (2003)
- Последний шаман (2004)
- Под Созвездием Печали (2007)

Повести

- Нунивак (1963)
- Волшебная рукавица (1963)
- Анканау (1964)
- Голубые песцы (1964)
- Вэкэт и Агнес (1972)
- Метательница гарпуна (1973)
- Дорога в Ленинград (1974)
- Полярный круг (1977)
- След россомахи (1977)
- Тэрыкы (1980)
- Прямо в глаза... (1985)
- Зов любви (1986)
- Путешествие в молодость,
или Время красной морошки» (1991)
- У Оленьего озера (1991)
- Унна (1992)
- Под созвездием печали (2007)

«Чукотский Маркес»

Он с иронией говорил о «зуде чистопородности» и больше всего хотел, чтоб его небольшой народ сохранился. А для этого надо сохранить обычаи, включая шаманство.

«...Мой дед – великий шаман Уэлена Млеткын, уникальный, удивительный человек. В юности проплававший несколько лет на американских китобойных шхунах, побывавший живым экспонатом на знаменитой Этнографической выставке в Чикаго, умевший читать и писать по-русски и по-английски, он выделялся своими способностями настолько, что ездил в Москву к всесоюзному старосте Калинину – просил оставить чукчей в покое... Именно дед настоял, чтобы имя мне было дано исконно чукотское и знаковое. Оно звучало как Рытхэу, что значит Неизвестный, и сделать его известным полагалось мне на протяжении своей жизни». Уже в зрелости, близко к концу жизни, Рытхэу написал о деде книгу «Последний шаман», книгу о своём народе. «Но приходит такое время к человеку, когда нужно осмыслить себя и свой путь, когда воспоминания прошлого с удивительной силой тянут на то место, где родился, когда хочется прожитое переживать наедине».

Книга итогов. Кроме родословных преданий писатель использует в ней мифологические легенды чукчей о происхождении земли и воды, о первопредках. Прародителем у чукчей считается ворон, птица, связывающая миры небесный и земной. Далее автор излагает предания о роде Рытхэу, не имеющие бумажных источников, передававшиеся из поколения в поколение. Факты жизненно достоверные переплетены с легендарными. Это характерно для манеры Юрия Рытхэу: всё сокровенное ушло в дымку сказаний. Так память рода стала художественным произведением. И завершается роман памяти рождением Юрия Рытхэу. Став известным писателем, он обнаружил, что мир не знает историю его народа – чукчей.

Юрий Сергеевич Рытхэу родился в 1930 году в посёлке Уэлен Дальневосточного края, на Чукотке, в семье охотника-зверобоя. Дед-шаман дал ему имя *Рытгэв*, что дословно означает «забытый». Для получения паспорта пришлось найти русское имя, а *Рытхэу* стало фамилией. Окончив школу-семилетку, Рытхэу хотел учиться дальше в Институте народов Севера, но не получил направления, поступил в Анадырское педучилище и начал печатать в газете «Советская Чукотка» стихи и очерки. В Ленинград он поехал самостоятельно, а чтобы накопить деньги для поездки через весь Советский Союз, работал матросом и грузчиком. В студенческие годы (1949–1954) Рытхэу напечатал рассказы в альманахе «Молодой Ленинград», в журналах «Огонёк», «Дальний Восток», в газете «Смена». В эту же пору, в 1953 году, вышел его сборник рассказов «Люди нашего берега» (перевод с чукотского). А на

чукотский язык студент Рытхэу переводил Пушкина, Льва Толстого, Максима Горького и Тихона Сёмушкина. В 1954 году выпускника Ленинградского университета Рытхэу приняли в Союз писателей СССР. По окончании университета жил он в Магадане, где издал сборник рассказов «Чукотская сага». Книга принесла автору известность не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Книги Рытхэу издавались во Франции, Германии, Испании, Японии, Финляндии, Италии, в обеих Америках и, разумеется, на языках народов СССР.

Но после распада СССР тиражи книг Рытхэу резко упали, в новых странах постсоветского пространства его совсем перестали печатать. А вот западные издатели не потеряли его из виду, в одной Германии книги его выходили тиражом в четверть миллиона экземпляров. В России же последние книги писателя, «Путешествие в молодость» и «В зеркале забвения», вышли в 1990-е годы и то небольшим тиражом. Значительную часть жизни Ю. Рытхэу прожил в Ленинграде-Петербурге, где и скончался в 2008-м году.

Все свои произведения Юрий Рытхэу посвятил жизни, культуре своего народа – чукчей. Библиографы называют около ста книг с отдельными названиями. Самые значительные из них – «Чукотская сага» (1956), «Прощание с богами» (1961), романы «В долине Маленьких Зайчиков» (1962), «Айвангу» (1964), «Самые красивые корабли» (1967), «Сон в начале тумана» (1970), «Иней на пороге» (1971), «Белые снега» (1975), «Конец вечной мерзлоты» (1977), «Магические числа» (1986), «Остров надежды» (1987), «Интерконтинентальный мост» (1989), «В зеркале забвения» (2001), «Чукотский анекдот» (2002), «Последний шаман» (2004), «Под созвездием Печали» (2007). А ещё повести «Нунивак» (1963), «Волшебная рукавица» (1963), «Анканау» (1964), «Голубые песцы» (1964), «Вэкэт и Агнес» (1972), «Метательница гарпуна» (1973), «Дорога в Ленинград» (1974), «Полярный круг» (1977), «След росомахи» (1977), «Тэрыкы» (1980), «Ирвытгыр, или Повесть-путешествие во времени и пространстве по Берингову проливу» (1980), «Прямо в глаза...» (1985), «Зов любви» (1986), «Путешествие в молодость, или Время красной морозики» (1991), «У Оленьего озера» (1991), «Унна» (1992). А ещё книги очерков, сборники для детей. А ещё драмы и комедии, киносценарии («Самые красивые корабли», «След росомахи», «Когда уходят киты», автобиографическая проза. За роман «Конец вечной мерзлоты» (1977) писатель получил Государственную премию. Кроме того, он лауреат нескольких международных премий.

Трагическая история шамана Млеткына, расстрелянного в разлив предвоенного государственного террора, стала для автора толчком для осмысления недавнего прошлого. Рытхэу подверг сомнению советское отношение к шаманизму. В нём писатель видит опыт общения с космическими силами, творческую энергию. Шаманы – хранители духовной культуры, воспитатели веры, без них распалась связь поколений, и северяне потеряли своё лицо. Тысячелетней культуре жите-

лей Чукотки (где православное миссионерство почти не имело успехов) нанесён был сокрушительный удар, выкорчёвывалась коренная традиция. Как и во всех регионах красной империи.

Возможно ли восстановление прежней веры-культуры? Юрий Рытхэу говорит об этом скептически, без романтики археомодерна. В одном интервью он заметил, что «ради шаманов на Чукотку приезжают множество иностранных журналистов. Они обращаются к актёрам местных театров, и те устраивают такой шаманизм, лучше настоящего». В этой обстановке появляются жулики и самозванцы, профанирующие опыт предков.

На вопрос корреспондента: «А ваш «Сон в начале тумана» основан на подлинной истории?» писатель ответил: «Да, знаете, вообще мало кто верит. Эта книга с продолжением – «Иней на пороге» – стала в Германии бестселлером, я сам очень удивился. Почему-то именно немцы охотно покупают этот эпос, на самом деле основанный на истинной истории. Действительно наши чукчи подобрали американца Джона, матроса с американского корабля. Выходили его. Он полюбил девушку, женился, остался жить у нас... В тридцать седьмом, естественно, взяли этого американца...»

Юрий Рытхэу стал первым в истории народов Севера всемирно известным писателем, через его книги мир узнал о наследии Чукотки. Читатели Запада называли его чукотским Флобером и Бальзаком, а также русским Маркесом. Произведения Рытхэу изданы на тридцати иностранных языках не только в Европе. Они вошли в число бестселлеров в Южной Америке.

Чукотскому писателю пришлось преодолевать установки русских прозаиков (Шундика, Сёмушкина, Гора), излагавших умилительную историю приобщения чукчей к русской культуре: «Все они очень идеализировали чукчей, ставили наш народ как бы в стороне от цивилизованного человечества. Делали из чукчи схематично «чистого» человека... Для меня было главным подчеркнуть то, что мы – обыкновенные люди с такими же достоинствами и пороками, как у всех людей на земле, у нас такие же, как у белорусов и русских, переживания, мысли, чувства». Он, прозванный «русским Маркесом», считает себя реалистом, и его убеждение: «Хороший человек узнаётся по его отношению к природе, к животным».

Ап. Казмин

Том 1. Содержание

Когда киты уходят	6
След росомахи	78
Под сенью волшебной горы	194
Основные издания Юрия Рытхэу	321
<i>Ап. Казмин. «Чукотский Маркес»</i>	322

Содержание серии

- Том 1.** *Георгий Дмитриевич Гребенчиков (1883–1964).* Выдающийся прозаик Сибири. В серии опубликованы: «Былина о Микуле Буяновиче», «Ханство Батырбека», «На Иртыше», «Любава», «Волчья жизнь». Русский, Томск.
- Том 2.** *Николай Георгиевич Доможяков (1916–1976).* Поэт и прозаик, автор первого романа на хакасском языке. В серии опубликованы: роман «В далёком аале», стихотворения. Хакасия.
- Софрон Сергеевич Тотыш (1907–1980).* Шорский писатель. В серии опубликованы: «Сказки Шапкая», «Записки молодого кама». Горная Шория.
- Том 3.** *Григорий Гибивич Ходжер (1929–2006).* Нанайский писатель. В серии опубликован роман «Амур широкий». Нанайский район Хабаровского края.
- Том 4.** *Ким Николаевич Балков (1937–1920).* Народный писатель Бурятии. В серии опубликованы: степная поэма «Проклятие Баальбека», романы «Берег времени», «Будда», рассказ «Балалайка».
- Том 5.** *Юрий Сергеевич Рытхэу (1930–2008).* Первый писатель Чукотки. В серии опубликованы: повести «Когда киты уходят», «След россомахи», «Под сенью волшебной горы».
- Том 6.** *Семён Николаевич Курёлов (1935–1980).* Первый юкагирский писатель. Опубликованный в серии роман «Ханидо и Халерха» переведён на европейские языки. Якутия.
- Том 7.** *Владимир Михайлович Санги (1935 г. р.)* Первый писатель из нивхов. В серии опубликованы: роман «Женитьба Кевонгов», повести и рассказы «Ложный гон», «Легенды Ых-мифа», «Семипёрая птица». Сахалин.
- Том 8.** *Юван Николаевич Шесталов (1937–2011).* Основоположник письменной литературы народа манси. В серии опубликованы повести: «Тайна Сорни-най», «Когда качало меня солнце», «Синий ветер каслания». Ханты-Мансийский округ.
- Том 9.** *Дибаш Берукович Каинчин (1938–2012).* Народный писатель Республики Алтай. В серии опубликованы: повести «С того берега», «Голова жеребца», «Абайым и Гнедко», «Крик с вершины», «Его земля», рассказы разных лет.
- Том 10.** *Еремей Данилович Айпин (1948 г. р.)* Один из самых значительных писателей российского Севера. В серии опубликованы романы: «Ханты, или Звезда Утренней Зари», «Божья мать в кровавых снегах». Ханты-Мансийский округ.
- Том 11.** *Софрон Петрович Данилов (1922–1993).* Народный писатель Якутии. Публикуется роман «Красавица Амга».
- Том 12.** *Роман Харисович Солнцев (1939–2007).* Писатель, поэт, драматург, критик. Родился в селе Кузкеево Татарской АССР. В серии публикуются стихи разных лет, повести «Год провокаций», «Поперека», «Иностранцы». Красноярск.
- Том 13.** *Салчак Калбак-Хорёкович Тёка (1901–1973).* Тувинский писатель. В серии опубликована трилогия «Слово арата». Республика Тыва.
- Куулар Николай Шагдыр-оолович (1958 г. р.)* Современный писатель Тувы. В серии опубликованы: рассказы «Свидание после охоты», «В стране Тана-Херела», стихотворения. Республика Тыва.
- Том 14.** *Анна Павловна Неркаги (1952 г. р.)* Родилась в горах Полярного Урала в семье ненца-оленовода. В серии опубликованы повести: «Анико из рода Ного», «Белый ягель», «Илир», «Молчащий». Ямало-Ненецкий округ.

Одна семья. Библиотека народов Сибири

Том 5

Юрий Сергеевич Рытхэу

Избранное

Литературно-художественное издание

Автор идеи, разработчик проекта

Г. К. Скарлыгин

Разработчик проекта,
редактор книжной серии

Д. В. Барчук

Редактор-составитель

А. П. Казаркин

Технический редактор

О. В. Карташов

Корректор

И. А. Сердюк

Данное издание рекомендовано
для учащихся старших классов общеобразовательных школ,
колледжей, для студентов высших учебных заведений,
а также для широкого круга читателей, интересующихся
современной сибирской литературой.

Издание Томской писательской организации.

Заказ № 029. Тираж 650 экз.

Подписано в печать 16.05.2022 г. Печать офсетная.

Формат 140x240 мм. Гарнитура Cambria.

Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом «Д-Принт»,
г. Томск, ул. Герцена, 72 б. Тел. (3822) 52-20-99

Электронная почта: dp@rde.ru